ЛЕВ ТРОЦКИЙ

СТАЛИН



ТОМ 1



ЛЕВ ТРОЦКИЙ

СТАЛИН

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ 1



"Terra — Терра"



Издательство
политической
литературы

Москва
1990

ББК 66.61(2)8
Т76

Под редакцией Ю. Г. Фельштинского

Троцкий Л. Д.
Т76 Сталин. В 2 т. Т. I / Под ред. Ю. Фельштинского.— М.: "Терра—Terra" — Политиздат, 1990.— XII, 323 с.
ISBN 5—250—01419—4 (т. 1)

$\text{Т}\ \frac{0902020000—310}{079(02) — 90}$ ББК 66.61(2)8

ISBN 5—250—01419—4 (т. 1)
ISBN 5—250—01469—0

ЛЕВ ТРОЦКИЙ О СТАЛИНЕ И "РОССИЙСКОМ ТЕРМИДОРЕ". НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Работа над биографией Сталина окончательно решила судьбу Льва Давидовича Троцкого. Как в случае с Салманом Рушди, литературный труд послужил основанием для вердикта о смертной казни. Да и характер этих актов един. И тот и другой, пользуясь терминологией министра иностранных дел Исламской Республики Иран Али Акбара Велаяти, носил не политический, а религиозный характер: ни отменить, ни изменить их не мог никто.

Вынося свой приговор, покойный имам Хомейни защищал принципы ислама. Сталин тоже защищал не только себя. Пережить личные нападки, пусть со скрежетом зубовным, он мог и тогда, когда они имели для него хоть какое-то значение, а позже и их научился использовать во благо и для укрепления собственного авторитета. Рукопись Троцкого была опасна не пикантными биографическими подробностями. Она покушалась на сами устои, на которых стоял Сталин и зиждилось то, что впоследствии назвали сталинщиной: его понимание диктатуры пролетариата, задач партии, ее классовых позиций, роли государства, аппарата, номенклатуры, соотношения системы и человека. Отдавая приказ об уничтожении автора, Сталин не только стремился воспрепятствовать завершению данного труда, но прежде всего отстаивал свои принципы, поступаться которыми не собирался.

Что же заставило Сталина именно так, а не иначе оценить работу Троцкого?

К рассказу о личности самого Сталина тот подошел весьма скрупулезно. Непредубежденный читатель и сейчас непременно отметит для себя два обстоятельства: книга документирована, к тому же автор добросовестно старается оценить и источники, которыми пользуется. Этим она выгодно отличается от большинства книг о Сталине, в таком изобилии вышедших в Союзе за последние два года истекших 80-х. Тем более что именно работа Троцкого послужила отправной базой для большинства авторов. Между тем ссылок на нее почти ни у кого нет, равно как нет и сколько-нибудь объективного ее анализа и оценок.

Но, вопреки распространенным заблуждениям, Сталин не выглядит у Троцкого параноидальным злодеем. Он акцентирует внимание на формировании личности юного Сталина (широко используя мемуары друзей), показывает, что привлекло нелюдимого семинариста в лагерь революционеров, пытается понять и раскрыть побудительные мотивы тех или иных поступков и решений героя своей книги.

Троцкий отбрасывает версию и о том, что Сталин был агентом царской охранки. Точнее, он фиксирует существование этой версии, но относится к ней с недоверием, а главное, с пониманием того, что это ничего нового ни в нравственную, ни в общую характеристику

Сталина не вносит, кроме примитивного упрощения всей картины, да и проблемы в целом.

Лишь в аранжировке двух тем автор последовательно постоянен — это отношение Сталина к партии и партаппарату и к собственной, Троцкого концепции "российского термидора".

Автор приводит малоизвестный, но весьма знаменательный факт о том, как молодой революционер на заре формирования партии уверял рабочих в необходимости избрания членами партийных комитетов профессиональных революционеров, способных, дескать, лучше защищать их интересы, чем это сумеют сделать они сами. Эту ставку Сталина на так называемых комитетчиков отмечал не только Троцкий. Об этом же писали, независимо от него, к примеру, Н. К. Крупская и соратники Кобы по работе в Закавказье.

Сталин первый заявил о том, что не даст аппарат в обиду (страдать последний мог лишь от его гнева). Первым объявил о своеобразном делении членов партии на генералов, офицеров, унтер-офицеров и рядовых. Он же сравнил партию с орденом меченосцев, объявив ее боевым отрядом, предназначение которого в первую очередь — давать отпор всякого рода проискам, а затем — руководить и направлять.

К этой теме вплотную примыкает и наблюдение о весьма характерном для Сталина, да и не только для него одного, противопоставлении лидеров российской социал-демократии в эмиграции костяку руководства, действовавшему на местах, и настойчивом разведении теоретиков, занимавшихся словопрениями, и практиков, которым приходилось решать конкретные вопросы.

Относительно "интеллигентских шатаний" теоретиков первый раз Сталин открыто заявил после V съезда РСДРП. Кстати, тогда же он первым назвал Троцкого "красивой ненужностью". И впоследствии не раз обращался к этой проблеме.

Что же касается второй темы — "российского термидора", то именно в данной работе Троцкий завершал оформление концепции, призванной, по его мнению, объяснить природу сталинизма.

Со словом "термидор"* связан целый пласт российской и мировой политической мысли, давние страхи по поводу прихода "брюмера", то есть установления "чистой" буржуазной диктатуры, на полпути к которой лежит полустанок — "термидор" — уничтожение революционного режима его вчерашними сторонниками и под прикрытием революционных лозунгов. И сегодня, по мнению некоторых наших политиков — от представителей старой партийной бюрократии до реакционных элементов популизма, — совершается откат к капитализму.

---

* Термидор — название контрреволюционного переворота, происшедшего во Франции 9 термидора II года по новому республиканскому календарю (27 июля 1794 года). С термидора начался откат революции. В свою очередь, термидорианцев устранил от власти брюмер — военный переворот 18 брюмера VIII года Республики(9 ноября 1799 года), отдавший власть Наполеону Бонапарту.

Когда на сцену политической борьбы выходят исторические аналогии, а на политических оппонентов напяливают старые маски и с ними, этими масками, начинают вести крикливую и ожесточенную политическую борьбу,— не отражение ли это некоего мировоззренческого вакуума? И в наше время, прибегая к паллиативу исторических аналогий, люди пугают себя призраками прошлого, которые, рождая разочарования и сомнения, сковывают поиски, заставляют мысль биться в рамках, очерченных прошлым опытом. И в первых поверхностных аналогиях (нэп — перестройка) кое-кто, кажется, уже видит повторение пройденного: нэп — это начало "термидора", "буржуазного перерождения".

Но с подобными аналогиями мы уже встречались.

На протяжении 20—30-х годов, как справедливо заметила Т. С. Кондратьева (Институт восточных языков и цивилизации, Париж), "пример Французской революции то мешал понять, то загонял в глубь сознания наиважнейшие проблемы". По ее мнению, и советская концепция истории — результат в значительной степени борьбы с "фантомом термидора". Искусственная "выпрямленность" этой концепции действительно сохранила подсознательный страх сталинского руководства перед зигзагами и изгибами французской истории, ее откатами и поражениями. Ничего этого у нас нет, не было и не будет,— как бы заговаривала беспокойных духов прошлого сталинская верхушка. Наша революция никогда не откатывалась и не откатится назад, потому что мы вооружены самой передовой теорией, выражаем интересы передового класса — пролетариата и последовательно ведем страну к коммунизму.

Среди участников внутрипартийных дискуссий 20-х годов Л. Троцкий был одним из тех немногих, кто попытался из аналогий с Французской революцией создать концепцию, и, признавая всю условность таких аналогий, попробовал заложить их в методологию тактических прогнозов. На этом пути его, как, впрочем, и многих других, ждала неудача. Сталинизм в его зрелых формах оказался явлением, возникновение которого не сумел предсказать никто. Возможно, это случилось потому, что великие спорщики 20-х годов как раз и вели свой анализ по принципу: "туда" или "не туда" идет Россия? Причем оппоненты присваивали себе монопольное право на знание того, где именно находится это "туда".

Угроза "русского термидора", то есть отката революции назад, начала беспокоить большевиков в конце 1920— начале 1921 года. Во всяком случае, по утверждению Троцкого, не только после перехода к нэпу, когда эта тема на определенное время становится дежурной в партийных кулуарах, но и до его введения Ленин вел разговоры о возможности "термидора" с вождями большевизма, в том числе и с ним. Крестьянская контрреволюция и кронштадтская форма "термидора" весны 1921 года — за Советы без коммунистов — показала, что опасения были небеспочвенны. Кронштадтцы, как говорил впоследствии Троцкий, "под лозунгом Советов и во имя Советов

спускались к буржуазному режиму". Над большевиками нависал топор термидорианской гильотины.

Спасением стал нэп. Угроза прямого повторения французского сценария миновала. Русская революция прошла в опасной близости от непосредственного "термидора". Правда, в партийных кругах получил распространение не ленинский термин — "самотермидоризация", а более понятный эвфемизм — "перерождение". Новая ситуация тревожила большевиков. Предсказать, как она будет развиваться и к чему приведет, не брался никто, даже Ленин. Сам характер революции — "буржуазная или социалистическая?" — можно было, по его мнению, определить теперь лишь в исторической перспективе. Наедине с собой (в мае 1921 года) Ленин не скрывал тревоги: "Термидор? Трезво, может быть, да? Будет? Увидим"*.

Угроза "медленного термидора" — сползания к капитализму — смущала умы большевиков уже в дни работы X съезда, провозгласившего нэп. Один из будущих руководителей сталинской "революции сверху" Варейкис послал в президиум съезда записку, содержавшую как бы квинтэссенцию тогдашних и будущих партийных страхов:

"Тов. Ленин.

Если сверху соглашение с капитализмом (торговые договоры, концессии и т. д.) и снизу развитие товарного хозяйства крестьянства, а стало быть, возрождение и рост капитализма, то не будет ли это процесс неизбежного перерождения Советской власти, как "химический процесс", вытекающий из двух данных факторов? Не будет ли это рост и соответствующих форм государственных надстроек, базирующихся на базисе "верхнего и нижнего" капитализма. И наконец, не превратится ли в абстракцию диктатура пролетариата, а на деле Коммунистическая партия окажется на службе у крестьянского капитализма?"

Многие опасались, что в результате экономических уступок мелким собственникам, оживления частнохозяйственного капитализма "нарастет" политический "термидор", что есть угроза "сползти на термидорианские позиции даже со знаменем коммунизма в руках". Правда, пока только сектантские, отколовшиеся от РКП(б) ультралевые группы, вставшие на путь нелегальной деятельности, считали "термидор" свершившимся фактом. Большинство же членов партии, хотя и испытывали смутную тревогу перед возможностью "перерождения", еще не видели ни его реального механизма, ни персонального адреса.

Лишь в ходе партийной дискуссии 1923 — 1924 годов абстрактное, безликое "перерождение" впервые обретает конкретную направленность. Во всяком случае, Троцкий утверждал позднее: "Марксистская оппозиция еще в 1923-м году констатировала

---

* *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 43. С. 403.

наступление новой главы идейного и политического сползания, которое в перспективе могло означать термидор. Тогда-то мы впервые и произнесли это слово". Обвинение было направлено персонально против Зиновьева и Сталина. Однако в официальные документы партийной дискуссии устрашающий термин — "термидор" — не попал*.

Во время этих дискуссий реальные перспективы развития страны получили неадекватное, иллюзорно-идеологическое толкование. Хотя, по мнению меньшевика Ф. Дана, Троцкий "не мог не понимать, что единственная возможность спасения — в переходе от нэпа экономического к нэпу политическому, к ликвидации диктатуры. Но он не посмел не только сказать, но и додумать этой мысли до конца". Дан не знал, что на январском (1924 г.) Пленуме ЦК РКП(б) за Троцкого "додумали" его оппоненты: они обвинили оппозицию в намерении "провести не реформы, а Реформу, т. е. революцию. Но революция в партии неизбежно означает и революцию в стране".

А поворот к демократии действительно назревал.

В своем кругу партийные "вожди" были тогда достаточно откровенны. Крестьянин начинает ощущать вкус власти, признал на том же январском Пленуме 1924 года Л. Каменев, среди рабочих тоже идут такие разговоры. Но это лишь "первая волна, которая сейчас говорит с нами коммунистическим языком. Ну а дальше как она будет говорить?"

Дать поблажки, но властью не делиться — такой выход нашли в конце концов преемники Ленина. Идя на уступки крестьянству, сама власть брала на себя функцию представления его интересов от имени диктатуры пролетариата. Все решения предполагалось и дальше принимать внутри партийного ареопага. Главное же на том этапе — критический момент возможного поворота к более глубоким демократическим реформам был пройден. Отказ от этих реформ фактически означал серьезную победу партийно-государственной бюрократии, якобы только и пекущейся о сохранении социализма. А экономические уступки мелкой буржуазии без серьезной политической демократизации снова толкали меньшевиков, а позднее и Троцкого, да и всех левых в Коммунистической партии (последние, впрочем, как и Троцкий, не стремились к демократизации общества, ограничиваясь требованиями соблюдения и развития внутрипартийной демократии), на путь дальнейших буржуазно-бонапартистских и термидорианских аналогий: постепенное превращение пролетарского государства (у Троцкого), "коммунистической диктатуры" (у меньшевиков) в скрытого или явного агента "новых собственников".

Поначалу казалось, что эти модели имеют реальные основания. Однако с середины 20-х годов "термидорианские" аналогии и построенные на них прогнозы начинают все больше расходиться с действительностью. Переходное состояние общества требовало для

---

* Во всяком случае, мы его там не обнаружили.— *Прим. авт.*

своего анализа и оценок новых понятий. Но их еще не создала ни теория, ни практика, приходилось обходиться бедным лексиконом уходящей исторической эпохи. Меньшевики, а за ними и Троцкий, вся левая оппозиция, наблюдая процесс дальнейшего обюрокрачивания партийных, государственных, хозяйственных, профсоюзных органов, совместили его с перспективой развития рыночных отношений и "собственнических" укладов — мелкотоварного и частнокапиталистического — и сделали вывод: как и в период Великой французской революции, "термидорианцы", "похоронщики революции", выйдут из рядов бюрократии и поведут страну к капитализму, сомкнувшись с "новыми собственниками" и предавая интересы рабочего класса. Но французские "термидорианцы" "обуржуазивались" на обломках сметенной революцией феодальной собственности, в условиях прогрессивного распространения частной собственности. Это и открывало перед ними возможность безграничного личного накопления. Для партийной и советской бюрократии 20-х годов эти возможности были практически закрыты. Строго говоря, "кандидаты" в "русские термидорианцы" вообще не могли "обуржуазиться" в традиционном социально-экономическом смысле этого слова, хотя опасность личного перерождения, конечно, была. Об этом свидетельствовали довольно частые случаи коррупции, которой, впрочем, подвержена бюрократия всех стран.

Советская бюрократия как социальный слой врастала корнями в государственную собственность. С ней, этой собственностью, были связаны ее благополучие и интересы. Отсюда и естественная устремленность, присущая советской бюрократии 20-х годов, к тотальному огосударствлению. Однако "термидорианские аналогии", пугавшие многих в середине 20-х годов, уводили от существа действительной угрозы, не давали увидеть суть грядущих социальных конфликтов, того, что позднее Троцкий назовет борьбой между бюрократией и "новыми собственниками", мелкой буржуазией, за свою долю национального дохода. Отсрочить эту разрушительную схватку, придать ей цивилизованные формы могла только серьезная демократическая реформа. Но мотивировать необходимость такой реформы опасностью "термидора", "буржуазного перерождения" — значило уходить от сути проблемы.

Нэп действительно шел к концу, но там, в конце нэпа, не менее реальными, чем "возврат к капитализму" через "термидор", были окончательная узурпация власти бюрократией и дальнейшее накопление материальных предпосылок социализма в тесной одежде бюрократического "государственного социализма". Предельные границы такого состояния общества — переходного по своей сути — были одновременно и границами предельного огосударствления. Достигнув своего крайнего предела, огосударствление неизбежно должно было вылиться во всеобъемлющий кризис. Из этого кризиса мы и пытаемся выкарабкаться сегодня.

Летом 1927 года слово "термидор" появляется не только в черновиках различных оппозиционных документов, но и на страницах официальной печати. Непосредственным поводом, выведшим "термидор" из кулуарного подполья, было появление "Платформы 15-ти" (сапроновско-смирновской, подготовленной группой так называемых "децистов"). Ответом на этот нигде не опубликованный документ стала статья Слепкова в "Правде" от 12 июля 1927 года. Самое удивительное, что в тексте "платформы", полученном в ЦК, ни одного слова о "термидоре" и "бонапартизме" вообще не было. Оценки были очень сдержанны. Однако группа Сталина — Бухарина, отталкиваясь скорее от кулуарных разговоров, сознательно нажала на педаль "термидора". Может быть, для того чтобы усилить обвинения против левых, окончательно оттолкнуть от них партийное "большинство".

Как бы то ни было, слово "термидор" вышло из подполья. В июле 1927 года Троцкий попытался более четко обозначить его слишком размытые и политически неясные определения. Он назвал "термидор" "особой формой контрреволюции, совершаемой в рассрочку и использующей для первого этапа элементы той же правящей группы — путем их перегруппировки и противопоставления". Буржуазная направленность такой "контрреволюции" не вызывала у Троцкого никаких сомнений.

Между тем крутой "левый зигзаг" сталинской группы, ее борьба против "правого уклона" на протяжении 1928—1929 годов теоретически обезоружили, если не полностью, то частично, левую оппозицию. "Сталинский центризм", бюрократизированный "аппарат" действительно "перерождались", но явно не в том направлении, в каком им приписывала "термидорианская" аналогия. Мелкая буржуазия города и деревни, то есть те, кому после разгрома левой оппозиции, казалось бы, должна была верой и правдой служить "диктатура", отнюдь не стала диктовать свою волю. Напротив, именно на нее был обрушен удар. Вся концепция "термидора" трещала по швам. Но расставаться со старой схемой Троцкому было чрезвычайно трудно. "Левый зигзаг", заявил он в 1929 году, не может стать "последней чертой" под "термидорианской опасностью", как не стала последней чертой под Октябрьской революцией и высылка оппозиционеров. Сам же "термидор" еще впереди.

В 1928—1929 годах Троцкий пребывает в своеобразной теоретической растерянности. Он скорее склонен принять варварскую "левизну" сталинской группы (ибо ошибочно полагал, что эта левизна навязана борьбой оппозиции и рабочего класса), чем эффективные, по его же собственной оценке, меры выхода из кризиса, предлагаемые "правыми". Мотив? Они вели бы к возврату на капиталистический путь. Но чем дальше, тем больше Троцкий сомневается в возможности скрытого, завуалированного буржуазного переворота — "термидора". Он все больше склоняется к мысли, что для этого нужен прямой насильственный переворот. Но если это так, то и речь следует вести уже не о "термидоре", а "брюмере", не о "термидорианцах", а о Бонапарте.

Понятие "бонапартизм" у него постепенно вытесняет понятие "термидор". Уже 21 октября 1928 года в качестве возможного контрреволюционного переворота Троцкий рассматривает именно "бонапартистский" вариант. Все это вносило дополнительную теоретическую путаницу. Наконец в 1930 году Троцкий считает необходимым внести ясность. Оппозиция, заявляет он, никогда не утверждала, что контрреволюционный переворот, если бы он произошел, "должен был непременно принять форму термидора, т. е. более или менее длительного господства обуржуазившихся большевиков с формальным сохранением советской системы". Впрочем, при всех метаниях между "термидором" и "бонапартизмом" суть обеих аналогий — угроза "буржуазного перерождения" — сохранялась.

Между тем в стране разворачивались процессы, весьма далекие от такого понимания французских аналогий. Процесс "обуржуазивания", как понимал его Троцкий, остановлен. На историческую сцену выступает сталинская "революция сверху". Она похожа скорее на антитермидорианскую "чистку", чем на "термидор". Фактически идет вторая после Октября волна пролетарски-якобинского "поравнения" собственности, в ходе которой на время соединились эгалитарно-уравнительные настроения "низов", развивавшиеся на фоне острого социально-экономического кризиса, и стремление новой советской бюрократии к тотальному огосударствлению — то есть к реализации своего естественного социального интереса. Эта вторая якобинская волна ударила по обществу уже на нисходящей фазе революции. И если октябрьский удар, приведя к власти широкие массы рабочих и крестьян, расчистил страну от остатков феодализма, то второй удар обрушился на мелких собственников, выросших уже в недрах пореволюционного общества, а главное — завершил политически реакционный процесс — отчуждение масс от власти и политики.

Вторая "якобинская волна" как бы ввергла общество в состояние "социальной протоплазмы". Путем насилия она превратила классы и слои нэповского общества в "массу", набросила на них административную удавку, сделала из них работников на службе у государства, политически "атомизированных граждан", которые отличались между собой не столько отношением к средствам производства, сколько доступом к предметам потребления. Все это освящалось необходимостью решения общенациональной задачи — индустриализации страны, на официальном языке — "построения фундамента социализма". И только эта задача с грехом пополам и с огромными издержками выполнялась. Все остальные цели, поставленные участниками "великого перелома" перед собой (подъем материального благосостояния народа, достижение социальной однородности общества и т. д.), достигнуты не были. Результаты не оправдали ожиданий.

Нереализованные социальные цели, обманутый энтузиазм одних, неудовлетворенные аппетиты других, разочарование третьих — все это создало в обществе огромную социальную

напряженность: между "массами" и "аппаратом", между экспроприированными мелкими собственниками и властью, "центром" и "местами", между рабочими и "спецами". В этой ситуации Сталин примеривает на себя мундир советского Бонапарта. Отныне его "бонапартизм" будет держаться на социальных противоречиях, прежде всего противоречиях между "аппаратом" и "массой".

В 1931 году Троцкий придет к выводу, что "нынешний советский аппарат представляет собой бюрократическую плебисцитарную форму диктатуры пролетариата" (разрядка наша. — *Авт.)*. Он отказывается от "буржуазного" наполнения своих французских аналогий. "Буржуазное перерождение" пока не состоялось. "Термидорианская модель" похоронена. Троцкому кажется, что разгадка сталинского режима найдена. В 1935 году он констатирует поворот Сталина "вправо, еще вправо и еще правее". Начало поворота отнесет приблизительно к 1933 году. Формы выражения? "Неонэп" — рынок, материальное стимулирование, отмена карточек и т. д. Слово "термидор" снова мелькает в статьях Троцкого. Но теперь этого слова явно недостаточно ни для характеристики того этапа, через который проходит страна, ни для описания "той катастрофы, которую... подготовляет" сталинская бюрократия. В какой уже раз Троцкий прощается с "термидором", во всяком случае с тем "буржуазным термидором", который, по его мнению, грозил пролетарскому государству во времена "сталинского центризма" 20-х годов. Объявляется "радикальный пересмотр исторической аналогии".

В чем же суть пересмотра? Троцкий меняет взгляд даже на французский переворот. Теперь он утверждает, что переворот 9 термидора не ликвидировал основных завоеваний революции, но лишь передал власть в руки более умеренных и консервативных якобинцев. Аналогичный сдвиг власти вправо произошел и в ходе русской революции. Он начался в 1924-м, а завершился разгромом левой оппозиции в 1927 году.

Оказывается, тот "термидор", которого боялись и ждали в середине 20-х годов, уже произошел. Произошел тогда, когда всем казалось, что он еще впереди. Впрочем, этот "новый термидор" не имеет ничего общего с тем, которого ждали. Содержание аналогии совершенно изменено. Раньше за ней стоял "возврат к капитализму", теперь — всего лишь сдвиг власти вправо, без ликвидации основных завоеваний революции.

Одновременно с "термидором" пересматриваются и бонапартистские аналогии: "Под бонапартизмом мы понимаем такой режим, когда экономически господствующий класс, способный к демократическим методам правления, оказывается вынужден в интересах своей собственности терпеть над собой бесконтрольное командование военно-полицейского аппарата, увенчанного "спасителем". Подобное положение создается в периоды особого обострения клас-

совых противоречий — бонапартизм имеет целью удержать их от взрыва". Объективная функция этого "спасителя", считает Троцкий, "охранять новые формы собственности, узурпируя политическую функцию господствующего класса. Разве эта точная характеристика сталинского режима не есть в то же время научно-социологическое определение бонапартизма?"

Удивительно, но крах старых аналогий, их полная ревизия не стали для Троцкого теоретическим тупиком. Каркас новой концепции окреп настолько, что из него уже можно вынуть подпорки исторических аналогий. Не случайно Троцкий подчеркивал: под бонапартизмом "мы имеем в виду не историческую аналогию, а социологическое определение".

Итак, "термидор" и "бонапартизм" перестали быть историческими образами и превратились в социологические категории. Эта концепция начинает обретать свой собственный язык и категориальный аппарат, хотя так и не выходит за рамки апробированных определений. В момент своего рождения она не смогла предсказать принципиально новое явление — сталинизм. Тем самым не справилась с функциями политического прогноза, и только постфактум дала одно из возможных объяснений явления, когда его уже невозможно было предотвратить.

Завершить книгу, как и увидеть изданным хотя бы первый том, работу над которым в целом Троцкий считал законченной, автору не удалось. Второй том, где и предполагалось развернуть концептуальное разъяснение сталинщины, был лишь намечен. Троцкий только примерялся к окончательной конструкции этой важнейшей части своего труда, когда пятьдесят лет назад, в августе 1940 года, его настигла рука наемного убийцы.

Но и в данном виде издание книги Троцкого о Сталине имеет для нас большое значение. Во-первых, она первая, из которой, как мы уже отмечали, выросли все остальные. Во-вторых, она вполне самостоятельна и не затеряется во все растущем изобилии литературы о Сталине.

В. Козлов, А. Ненароков

ЛЕВ ТРОЦКИЙ

СТАЛИН

У каждой книги своя судьба. Но не каждого автора убивают во время работы над текстом по приказанию героя его произведения. Так случилось с Троцким 21 августа 1940 года, и его рукопись "Сталин" осталась незавершенной.

Первый том книги состоит из предисловия, незаконченного автором и скомпанованного по его черновикам, и семи глав, отредактированных Троцким для издания книги на английском языке, вышедшей в 1941 году в издательстве Harper and Brothers в переводе Ч. Маламута.

Публикация производится с любезного разрешения администрации Гарвардского университета, где в Хоттонской библиотеке хранятся оригинал рукописи, черновики и другие документы архива Троцкого.

LEO TROTSKY

STALIN

VOL.I

Edited by Y. Felshtinsky

Published by Chalidze Publications
BENSON VERMONT 05731
Manufactured in USA

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я с гораздо большей подробностью, как увидит читатель, останавливался на формировании Сталина в подготовительный период, чем на его политической роли в настоящее время. Факты последнего периода известны каждому грамотному человеку. Критику политики Сталина я давал в разных работах. Цель этой политической биографии — показать, каким образом сформировалась такого рода личность, каким орбазом она завоевала и получила право на столь исключительную роль. Вот почему [интересны] жизнь и развитие Сталина в тот период, когда о нем никто или почти никто не знал. Автор занимается тщательным анализом отдельных, хотя и мелких, фактов и свидетельских показаний. Наоборот, при переходе к последнему периоду он ограничивается симфизическим изложением, предполагая факты, по крайней мере важнейшие, известными читателю.

Критики, состоящие на службе Кремля, заявят и на этот раз, как они заявляли по поводу "Истории русской революции", что отсутствие библиографических ссылок делает невозможным проверку утверждения автора. На самом деле библиографические ссылки на сотни и тысячи русских газет, журналов, мемуаров, сборников и пр. очень мало дали бы иностранному критику или читателю, а только загромоздили бы текст. Что касается русских критиков, то в их распоряжении есть аппарат государственных архивов и библиотек. Если бы в моих писаниях были бы фактические ошибки, неправильные цитаты, неправильное использование материалов, то на это было бы указано давным давно. На самом деле я не знаю ни в одной антитроцкистской литературе ни одного указания на неправильное использование мною указанных источников. Этот факт, смею думать, дает серьезную гарантию и иностранному читателю.

В своей "Истории" я всячески устранял элементы мемуаров и опирался только на те данные, которые были опубликованы и потому подлежат проверке, в том числе и на свои собственные показания, которые никем не были оспорены в прошлом. В этой биографии автор считает возможным отступить от этого слишком сурового метода. Главная ткань повествования опирается и здесь на документы, мемуары и другие объективные источники. Но в тех случаях, где ничто не может заменить показания памяти самого автора, я считал себя вправе приводить те или другие эпизоды, личные воспоминания, ясно оговаривая каждый раз, что выступаю в данном случае не только как автор, но и как свидетель.

Автор следовал в этой биографии тому же методу, какому он следовал в своей "Истории русской революции". Многочисленные противники признали, что книга опирается на факты, сгруппированные научным методом. Правда, обозреватель "New York Times" отверг книгу, как пристрастность. Но любая строка его статьи показывает, что он возмущен русской революцией и переносит свое возмущение на ее историка. Это обычная аберрация у всякого рода либеральных субъективистов, находящихся в разладе с ходом классовой борьбы. Недовольные результатом исторического процесса, они осуждают тот научный анализ, который обнаруживает неизбежность этого результата.

Будут ли выводы автора признаны объективными — все или часть их, в конце концов, не так существенно. Гораздо важнее оценка методов. Здесь автор не опасается критики. Он прошел через работу, опираясь на факты и в полной солидарности с документами. Могут, разумеется, встретиться те или другие частичные, второстепенные погрешности или ошибки. Но чего в этой работе никто не найдет, это недобросовестного отношения к фактам, игнорирования документов или произвольных выводов, основанных только на личных пристрастиях. Автор не оставил в стороне ни одного факта, документа, свидетельства, направленного в пользу героя этой книги. Если внимательное, тщательное и добросовестное собирание фактов, даже мелких эпизодов, проверка свидетельских показаний при помощи приемов исторической и биографической критики, наконец, включение фактов личной жизни и исторического про-

цесса, — если все это не есть объективность, то остается спросить, в чем же собственно она состоит? [Так как] источники сфабрикованы Сталиным, критика источников относится не к технике писания, а к самому существу. Нельзя не подвергая критике детальной всевозрастающей фальсификации подготовить читателя к пониманию таких явлений, как московские процессы.

В известных кругах охотно говорят и пишут о моей ненависти к Сталину, которая внушает мне мрачные суждения и предсказания. Мне остается по этому поводу только пожимать плечами. Наши дороги так давно и так далеко разошлись, и он в моих глазах является в такой мере орудием чуждых мне и враждебных исторических сил, что мои личные чувства по отношению к нему мало отличаются от чувств к Гитлеру или к японскому Микадо. Что было личного, давно перегорело. Уже тот наблюдательный пункт, который я занимал, не позволял мне отождествлять реальную человеческую фигуру с ее гигантской тенью на экране бюрократии. Я считаю себя поэтому вправе сказать, что никогда не возвышал Сталина в своем сознании до чувства ненависти к нему.

Прежде, чем стать царем в Израиле, Давид в отрочестве пас овец. Это не подавило в нем богатых духовных дарований, которые нашли себе в красотах природы сильнейший стимул к развитию. Благодаря искусной игре на арфе, он был приглашен ко двору, чтобы музыкой разгонять тоску Саула. Исключительная карьера Давида становится более понятной, если принять во внимание, что почти все сыны полукочевого израильского народа пасли овец и что искусство управления людьми было в ту пору немногим сложнее искусства управления стадами. С тех пор, однако, общество сильно дифференцировалось, династии обособились и специализировались, так что когда один из современных нам монархов увлекся, по примеру царя Давида, некой Вирсавией из Бостона и, вследствие парламентских условностей новой эпохи, вынужден был покинуть трон, епископу Кемтерберийскому, современному Самуилу, не пришлось искать ему преемника среди пастухов: деликатный вопрос разрешился в порядке династического автоматизма.

Со времени царя Давида человеческая история знала немало ослепительных восхождений, не только в древнем Риме, но и в

новой Франции. Дело шло в этих случаях почти исключительно о полководцах. Доказав на поле брани свою способность командовать вооруженными людьми, они тем увереннее повелевали затем безоружными массами. Это относится к Юлию Цезарю, как и к Наполеону. Правда, так называемый Наполеон III совершенно лишен был военных дарований. Но он не был и простым выскочкой, он был или считался племянником своего дяди, над головой его летал прирученный орел; без этой символической птицы голова принца Луи-Наполеона стоила немного.

Все его инстинкты и чувства перевешивала фантастическая вера в свою звезду и преданность "наполеоновским идеям", бывшими руководящими идеями его жизни. Человек страстный и вместе с тем полный самообладания (по выражению В. Гюго, голландец обуздывал в нем корсиканца), он с юности стремился к одной заветной цели, уверенно и твердо расчищая дорогу к ней и не стесняясь при этом в выборе средств: "Гармония между правительством и народом существует в двух случаях: или народ управляется по воле одного, или один управляется по воле народа. В первом случае это деспотизм, во втором – свобода".

Он нанял пароход, организовал в Лондоне экспедицию и, привлекши на свою сторону нескольких офицеров булонского гарнизона, 6 августа 1840 г. высадился в Булони. Не ограничиваясь костюмом, шляпою и обычными знаками императорского достоинства, Наполеон имел при себе прирученного орла, который, выпущенный в определенный момент, должен был парить над его головою. Но этот момент не наступил, так как вторая попытка окончилась еще плачевнее, чем первая.

Накануне мировой войны даже карьера Наполеона III казалась уже фантастическим отголоском прошлого. Демократия была прочно установлена, по крайней мере в Европе, в Северной Америке и в Австралии. Конституционная механика представительства казалась единственно приемлемой для цивилизованного человечества системой управления. А так как цивилизация продолжала расти и шириться, то будущность демократии казалась несокрушимой. Многие и сейчас еще живут в XIX веке. На самом деле демократия привела к диктатурам.

События в России нанесли первый удар этой исторической концепции. На смену царизму после восьмимесячного интермеццо демократического хаоса пришла диктатура большевиков. Но здесь дело шло об одном из "эпизодов" революции, которая

сама казалась лишь продуктом отсталости России, воспроизведение в XX веке тех конвульсий, которые Англия пережила в середине XVII века, а Франция — в конце XVIII. Ленин представлялся московским Кромвелем или Робеспьером. Новое явление можно было, по крайней мере, классифицировать, и в этом заключалось утешение. Вера в незыблемость законов либеральной демократии продолжала оставаться почти незатронутой.

Для Муссолини, как через 11 лет для Гитлера, не так легко было найти историческую аналогию. В цивилизованных странах, прошедших через длительную школу представительной системы, к власти поднялись таинственные незнакомцы, которые в юности занимались почти столь же скромной работой, как Давид или Исаия. За ними не числилось накаких воинских подвигов. Они не возвестили миру никакой новой идеи. За их спиной не стояла тень великого предка в треуголке. Римская волчица не была прабабушкой Муссолини. Свастика не есть фамильный герб Гитлеров, а только плагиат у египтян и индусов. Либерально-демократическая мысль стоит беспомощно перед загадкой фашизма. Но ни Муссолини, ни Гитлер не похожи на гениев. Чем же объясняется их головокружительный успех?

Мелкая буржуазия в нынешнюю эпоху вообще не может выдвинуть ни оригинальных идей, ни самостоятельных вождей. У Гитлера, как и у Муссолини, все заимствовано и подражательно. Муссолини совершал плагиат у большевиков. Гитлер подражал большевикам и Муссолини. Таким образом, вожди мелкой буржуазии, зависимые от крупного капитала, являются по самому типу своему вождями второго класса, как мелкая буржуазия, глядеть ли на нее сверху или снизу, занимает всегда второе место. Однако в рамках исторических возможностей Муссолини проявил огромную инициативу, изворотливость, цепкость, изобретательство.

Муссолини и Гитлер начали свою борьбу в условиях демократии. Они сталкивались лицом к лицу с противниками. Они спорили на равных правах. Ничего подобного не было в истории восхождения Сталина. Муссолини — это непрерывная импровизация на открытой арене. Муссолини и его сподвижники подражали большевикам, хотя и в прямо противоположном направлении.

Гитлер всегда говорит о своей гениальности. Сталин заставляет об этом говорить других. Сталин, как и Гитлер, как и Муссолини являются по своей нравственной природе *циниками.* Они

видят людей с их низшей стороны. В этом их реализм. У Гитлера черты мономании и мессионизма. У Муссолини ничего, кроме циничного эгоизма. Личная обида играла большую роль в развитии Гитлера, как и Муссолини. Гитлер оказался деклассирован. Евреи равнялись социал-демократам. Гитлер хотел подняться выше на этом пути, создал себе *теорию* и ее держался.

Гитлер особенно настаивает на том, что только живое устное слово характеризует вождя. Никогда, по его словам, статья не может повлиять на массы так, как речь. Во всяком случае, не может создать постоянной живой связи между вождем и его миллионами последователей. Суждение Гитлера определяется, вероятно, в значительной мере тем, что он не умеет писать. Маркс и Энгельс приобрели миллионы последователей, не прибегая за всю свою жизнь к ораторскому искусству. Правда, им для приобретения влияния понадобились многие годы. Искусство писателя, в конце концов, выше, ибо оно позволяет соединять глубину с высокой формой. Те политические деятели, которые были только ораторами, отличались всегда поверхностностью. Оратор не создает писателей. Наоборот, великий писатель может вдохновить тысячи ораторов. Но верно то, что для непосредственной связи с массой необходима живая речь.

Новое время принесло новую политическую мораль. Но, странное дело, красный ветер возвращает нас во многих отношениях к эпохе Возрождения, или даже далеко превосходит ее по масштабу своих жестокостей и зверств. Объявляются снова политические кондотьерии. Борьба за власть принимает грандиозный характер. Уже при дворе римских императоров эпохи упадка были специалисты по ядам разного типа, яды, которые убивают на месте, убивают медленно или которые лишают рассудка, не ускоряя смерти. Агриппина, мать Нерона, пользовалась услугами Локусты, женщины весьма искушенной в отравлении. Ее услуги для поддержания порядка были так велики, что ее называли инструментом Рекни, т. е. орудием власти. Евнух по имени Халотус подавал гостям отравленные ею блюда и тут же пробовал их. Доверие при римском дворе не было очень высоко, как и в нынешнем Кремле. Предусмотрительная Агриппина сумела заручиться соучастием придворного врача Ксенофона, этот врач по особому понимал свои обязанностии: чтоб выз-

вать у императора Клавдия, мужа Агриппины и отчима Нерона, рвоту, он ввел ему в горло перышко, смоченное ядом.

"Хроники 15-го столетия, — говорит благочестивый историк пап, Пастор, — полны необыкновенных появлений и атмосферических возмущений, плохих урожаев, землетрясений и эпидемий". Как и в эпоху Возрождения, жизнь вовсе не окрашена одной краской измен и коварства, отравлений и подлогов. Что характеризовало эпоху Возрождения, это резкие контрасты "во всех областях хорошее и плохое оказывались чрезвычайно спутанными в итальянских государствах 15-го столетия" Эпоха Возрождения характеризовалась исключительным развитием индивидуализма, но число индивидов, которые могли позволять себе индивидуализм, было ограничено и часто сводилось к одному лицу.

Эпоха Возрождения — 15-е столетие, точнее сказать, вторая половина 15-го столетия и начало 16-го. Когда во всех областях жизни происходили и обнаруживались глубокие изменининя, старые нормы отношений и, тем самым, нормы морали изжили себя. Новые нормы еще не установились. "Как раз во второй половине 15-го столетия внимательному наблюдателю открывается ужасающая коррупция в политических отношениях Италии... Искусство управления выродило систему клятвопреступлений и измен, согласно которой считалось наивностью и глупостью выполнение договоров; со всех сторон приходилось бояться хитрости и насилия, подозрительность и недоверие отравляли отношения между главами государств" (Пастор, "История пап"). Эту разрушительную систему усвоили себе великие сеньоры этой эпохи: Франциск и Людовик Сфорта, Лоренцо Медичи, Александр VI (Борджиа), Цезарь Борджиа и другие. В военной области этот век был временем авантюристов-полководцев, называвшихся кондотьерами. Пастор пишет: "С ужасом выступало сатанинское злорадство Ерранте, который смеялся от удовольствия, потирая свои руки, когда думал о хорошо охраняемых в его тюрьмах пленниках, которых он оставлял в томительной неизвестности относительно предстоявшей им судьбы". Это было в Риме, когда кардиналы писали порнографические комедии, а папы ставили их при своем дворе. "Бесстыдным являлся также способ, в каком государство пользовалось убийством, которое было особенно в Вене-

ции излюбленным методом избавления от врагов, как внешних, так и внутренних. Решение насчет убийств обсуждались и постановлялись в заседаниях правительственных советов". Фонтано писал: "В Италии ничто не имеет меньшей цены, чем человеческая жизнь".

"Из этих условий вырастали зловещие фигуры, которые соединяли с самой изысканной культурой преступную дерзость, злобную хитрость и презрение ко всем моральным законам. Люди, типом которых является Николай Макиавелли" (Пастор). Официальная средневековая мораль покорности и смирения сменилась честолюбием и славолюбием. "Неограниченный индивидуализм, которому столь сильно благоприятствовало ложное Возрождение, породил кроме славолюбия много других гибельных проков, именно: расточительность, роскошь, игру (азарт), жажду мести, ложь и подлог, безнравственность, преступление и человекоубийства, религиозные безразличия, неверие и суеверие" (Пастор). К числу этих отталкивающих характеров Пастор относит Сигизмунда Малатеста и, до известной степени, Цезаря Борджиа. "Ужасная безнравственность семьи Борджиа ни в каком случае не была изолированным явлением; почти все дворяне Италии жили подобным же образом... Домашние жестокости, казалось, не имели конца... Законные и незаконные принцы бежали, покидали двор, но и в других странах они находились под угрозой специально подосланных убийц".

Цезарь Борджиа: авантюрист, полководец, государственный человек, кардинал-растрига, сын римского папы. В борьбе с другими авантюристами-кондотьерами Цезарь Борджиа выходил в большинстве случаев победителем. "Но, — говорит Британская энциклопедия, — он не был несомненно гениальным человеком, как в течение многого времени воображали, и его успехи были обязаны, главным образом, поддержке папского престола; как только его отец умер, его карьера пришла к концу и он не мог больше играть видной роли в делах Италии. Его падение показывает, на каком нездоровом фундаменте была воздвигнута его система".

Многое из того, что приписывали Цезарю Борджиа и его сестре Лукреции, несомненно или почти несомненно ложно. Имена их до известной степени стали собирательными. Но, разумеется,

народная молва, как и догадки хронистов и историков, не случайно приписывали преступления именно этим людям. Когда незримая Лукреция Борджиа отравляет за ужином своих врагов и появляется к моменту их смерти, она говорит у Гюго: "Вы не ожидали этого, черт возьми, мне кажется, что я отомщаю, что вы скажете на это, господа? Кто из вас понимает людей мести? Ведь это не плохо, я думаю! А, что вы думаете об этом для женщины!"

Цезарь Борджиа, несмотря на то, что имя его сделалось синонимом вероломства и кровожадной жестокости, не может считаться чудовищным исключением в среде феодальных властителей XV столетия не только одной Италии, но и Европы вообще. "Каждый понимает, – говорит Макиавелли, давший идеальный портрет Цезаря Борджиа в своем знаменитом произведении "О государстве", – сколь похвально для государства сохранять верность, действовать правдиво, без коварства, но опыт нашего времени убеждает нас, что только тем государям удается совершать великие дела, которые не хранят своего слова, которые умеют обмануть других и победить доверившихся их "честности". Но никто не обнаружил такую неумолимую последовательность и стойкость в достижении своих целей, такое полное отсутствие совести и безразличие к злодеяниям вместе с демонским сознанием своего превосходства и призвания властвовать, как Цезарь Борджиа".

Сопоставление с Борджиа и другими фигурами Возрождения надо все-таки ограничить. Борджиа, Борза, Медичи были яркими личностями, в которых сочетались противоречия: честолюбие и беззаботность, легкомыслие и беспощадность, свирепость и великодушие. На всем Ренессансе лежат редкие черты. Это был период пробуждения новой индивидуальности в слое молодой буржуазной интеллигенции и бюрократии. С того времени много воды утекло. Буржуазное общество постарело. Оно прошло через период массовых организаций, связанных внутренней дисциплиной.

Чтоб быть похожим на сверхчеловека эпохи Возрождения, Сталину не хватает красок, личности, размаха, соображения, капризного великодушия. В ранней молодости, после того как он оказался вынужден покинуть семинарию за неуспешность, он одно время служил в тифлисской обсерватории бухгалтером. Хорошо ли он вел приходно-расходные книги обсерватории,

осталось неизвестным. Но бухгалтерский расчет он внес в политику и в свои отношения к людям. Его честолюбие, как и его ненависть, подчинены строгому расчету. Люди Возрождения были дерзки, Сталин — осторожен. Он долго носит свою ненависть, пока она не превращается в отстой. Его месть имеет гигантский размах потому, что он стоит не на земле, а наверху самого грандиозного из всех аппаратов. Аппаратом же Сталин овладел, так как был неизменно верен ему. Он изменял партии, государству, программе, но не бюрократии.

Николай Макиавелли — самый гениальный представитель ложного Возрождения, по словам Пастора. "Опыт показывает, — писал Макиавелли, — что великие дела совершают те, которые умеют подчинять себе людей посредством хитрости или насилия... Когда дело идет о спасении отечества, нельзя обращать внимания ни на какие трудности и на то, справедливо ли это или несправедливо, гуманно или жестоко, похвально, заслуживает порицания, но, оставляя в стороне все другие критерии, надо прибегать исключительно к тому средству, которое может спасти жизнь и сохранить свободу отечества". Именно в переходные эпохи, когда надо ломать старое и строить новое, государственная власть обнаруживает всю свою силу. Взгляд на государство, как на массивного третейского судью, который вмешивается, когда его об этом просят, кажется в такие эпохи смешным и ничтожным. Государство достигает высшей степени напряжения и становится ироническим, разрушает и строит. Именно этот взгляд на государство был у Макиавелли.

Законы политической механики, которые формулировал Макиавелли, в течение долгого времени считались выражением предельного цинизма. Макиавелли рассматривает задачи борьбы за власть как шахматную теорему. Вопросы морали не существуют для него, как они не существуют для шахматиста, как они не существуют для бухгалтера, задача которого состоит в том, чтобы сделать наиболее целесообразное в данном положении.

Италия 15-го столетия была передовой страной капитализма. Мелкие итальянские государства в то время были детскими башмаками молодого капитализма. Государства терлись друг о друга, как камни в тесном мешке. Принцы, герцоги и короли постоянно боролись, интриговали и меняли границы своих государств. Нынешняя Европа, Европа капиталистического заката, во мно-

гом напоминает Италию капиталистического детства, только масштабы неизмеримо более велики.

Римские преторианцы, стоявшие над народом и, в известном смысле над государством, нуждались в императоре, как в высшем судье, так и бюрократия, ставшая над народом и Советами, нуждалась в вожде. За пожар Рима, который приписывали злой воле самого Нерона, отвечали христиане, которые вообще были козлами отпущения за все бедствия его царствования. Роль козла отпущения, которую у Нерона играли христиане, а у Гитлера играют евреи, у Сталина выполняют так называемые троцкисты. Власть Сталина представляет собою современную форму цезаризма. Она является почти незамаскированной монархией, только без короны и пока без наследственности. В начале XVIII века грузинский царь отдался под власть Москвы, видя себя вынужденным отдаться под власть Москвы. В начале XX века маленькая Грузия навязала Москве своего собственного царя.

В течение XIX века, который был веком парламентаризма, либерализма и социальных реформ (если закрыть глаза на войны и на гражданские войны), Макиавелли считался давно позади. Честолюбие было введено в парламентские рамки и, вместе с тем, — разграблено. Дело шло уже не о том, чтоб захватить власть одному лицу полностью и целиком, а о том, чтоб захватить мандаты в избирательном округе, портфель министерский. Макиавелли казался идеологом далекого прошлого. Новое время принесло новую, более высокую политическую мораль.

Но, поразительное дело, XX век возвращает нас во многих отношениях к методам эпохи Возрождения и даже далеко превосходит их по масштабу своих жестокостей и зверств. Появляются снова политические кондотьерии. Борьба за власть принимает личный характер и грандиозный масштаб. Принципы Макиавелли, которые всегда, даже в период процветания либерализма и реформ, составляли основу политической механики, получают теперь снова открытое и циничное выражение. Этот рецидив наиболее жестокого макиавеллизма кажется непонятным тому, кто до вчерашнего дня исходил из уверенности, что человеческая история движется по восходящей линии материального и культурного прогресса. Но мы можем сказать теперь: ни одна эпоха прошлого не была так жестока,

беспощадна, цинична, как наша эпоха. Политическая мораль вовсе не поднялась по сравнению с эпохой Возрождения или с другими, еще более отдаленными эпохами.

Эпоха Возрождения была эпохой борьбы двух миров; социальные антагонизмы достигли крайнего напряжения. Отсюда напряжение политической борьбы, которая не допускала роскоши прикрываться или ограничивать себя моральными принципами... Во второй половине XIX века политическая мораль так высоко поднялась над материализмом, или воображением господ-политиков, только потому, что социальные антагонизмы на время смягчились, политическая борьба разменялась на мелкую монету, а основой этого был рост благосостояния и некоторые улучшения положения верхов трудящихся. Наш период, наша эпоха, похожа на эпоху Возрождения в том смысле, что мы живем на грани двух миров: буржуазного, капиталистического, который переживает агонию, и того нового мира, который идет ему на смену. Социальные противоречия снова достигли исключительной остроты. Политическая борьба сконцентрировалась и не может позволить себе роскоши прикрываться правилами морали.

Политическая власть, как и мораль, вовсе не совершенствуется непрерывно, как думали в конце прошлого и в первое десятилетие нынешнего столетия. Политика и мораль имеют в высшей степени сложную и противоречивую орбиту. Политика, как и мораль, находится в прямой зависимости от классовой борьбы; как общее правило, можно сказать, что чем острее и напряженне классовая борьба, чем глубже социальный кризис, — тем более напряженный характер получает политика, тем концентрированнее и беспощаднее становится государственная власть и тем откровеннее она сбрасывает с себя покровы морали.

Некоторые из моих друзей обращали мое внимание на то, что слишком большое место в моей работе занимают ссылки на источники и критика источников. Я отдавал и отдаю себе ясный отчет в неудобствах такого метода изложения. Но у меня не оставалось выбора. Никто не обязан верить автору, столь близко заинтересованному, столь непосредственно участвующему в борьбе с тем лицом, биографию которого он оказался вынужденным писать. Наша эпоха есть эпоха лжи, по преимуществу. Я не хочу этим сказать, что другие эпохи человечества

отличались большей справедливостью. Ложь вытекает из противоречий, из борьбы, из столкновения классов, из подавления личности обществом; в этом смысле она составляла аккомпанимент всей человеческой истории. Но бывают периоды, когда социальные противоречия принимают исключительную остроту, когда ложь поднимается над средним уровнем, ложь приходит в соответствие с остротой социальных противоречий. Такова наша эпоха. *Я не думаю, что во всей человеческой истории можно найти что-нибудь, хотя бы в отдаленной степени похожее на ту гигантскую фабрику лжи, которая организована Кремлем под руководством Сталина,* причем одной из главнейших работ этой фабрики является создание Сталину новой биографии.

СЕМЬЯ И ШКОЛА

Покойный Леонид Красин, старый революционер, видный инженер, блестящий советский дипломат и, прежде всего, умный человек, первым, если не ошибаюсь, прозвал Сталина "азиатом". Он имел при этом в виду не проблематические расовые свойства, а то сочетание выдержки, проницательности, коварства и жестокости, какое считалось характерным для государственных людей Азии. Бухарин упростил впоследствии эту кличку, назвав Сталина "Чингиз-ханом", очевидно, чтоб выдвинуть на первый план жестокость, развившуюся до зверства. Однако и сам Сталин в беседе с японским журналистом назвал себя однажды "азиатом", но уже не в старо-, а в новоазиатском смысле: он хотел в этой персональной форме намекнуть на наличие у СССР общих интересов с Японией против империалистского Запада. Если отнестись к кличке "азиат" под научным углом зрения, то придется признать, что она в интересующем нас случае правильна только отчасти. По своей географии Кавказ, особенно Закавказье, является несомненным продолжением Азии. Однако грузины, в отличие от монголов-азербайджанцев, принадлежат к так называемой средиземной, европейской расе. Сталин был, следовательно, неточен, когда назвал себя азиатом. Однако география, этнография и антропология не исчерпывают вопроса: над ними возвышается история.

В долинах и горах Кавказа удержались брызги человеческого потока, переливавшегося в течение столетий из Азии в Европу. Отдельные племена и группы как бы застыли здесь в своем развитии, превратив Кавказ в гигантский этнографический музей. В течение долгих столетий судьба этих народов оставалась тесно связанной с судьбой Персии и Турции и удерживалась, таким образом, в сфере староазиатской культуры, которая умудрялась оставаться неподвижной, несмотря на постоянные встряски мятежей и войн.

В другой менее пересеченной местности маленькая грузинская ветвь человечества — около 2,5 миллионов в настоящее время — растворилась бы, вероятно, бесследно в историческом тигеле. Под защитой Кавказского горного хребта грузины сохранили в сравнительно чистом виде свою этническую физиономию и свой язык, которому филология, кажется, и до сих пор затрудняется найти законное место. Письменность возникает в Грузии уже в IV столетии, одновременно с проникновением христианства, на шестьсот лет раньше, чем в Киевской Руси. X—XIII века считаются эпохой расцвета военной мощи Грузии, ее литературы и искусства. Затем следуют столетия застоя и упадка. Многократные кровавые набеги Чингиз-хана и Тамерлана на Кавказ оставили свои следы в народном эпосе Грузии. Если верить несчастному Бухарину, они оставили следы и в характере Сталина.

В начале XVIII века грузинский царь отдался под власть Москвы, ища защиты от исконных своих врагов, Турции и Персии. Прямая цель была достигнута, жизнь стала обеспеченнее. Царское правительство провело в Грузии необходимые стратегические дороги, обновило отчасти города и создало элементарную сеть школ, прежде всего, в целях русификации инородческих подданных. Однако петербургская бюрократия не могла, конечно, вытеснить в течение двух столетий староазиатское варварство европейской культурой, в которой Россия еще весьма нуждалась сама.

Несмотря на природные богатства и благословенный климат, Грузия продолжала оставаться отсталой и бедной страной. Ее полуфеодальные отношения опирались на низкую материальную базу и потому отличались чертами азиатской патриархальности, которая не исключала азиатской жестокости. Промышленность почти не существовала. Обработка почвы и строительство жилищ производились почти так же, как две тысячи лет тому назад. Вино выдавливалось ногами и хранилось в больших глиняных кувшинах. Города Кавказа, сосредоточивавшие в себе не более шестой части населения, оставались, подобно городам Азии, чиновничьими, военными, торговыми и лишь в небольшой степени ремесленными центрами. Над основной крестьянской толщей возвышался слой дворян, в большинстве своем небогатых и малокультурных, отличавшихся от верх-

него слоя крестьян подчас только пышным титулом и претензиями. Не напрасно Грузию с ее маленьким "могуществом" в прошлом, с ее экономическим застоем в настоящем, с ее благодатным солнцем, виноградниками, беспечностью, наконец, с ее обилием провинциальных гидальго с пустыми карманами, называли Испанией Кавказа.

Молодое поколение дворян стучалось в двери университетов и, порывая с тощей сословной традицией, которую не очень брали всерьез в центральной России, примыкало к радикальным группировкам русского студенчества. За дворянскими семьями тянулись более зажиточные крестьяне и мещане, сгоравшие честолюбием сделать из своего сына либо чиновника, либо офицера, либо адвоката, либо священника. В результате Грузия обладала крайне многочисленной интеллигенцией, которая во всех прогрессивных политических движениях и в трех революциях играла заметную роль в разных частях России.

Немецкий писатель Боденштедт (Bodenstedt), служивший мимоходом в 1844 г. директором учительского института в Тифлисе пришел к выводу, что грузины не только неопрятны и беззаботны, но и менее интеллигентны, чем другие кавказцы; в школах они будто бы уступают армянам и татарам в изучении наук, усвоении иностранных языков и способности изъяснения. Цитируя этот слишком поспешный отзыв, Элизе Реклю высказал совершенно правильное предположение, что различие могло объясняться не национальными, а социальными причинами: учащиеся-грузины — выходцы отсталой деревни, армяне — дети городской буржуазии. Дальнешее развитие, действительно, скоро стерло это различие. В 1892 году, когда Иосиф Джугашвили учился во втором классе духовного училища, грузины, составлявшие примерно восьмую часть кавказского населения, выдвигали из своей среды почти пятую часть всех учащихся (русские — свыше половины, армяне — около четырнадцати процентов, татары — менее трех...). Правда, особенности грузинского языка, одного из древнейших орудий культуры, видимо, действительно затрудняют усвоение иностранных языков, налагая тяжелый отпечаток на произношение. Но никак нельзя согласиться, будто грузины лишены дара свободной речи. При царизме они, как и другие народы Империи, были обречены на молчание. Однако по мере "европеизации"

России, грузинская интеллигенция выдвинула ряд если не первоклассных, то выдающихся ораторов судебной, а затем и парламентской трибуны. Наиболее красноречивым из вождей февральской революции был, пожалуй, грузин Ираклий Церетели. Нет поэтому надобности объяснять национальным происхождением отсутствие у Сталина ораторских качеств. И по физическому типу он вряд ли представляет счастливый экземпляр своего народа, который считается самым красивым на Кавказе.

Национальный характер грузин изображается обычно как доверчивый, впечатлительный, вспыльчивый и в то же время лишенный энергии и предприимчивости. Реклю выдвигает на первый план веселость, общительность и прямоту. С этими качествами, которые действительно бросаются в глаза при личных встречах с грузинами, характер Сталина мало вяжется. Грузинские эмигранты в Париже заверяли Суварина, автора французской биографии Сталина, что мать Иосифа Джугашвили была не грузинкой, а осетинкой и что в жилах его есть примесь монгольской крови. В противоположность этому некий Иремашвили, с которым нам предстоит еще встретиться в дальнейшем, утверждает, что мать была чистокровной грузинкой, тогда как осетином был отец, "грубая, неотесанная натура, как все осетины, которые живут в высоких кавказских горах". Проверить эти утверждения трудно, если не невозможно. Вряд ли, однако, в этом есть необходимость для объяснения моральной фигуры Сталина. В странах Средиземного моря, на Балканах, в Италии, в Испании, наряду с так называемыми "южными" характерами, соединяющими ленивую беззаботность со взрывчатой вспыльчивостью, встречаются холодные натуры, в которых флегматизм сочетается с упорством и коварством. Первый тип господствует, второй его дополняет как исключение. Похоже на то, как если бы основные элементы характера были отпущены каждой национальной группе в соответственном количестве, но под южным солнцем оказались распределены еще менее гармонично, чем под северным. Не станем, однако, вдаваться в неблагодарную область национальной метафизики.

Уездный город Гори живописно расположен на реке Куре, в 76 километрах от Тифлиса, по закавказской железной дороге. Один из старейших городов Грузии, Гори имеет за собой драма-

тическую историю. Его основали по преданию в XII веке армяне, искавшие убежища от турок. Городок неоднократно подвергался затем разграблению, так как армяне, и в ту пору уже главным образом — городской торговый класс, отличались большей зажиточностью и представляли лакомую добычу. Как все азиатские города, Гори рос медленно, привлекая постепенно в свои стены выходцев из грузинской и татарской деревни. К тому времени, когда сапожник Виссарион Джугашвили переселился сюда из родной деревни Диди-Лило, городок имел тысяч шесть смешанного населения, несколько церквей, много лавок и духанов для крестьянской периферии, учительскую семинарию с татарским отделением, женскую прогимназию и четырехклассное училище.

Крепостное право было уничтожено в Тифлисской губернии всего за 14 лет до рождения Иосифа, будущего генерального секретаря. Пережитки рабства пропитывали собой социальные отношения и нравы. Вряд ли родители умели читать и писать. Правда, в Закавказье выходило пять ежедневных газет на грузинском языке; но совокупный их тираж не достигал и четырех тысяч экземпляров. Крестьянство жило еще внеисторической жизнью.

Бесформенные улицы, далеко разбросанные дома, фруктовые сады придавали Гори вид большой деревни. Дома городских бедняков, во всяком случае, мало отличались от крестьянских жилищ. Джугашвили занимали старую мазанку с кирпичными углами и песчаной крышей, которая давно уже начала пропускать ветер и дождь. Бывший соученик Иосифа, Д.Гогохия, описывает обиталище семьи: "Их комната имела не более девяти квадратных аршин и находилась около кухни. Ход со двора прямо в комнату, ни одной ступеньки. Пол был выложен кирпичем, небольшое окно скупо пропускало свет. Вся обстановка комнаты состояла из маленького стола, табуретки и широкой тахты, вроде нар, покрытой "чилопи" — соломенной цыновкой". К этому позже прибавилась старая шумная швейная машина матери.

О семье Джугашвили и о детстве Иосифа не опубликовано до сих пор никаких подлинных документов. Да и вряд ли они многочисленны. Культурный уровень среды был таков, что жизнь протекала вне письменности и почти не оставляла следов.

Только после того, как самому Сталину перевалило уже за 50 лет, стали появляться воспоминания об отцовской семье. Они писались либо ожесточенными и не всегда добросовестными врагами, обычно из вторых рук, либо подневольными "друзьями", по инициативе — можно бы сказать по заказу — официальных комиссий по истории партии, и потому являются, в большей своей части, упражнениями на заданную тему. Было бы, конечно, слишком просто искать правду по диагонали между этими двумя искажениями. Однако, сопоставляя их друг с другом, взвешивая умолчания одних и преувеличения других, критически оценивая внутреннюю связь самого повествования в свете дальнейших событий, можно до некоторой степени приблизиться к истине. Не гоняясь за искусственно законченными картинами, мы постарается представить читателю попутно те материальные элементы, на которые опираются наши выводы или догадки.

Наибольшей подробностью отличаются воспоминания уже упомянутого выше И. Иремашвили, вышедшие в 1932 году на немецком языке в Берлине, под заглавием "Stalin und die Tragoedie Georgiens". Политическая фигура автора, бывшего меньшевика, ставшего затем чем-то вроде национал-социалиста, сама по себе не внушает большого доверия. Тем не менее невозможно пройти мимо этого очерка. Некоторые страницы его отличаются бесспорной внутренней убедительностью. Даже сомнительные на первый взгляд эпизоды находят прямое или косвенное подтверждение в официальных воспоминаниях, опубликованных лишь несколько лет спустя. Может быть позволено будет сослаться и на то, что отдельные догадки, к которым автор этого труда пришел на основании умолчаний или уклончивых выражений советской литературы, нашли себе подтверждение в книге Иремашвили, с которой мы имели возможность познакомиться лишь в самый последний момент. Было бы ошибочно полагать, что Иремашвили, в качестве изгнанника и политического врага, стремится умалить фигуру Сталина или окрасить ее в сплошной черный цвет. Наоборот, он почти восторженно и с явным преувеличением рисует его способности; признает его готовность приносить своим идеалам личные жертвы; неоднократно подчеркивает его привязанность к матери и почти трогательными чертами изображает его первый брак. При более пристальном рассмотрении воспоминания этого бывшего учи-

теля тифлисской гимназии порождают впечатление документа, состоящего из разных наслоений. Основу составляют, несомненно, воспоминания далекого детства. Однако эта основа подверглась неизбежной ретроспективной обработке памяти и фантазии под влиянием позднейшей судьбы Сталина и политических взглядов самого автора. К этому надо прибавить наличность в воспоминаниях сомнительных, хотя, по существу, безразличных деталей, которые можно отнести за счет столь частого у известной категории мемуаристов стремления придать своим очеркам "художественную" законченность и полноту. С этими предупреждениями мы считаем вполне возможным опереться в дальнейшем на воспоминания Иремашвили.

Более ранние биографические справки неизменно говорили о Сталине, как сыне крестьянина из деревни Диди-Лило. Сам Сталин в 1926 году впервые назвал себя сыном рабочего. Примирить это противоречие нетрудно: как и большинство рабочих России, Джугашвили-отец по паспорту продолжал числиться крестьянином. Но этим затруднения не исчерпываются. Отец называется неизменно "рабочим обувной фабрики Алиханова в Тифлисе". Однако семья жила в Гори, а не в столице Кавказа. Значит ли это, что отец жил врозь от семьи? Такое предположение было бы законно, если бы семья оставалась в деревне. Но совершенно невероятно, чтобы кормилец семьи и сама семья жили в разных городах. К тому же Гогохия, товарищ Иосифа по духовному училищу, живший в одном с ним дворе, как и Иремашвили, часто навещавший его, прямо говорит, что Виссарион работал тут же, на Соборной улице, в мазанке с протекавшей крышей. Естественно поэтому предположить, что отец лишь временно работал в Тифлисе, может быть, еще в тот период, когда семья оставалась в деревне. В Гори же Виссарион Джугашвили работал уже не на обувной фабрике — в уездном городе фабрик не было, — а как самостоятельный мелкий кустарь. Умышленная неясность в этом пункте продиктована несомненно стремлением не ослаблять впечатление от "пролетарской" родословной Сталина.

Как большинство грузинок, Екатерина Джугашвили стала матерью в совсем еще юном возрасте. Первые трое детей умерли во младенчестве. 21-го декабря 1879 года родился четвертый ребенок, матери едва исполнилось двадцать лет. Иосифу

шел седьмой год, когда он заболел оспой. Следы ее остались на всю жизнь свидетельством подлинно плебейского происхождения и культурной отсталости среды. К рябинкам на лице Суварин, французский биограф Сталина, прибавляет еще худосочие левой руки, которое вместе с двумя сросшимися пальцами ноги должно, по его сведениям, служить доказательством алкогольной наследственности с отцовской стороны. Вообще говоря, сапожники, по крайней мере в центральной России, настолько славились пьянством, что вошли в пословицу. Трудно, однако, судить, насколько верны соображения о наследственности, сообщенные Суварину "разными лицами", вернее всего — меньшевиками-эмигрантами. В составлявшихся жандармами перечнях "примет" Иосифа Джугашвили нет совсем указания на сухорукость; сросшиеся пальцы ноги были отмечены однажды полковником Шабельским в 1902 году. Возможно, что жандармские документы, как и все другие, подверглись до печатания цензурной чистке, не вполне тщательной. Нельзя не отметить, с другой стороны, что в позднейшие годы Сталин время от времени носил на левой руке теплую перчатку даже на заседаниях Политбюро. Причину этого видели обычно в ревматизме. Но в конце концов эти второстепенные физические признаки, действительные или мнимые, вряд ли представляют сами по себе большой интерес. Гораздо важнее попытаться восстановить действительные образы родителей и атмосферу семьи.

Прежде всего бросается в глаза тот факт, что официально собранные воспоминания обходят почти полным молчанием фигуру Виссариона, сочувственно останавливаясь в то же время на трудовой и тяжелой жизни Екатерины. "Мать Иосифа имела скудный заработок, — рассказывает Гогохия, — занимаясь стиркой белья и выпечкой хлеба в домах богатых жителей Гори. За комнату надо было платить полтора рубля". Мы узнаем таким образом, что забота об уплате за квартиру лежала на матери, а не на отце. И дальше: "Тяжелая трудовая жизнь матери, бедность сказывались на характере Иосифа", — как если бы отец не принадлежал к семье. Только позже автор вставляет мимоходом фразу: "Отец Иосифа — Виссарион — проводил весь день в работе, шил и чинил обувь". Однако работа отца не приводится ни в какую связь с жизнью семьи и ее материальным уровнем. Получается впечатление, будто об отце упомянуто лишь для

заполнения пробела. Глурджидзе, другой товарищ по духовному училищу, уже полностью игнорирует отца, когда пишет, что заботливая мать Иосифа "зарабатывала на жизнь кройкой, шитьем и стиркой белья". Эти не случайные умолчания заслуживают тем большего внимания, что нравы народа далеко не отводили женщине руководящего места в семье. Наоборот, по старым грузинским традициям, очень вообще упорным в консервативной среде горцев, женщина оставалась на положении домашней полурабыни, почти не допускалась в среду мужчин, не имела права голоса в семейных делах, не смела наказывать сына. Даже в церкви жены и сестры располагались позади отцов, мужей и братьев. То обстоятельство, что авторы воспоминаний заслоняют фигуру отца фигурой матери, не может быть истолковано иначе, как стремлением уклониться от характеристики Виссариона Джугашвили. Старая русская энциклопедия, отмечая крайнюю воздержанность грузин в пище, прибавляет: "Едва ли какой-либо другой народ в мире пьет столько вина, сколько его выпивают грузины". Правда, с переселением в Гори Виссарион вряд ли сохранил собственный виноградник. Зато в городе духаны были под рукой, и с виноградным вином успешно конкурировала водка.

В этой связи особую убедительность приобретают показания Иремашвили. Как и другие авторы воспоминаний, но раньше их на пять лет, он с теплой симпатией характеризует Екатерину, которая с большой любовью относилась к единственному сыну и с приветливостью — к его товарищам по играм в школе. Прирожденная грузинка, Кеке, как ее обычно прозывали, была глубоко религиозна. Ее трудовая жизнь была непрерывным служением: богу, мужу, сыну. Зрение ее ослабело из-за постоянного шитья в полутемном помещении, и она рано начала носить очки. Впрочем, кавказская женщина за тридцать лет считалась уже почти старухой. Соседи относились к ней с тем большей симпатией, что жизнь ее сложилась крайне тяжко. Глава семьи, Безо (Виссарион), был, по словам Иремашвили, сурового нрава и притом жестокий пьяница. Большую часть своего скудного заработка он пропивал. Вот почему заботы о квартирной плате и вообще о содержании семьи ложились двойной ношей на мать. С бессильной скорбью наблюдала Кеке, как Безо своим отношением к ребенку "изгонял из его сердца любовь

к богу и людям и сеял отвращение к собственному отцу". "Незаслуженные, страшные побои сделали мальчика столь же суровым и бессердечным, как был его отец". Иосиф стал с ожесточением размышлять над проклятыми загадками жизни. Ранняя смерть отца не причинила ему горя; он только почувствовал себя свободнее. Иремашвили делает тот вывод, что свою затаенную вражду к отцу и жажду мести мальчик с ранних лет начал переносить на всех тех, кто имел или мог иметь какую-либо власть над ним. "С юности осуществление мстительных замыслов стало для него целью, которой подчинялись все его усилия". Даже с неизбежным элементом ретроспективной оценки, эти слова сохраняют всю свою значительность.

В 1930 году, когда ей был уже 71 год, Екатерина, жившая в то время в Тифлисе, в бывшем дворце наместника, в скромной квартире одного из служащих, отвечала через переводчика на вопросы журналистов: "Сосо (Иосиф) всегда был хорошим мальчиком... Мне никогда не приходилось наказывать его. Он усердно учился, всегда читал или беседовал, пытаясь понять всякую вещь... Сосо был моим единственным сыном. Конечно, я дорожила им... Его отец Виссарион хотел сделать из Сосо хорошего сапожника. Но его отец умер, когда Сосо было одиннадцать лет... Я не хотела, чтоб он был сапожником. Я хотела одного, чтоб он стал священником". Суварин собрал, правда, совсем другие сведения среди грузин в Париже: "Они знали Сосо уже жестким, нечувствительным, относившимся без уважения к матери и приводят в подтверждение своих воспоминаний достаточно щекотливые факты". Сам биограф отмечает, однако, что источником этих сведений являются политические враги Сталина. В этой среде тоже ходит, конечно, немало легенд, только с обратным знаком. Наоборот, Иремашвили с большой настойчивостью говорит о горячей привязанности, которую Сосо питал к матери. Да и не могло быть у мальчика других чувств к кормилице семьи и защитнице от отца.

Немецкий писатель Эмиль Людвиг, придворный портретист нашей эпохи, нашел случай применить и в Кремле свой метод наводящих вопросов, в которых умеренная психологическая проницательность сочетается с политической осторожностью. Любите ли вы природу, сеньор Муссолини? Как вы относитесь к Шопенгауэру, господин Масарик? Верите ли вы в лучшее бу-

дущее, мистер Рузвельт? Во время подобной словесной пытки Сталин, в состоянии замешательства перед прославленным иностранцем, усердно рисовал цветочки и кораблики цветным карандашом. Так, по крайней мере, рассказывает Людвиг. На сухой руке Вильгельма Гогенцоллерна этот писатель построил психо-аналитическую биографию бывшего кайзера, к которой старик Фрейд отнесся, правда, с ироническим недоумением. У Сталина Людвиг не заметил сухой руки и сросшихся пальцев на ноге. Зато он сделал попытку вывести революционную карьеру кремлевского хозяина из тех побоев, которые в детстве наносил ему отец. После ознакомления с мемуарами Иремашвили нетрудно понять, откуда почерпнул Людвиг свою догадку. ''Что сделало вас мятежником? Может быть, это произошло потому, что ваши родители плохо обращались с вами?'' Сталин ответил на этот вопрос отрицательно: ''Нет! Мои родители были простые люди, но они совсем не плохо обращались со мной''. Придавать этим словам документальную ценность было бы, однако, опрометчиво. Не только потому, что утверждения и отрицания Сталина, как мы будем иметь еще много случаев убедиться, вообще легко меняются местами. В аналогичном положении всякий другой поступил бы, вероятно, так же. Вряд ли, во всяком случае, можно упрекать Сталина за то, что он отказался публично жаловаться на своего давно умершего отца. Скорее приходится удивляться почтительной неделикатности писателя.

Семейные испытания не были, однако, единственным фактором, формировавшим жесткую, своевольную и мстительную личность мальчика. Более широкие влияния среды действовали в том же направлении. Один из биографов Сталина рассказывает, как к убогому дому сапожника подъезжал иногда на горячем коне светлейший князь Амилахвари для починки только что порвавшихся на охоте дорогих сапог и как сын сапожника, с обильной шевелюрой над низким лбом, пронизывал ненавидящими глазами пышного князя, сжимая детские кулачки. Сама по себе эта живописная сценка относится, надо думать, к области фантазии. Однако контраст между окружающей бедностью и относительной пышностью последних грузинских феодалов не мог не войти в сознание мальчика остро и навсегда.

В самом городском населении дело обстояло не многим лучше. Высоко поднимаясь над низами, уездное начальство прави-

ло городом именем царя и его кавказского наместника, князя Голицына, зловещего сатрапа, который пользовался всеобщей и заслуженной ненавистью. С уездными властями связаны были помещики и купцы-армяне. Но и основная плебейская масса населения, несмотря на общий низкий уровень ее, отчасти вследствие низкого уровня, разделялась кастовыми перегородками. Всякий, кто чуть поднимался над другими, зорко охранял свой ранг. Недоверие диди-лильского крестьянина к городу должно было превратиться в Гори во враждебное отношение убогого ремесленника к тем более зажиточным семьям, где Кеке приходилось шить и стирать. Не менее грубо давала себя знать социальная градация и в школе, где дети священников, мелких дворян и чиновников не раз обнаруживали перед Иосифом, что он им не чета. Как видно из рассказа Гогохия, сын сапожника рано и остро почувствовал унизительность социального неравенства: "Он не любил ходить к людям, живущим зажиточно. Несмотря на то, что я бывал у него по нескольку раз в день, он подымался ко мне очень редко, потому что дядя мой жил, по тем временам, богато". Таковы первые источники пока еще инстинктивного социального протеста, который в атмосфере политического брожения страны должен был позже превратить семинариста в революционера.

Низший слой мелкой буржуазии знает две высоких карьеры для единственных или одаренных сыновей: чиновника и священника. Мать Гитлера мечтала о карьере пастора для сына. С той же мыслью носилась, лет на десять раньше, в еще более скромной среде, Екатерина Джугашвили. Самая эта мечта: увидеть сына в рясе показывает, кстати, насколько мало была проникнута семья сапожника Безо "пролетарским духом". Лучшее будущее мыслилось не как результат борьбы класса, а как результат разрыва с классом.

Православное духовенство, несмотря на свой достаточно низкий социальный ранг и культурный уровень, принадлежало к числу привилегированных сословий, так как было свободно от воинской повинности, личных податей и ... розги. Только отмена крепостного права открыла крестьянам доступ в ряды духовенства, обусловив, однако, эту привилегию полицейским ограничением: для назначения на церковную должность сыну крестьянина требовалось особое разрешение губернатора.

Будущие священники воспитывались в нескольких десятках семинарий, подготовительной ступенью к которым служили духовные училища. По своему месту в государственной системе образования семинарии приравнивались к средним учебным заведениям, с той разницей, что светские науки призваны были служить в них лишь скромной опорой богословию. В старой России знаменитые бурсы славились ужасающей дикостью нравов, средневековой педагогикой и кулачным правом, не говоря уже о грязи, холоде и голоде. Все пороки, осуждаемые священным писанием, процветали в этих рассадниках благочестия. Писатель Помяловский навсегда вошел в русскую литературу как правдивый и жестокий автор "Очерков бурсы" (1862 г.). Нельзя не привести здесь слов, которые биограф говорит о самом Помяловском: "Этот период ученической жизни выработал в нем недоверчивость, скрытность, озлобление и ненависть к окружающей среде". Реформы царствования Александра Второго внесли, правда, известные улучшения даже в наиболее затхлую область церковного образования. Тем не менее и в конце прошлого века духовные училища, особенно в далеком Закавказье, оставались наиболее мрачными пятнами на "культурной" карте России.

Царское правительство давно и не без крови сломило независимость грузинской церкви, подчинив ее петербургскому Синоду. Однако в низах грузинского духовенства сохранялась вражда к русификаторам. Порабощение церкви потрясло традиционную религиозность грузин и подготовило почву для влияния социал-демократии не только в городе, но и в деревне. Тем более спертая атмосфера царила в духовных школах, которые должны были не только русифицировать своих воспитанников, но и подготовить их к роли церковной полиции душ. Отношения между учителями и учениками были проникнуты острым духом враждебности. Занятия велись на русском языке, грузинский преподавался всего два раза в неделю и нередко третировался как язык низшей расы.

В 1890 году, очевидно вскоре после смерти отца, одиннадцатилетний Сосо вступил в духовное училище с ситцевой сумкой под мышкой. По словам товарищей, мальчик проявлял большое рвение в изучении катехизиса и молитв. Гогохия отмечает, что благодаря своей исключительной памяти, Сосо запо-

минал уроки со слов учителя и не нуждался в повторении. На самом деле память Сталина, по крайней мере теоретически, весьма посредственна. Но все равно: чтоб запоминать в классе, нужно было отличаться исключительным вниманием. В тот период священический сан был, очевидно, венцом честолюбия для самого Сосо. Воля подстегивала способности и память. Другой товарищ по школе, Капанадзе, свидетельствует, что за 13 лет ученичества и за дальнейшие 35 лет учительской деятельности ему ни разу "не приходилось встречать такого одаренного и способного ученика", как Иосиф Джугашвили. Воспоминания Капанадзе вообще страдают избытком усердия. Но и Иремашвили, писавший свою книжку не в Тифлисе, а в Берлине, утверждает, что Сосо был лучшим учеником в духовном училище. В других показаниях есть, однако, существенные оттенки. "В первые годы, в приготовительных отделениях, — рассказывает Глурджидзе, — Иосиф учился отлично, и дальше все ярче раскрывались его способности, — он стал одним из первых учеников". В статье, которая имеет характер заказанного сверху панегирика, осторожная формула: "один из первых" слишком ясно показывает, что Иосиф не был первым, не выделялся из класса, не был учеником из ряда вон. Такой же характер носят воспоминания другого школьного товарища, Елисабедашвили: "Иосиф, — говорит он, — был одним из самых бедных и самых способных". Значит, не самый способный. Остается предположить, что в разных классах дело обстояло неодинаково или что некоторые авторы воспоминаний, принадлежа к арьергарду науки, плохо различали первых учеников.

Не уточняя того места, какое занимал в классе Иосиф, Гогохия утверждает, что по своему развитию и занятиям он стоял "намного выше своих школьных товарищей". Сосо перечитал все, что было в школьной библиотеке — произведения грузинских и русских классиков, разумеется, тщательно просеянные начальством. На выпускных экзаменах Иосиф был награжден похвальным листом, "что для того времени являлось событием из ряда вон выходящим, потому что отец его был не духовного звания и занимался сапожным ремеслом". Поистине замечательный штрих!

В общем, написанные в Тифлисе воспоминания о "юных годах вождя" малосодержательны. "Сосо втягивал нас в хор и

своим звонким, приятным голосом запевал любимые народные песни". При игре в мяч "Иосиф умел подбирать лучших игроков, и наша группа поэтому всегда выигрывала". "Иосиф научился отлично рисовать". Ни одно из этих качеств, видимо, не получило в дальнешем развития: Иосиф не стал ни певцом, ни спортсменом, ни рисовальщиком. Еще менее убедительно звучат такие отзывы: "Иосиф Джугашвили отличался большой скромностью и был хорошим, чутким товарищем". "Он никогда не давал чувствовать свое превосходство" и так далее. Если все это верно, то пришлось бы заключить, что с годами Иосиф превратился в свою противоположность.

Воспоминания Иремашвили несравненно живее и ближе к правде. Он рисует своего тезку долговязым, жилистым, веснущатым мальчиком, исключительно по настойчивости, замкнутости и властолюбию умевшим добиваться поставленной цели, шло ли дело о командовании над товарищами, о метании камней или о карабкании по скалам. Сосо отличался горячей любовью к природе, но не чувствовал привязанности к ее живым существам. Сострадание к людям или животным было ему чуждо: "Я никогда не видел его плачущим". "Для радостей или горестей товарищей Сосо знал только саркастическую усмешку". Все это, может быть, слегка отшлифовалось в памяти, как камень в потоке, но это не выдумано.

Иремашвили впадает, однако, в несомненую ошибку, когда приписывает Иосифу мятежное поведение уже в горийской школе. В качестве вожака ученических протестов, в частности, кошачьего концерта против "ненавистного инспектора Бутырского", Сосо подвергался будто бы чуть ни ежедневным наказаниям. Между тем, авторы официальных воспоминаний на этот раз явно без предвзятой цели рисуют Иосифа за эти годы примерным учеником также и по поведению. "Обычно он был серьезен, настойчив,— пишет Гогохия, — не любил шалостей и озорства. После занятий спешил домой, и всегда его видели за книгой". По словам Гогохия, Иосиф получал от школы ежемесячную стипендию, что было бы совершенно невозможно при недостатке с его стороны почтительности по отношению к наставникам и, прежде всего, к "ненавистному инспектору Бутырскому". Начало неблагонадежных настроений Иосифа все другие авторы относят ко времени тифлисской семинарии. Но и в этом случае никто

ничего не говорит об его участии в бурных протестах. Объяснение сдвигов памяти Иремашвили, как и некоторых других, в отношении места и срока отдельных происшествий кроется, очевидно, в том, что тифлисская семинария явилась для всех участников прямым продолжением духовного училища. Труднее объяснить тот факт, что о кошачьем концерте под руководством Иосифа не упоминает никто, кроме Иремашвили. Простая аберрация памяти? Или же Иосиф играл в некоторых "концертах" закулисную роль, о которой знали лишь единицы? Это отнюдь не противоречило бы характеру будущего конспиратора.

Неясным остается момент разрыва Иосифа с верованиями отцов. По словам того же Иремашвили, Сосо вместе с двумя другими школьниками охотно пел в деревенской церкви во время летних каникул, хотя религия являлась для него пройденным этапом уже и тогда, е. в стараших классах школы. Глурджидзе вспоминает, в свою очередь, как тринадцатилетний Иосиф сказал ему однажды: "Знаешь, нас обманывают, бога не существует..." В ответ на изумленный возглас собеседника Иосиф порекомендовал ему прочесть книгу, из которой видно, что "разговоры о боге – пустая болтовня". "Какая это книга?" "Дарвин. Обязательно прочти". Ссылка на Дарвина придает эпизоду малоправдоподобный оттенок. Вряд ли тринадцатилетний мальчик мог в захолустном городке прочитать Дарвина и сделать из него атеистические выводы. По собственным словам Сталина, он встал на путь революционных идей в пятнадцать лет, следовательно, уже в Тифлисе. Правда, с религией он мог порвать раньше. Но возможно и то, что Глурджидзе, также сменивший духовное училище на семинарию, слишком приближает сроки. Отказаться от бога, именем которого совершались издевательства над школьниками, было, вероятно, совсем не трудно. Во всяком случае, необходимое для этого внутреннее усилие щедро вознаграждалось тем результатом, что у наставников и вообще у властей сразу вырывалась нравственная почва под ногами. Отныне они могли творить насилия только потому, что были сильнее. Отсюда выразительная формула Сосо: "нас обманывают", очень ярко освещающая его внутренний мир, независимо от того, где и когда происходила беседа: в Гори или, годом-двумя позже, в Тифлисе.

Для определения времени вступления Иосифа в семинарию мы в разных официальных изданиях имеем на выбор три даты: 1892, 1893 и 1894. Сколько времени оставался он в семинарии? Шесть лет, отвечает "Календарь коммуниста". Пять, говорит биографический очерк, написанный секретарем Сталина. Четыре года, утверждает его бывший школьный товарищ Гогохия. На мемориальной доске, укрепленной на здании бывшей семинарии, сказано, как можно различить на фотоснимке, что "великий Сталин" учился в этих стенах с 1-го сентября 1894 года по 29-е июля 1899 года, следовательно, пять лет. Может быть, официальные биографы избегают этой последней даты потому, что она рисует семинариста Джугашвили слишком великовозрастным? Во всяком случае, мы предпочитаем держаться мемориальной доски, ибо даты ее основаны, по всей вероятности, на документах самой семинарии.

С похвальным листом горийского училища в своей сумке, пятнадцатилетний Иосиф впервые очутился осенью 1894 года в большом городе, который не мог не поразить его воображение: это был Тифлис, бывшая столица грузинских царей. Не будет преувеличением сказать, что полуазиатский, полуевропейский город наложил свою печать на молодого Иосифа на всю жизнь. В течение своей почти 1500-летней истории Тифлис многократно попадал во власть врагов, 15 раз разрушался, иногда до основания. Вторгавшиеся сюда арабы, турки и персы оказали на архитектуру и нравы города глубокое влияние, следы которого сохранились и по сей день. Европейские кварталы выросли после присоединения Грузии к России, когда бывшая столица стала губернским городом и административным центром Кавказского края. Ко времени вступления Иосифа в семинарию Тифлис насчитывал свыше 150 000 жителей. Русские, составлявшие четверть этого числа, состояли, с одной стороны, из ссыльных сектантов, довольно многочисленных в Закавказье, с другой — из чиновников и военных. Армяне представляли с давних времен наиболее многочисленное (38%) и зажиточное ядро населения, сосредоточивая в своих руках торговлю и промышленность. Связанные с деревней грузины заполняли низший слой ремесленников и торговцев, мелких чиновников и офицеров, составляя, как и русские, примерно четверную часть населения. "Рядом с улицами, имеющими современный европейский характер... — гласит опи-

сание 1901 года, — ютится лабиринт узких, кривых и грязных, чисто азиатских закоулков, площадок и базаров, окаймленных открытыми восточного типа лавочками, мастерскими, кофейнями, цирюльнями и переполненных шумной толпой носильщиков, водовозов, разносчиков, всадников, вереницами вьючных мулов и ослов, караванами верблюдов и т.д.''. Отсутствие канализации, недостаток в воде при жарком лете, страшная въедчивая уличная пыль, керосиновое освещение в центре, отсутствие освещения на окраинах — так выглядел административный и культурный центр Кавказа на рубеже двух столетий.

''Нас ввели в четырехэтажный дом, — рассказывает Гогохия, прибывший сюда вместе с Иосифом, — в огромные комнаты общежития, в которых размещалось по двадцать-тридцать человек. Это здание и было тифлисской духовной семинарией''. Благодаря успешному окончанию духовного училища в Гори, Иосиф Джугашвили был принят в семинарию на всем готовом, включая одежду, обувь и учебники, что было бы совершенно невозможно, повторим, если бы он успел проявить себя как бунтовщик. Кто знает, может быть, власти надеялись, что он станет еще украшением грузинской церкви? Как и в подготовительной школе, преподавание велось на русском языке. Большинство преподавателей состояло из русских по национальности и русификаторов по должности. Грузины допускались в учителя только в том случае, если проявляли двойное усердие. Ректором состоял русский, монах Гермоген, инспектором — грузин, монах Абашидзе, самая грозная и ненавистная фигура в семинарии. ''Жизнь в школе была печальна и монотонна, — рассказывает Иремашвили, который и о семинарии дал сведения раньше и полнее других,— запертые день и ночь в казарменных стенах, мы чувствовали себя как арестанты, которые должны без вины провести здесь годы. Настроение было подавленное и замкнутое. Молодая веселость, заглушенная отрезавшими нас от мира помещениями и коридорами, почти не проявлялась. Если, время от времени, юношеский темперамент прорывался наружу, то он тут же подавлялся монахами и наблюдателями. Царский надзор над школами воспрещал нам чтение грузинской литературы и газет... Они боялись нашего воодушевления идеями свободы и независимости нашей родины и заражения наших молодых душ новыми учениями социализма. А то, что светская

власть еще разрешала по части литературных произведений, запрещала нам, как будущим священникам, церковная власть. Произведения Толстого, Достоевского, Тургенева и многих других оставались нам недоступны".

Дни в семинарии проходили, как в тюрьме или в казарме. Школьная жизнь начиналась с семи часов утра. Молитва, чаепитие, классы. Снова молитва. Занятия с перерывами до двух часов дня. Молитва. Обед. Плохая и необильная пища. Покидать стены семинарской тюрьмы разрешалось только между тремя и пятью часами. Затем ворота запирались. Перекличка. В восемь часов чай. Подготовка уроков. В десять часов — после новой молитвы — все расходились по койкам. "Мы чувствовали себя как бы в каменном мешке", — подтверждает Гогохия.

Во время воскресных и праздничных богослужений воспитанники простаивали по три-четыре часа, всегда на той же каменной плите церковного пола, переступая с одной омертвевшей ноги на другую, под неотступно наблюдавшими их взорами монахов. "Даже и самый набожный должен был при бесконечной длительности служб разучиться молиться. Под благочестивыми минами мы прятали от дежурных монахов наши мысли".

Дух благочестия шел как всегда об руку с духом полицейщины. Инспектор Абашидзе глазами вражды и подозрения следил за пансионерами, за их образом мыслей и времяпрепровождением. Когда воспитанники возвращались из столовой в свои дортуары, они не раз находили свежие следы произведенного в их отсутствие обыска. Нередко руки монахов обшаривали и самих семинаристов. Меры взыскания выражались в грубых выговорах, темном карцере, который редко пустовал, в двойках по поведению, грозивших крушением надежд, и, наконец, в изгнании из святилища. Слабые физически покидали семинарию для кладбища. Кремнист и труден путь спасения!

В приемах семинарской педагогики было все, что иезуиты выдумали для укрощения детских душ, но в более примитивном, более грубом и потому менее действительном виде. А главное — обстановка в стране мало благоприятствовала духу смирения. Почти во всех шестидесяти семинариях России обнаруживались семинаристы, которые, чаще всего под влиянием студентов, сбрасывали рясу священника прежде, чем успевали надеть ее, проникались презрением к богословской схола-

стике, читали тенденциозные романы, радикальную русскую публицистику и популярные изложения Дарвина и Маркса. В тифлисской семинарии революционное брожение, питавшееся из национальных и общеполитических источников, имело за собой уже некоторую традицию. Оно прорывалось в прошлом острыми конфликтами с учителями, открытыми возмущениями, даже убийством ректора. За десять лет до вступления Сталина в семинарию Сильвестр Джибладзе ударил преподавателя за пренебрежительный отзыв о грузинском языке. Этот Джибладзе стал затем инициатором социал-демократического движения на Кавказе и одним из учителей Иосифа Джугашвили.

В 1885 году возникают в Тифлисе первые социалистические кружки, в которых выходцы из семинарии сразу занимают руководящее место. Рядом с Сильвестром Джибладзе мы встречаем здесь Ноя Жордания, будущего вождя грузинских меньшевиков, Николая Чхеидзе, будущего депутата Думы, председателя Петроградского Совета в месяцы Февральской революции 1917 года , и ряд других, которым предстояло в дальнейшем играть заметную роль в политической жизни Кавказа и даже всего государства. Марксизм проходил в России еще свою интеллигентскую стадию. Тот факт, что духовная семинария стала на Кавказе главным очагом марксистской заразы, объясняется прежде всего отсутствием в Тифлисе университета. В отсталой, непромышленной области, как Грузия, марксизм воспринимался в особенно абстрактной, чтобы не сказать схоластической, форме. Мозги семинаристов обладали известной дрессировкой, которая позволяла им, худо ли, хорошо ли, овладевать логическими построениями. В основе поворота к марксизму лежало, конечно, глубокое социальное и национальное недовольство народа, заставлявшее молодую богему искать выхода на революционном пути.

Иосифу совсем не приходилось, таким образом, прокладывать в Тифлисе новые пути, как пытаются изобразить советские плутархи. Пощечина, которую нанес Джибладзе, продолжала еще звучать в стенах семинарии. Бывшие семинаристы уже руководили в городе левым флангом общественного мнения и не теряли связей со своей мачехой-школой. Достаточно было бы случая, личной встречи, толчка — и недовольный, ожесточенный, честолюбивый юноша, которому нужна была только

формула, чтоб найти самого себя, естественно оказался в революционной колее. Первым этапом на этом пути должен был стать разрыв с религией. Если допустить, что из Гори мальчик привез еще остатки сомнений, то они сразу рассеялись в семинарии. Отныне Иосиф радикально утратил вкус к богословию.

"Его честолюбие, — пишет Иремашвили, — достигло в семинарии того, что он в своих успехах далеко опережал нас всех". Если это верно, то лишь для очень короткого периода. Глурджидзе отмечает, что из наук семинарского курса "Иосиф любил гражданскую историю и логику", другими же предметами занимался лишь настолько, чтоб сдать экзамены. Охладев к священному писанию, он стал интересоваться светской литературой, естествознанием, социальными вопросами. На помощь ему пришли ученики старших классов. "Узнав о способном и любознательном Иосифе Джугашвили, они стали беседовать с ним и снабжать его журналами и книгами", — рассказывает Гогохия. "Книга была неразлучным другом Иосифа, и он с ней не расставался даже во время еды", — свидетельствует Глурджидзе. Жадность к чтению вообще составляла отличительную черту тех годов весеннего пробуждения. После последнего контроля, когда монахи тушили лампы, молодые заговорщики вынимали припрятанные свечи и при их мерцающем пламени погружались в чтение. Иосиф, проведший за книгами немало бессонных ночей, стал выглядеть невыспавшимся и больным. "Когда он начал кашлять, — рассказывает Иремашвили, — я не однажды отбирал у него ночью книгу и тушил свечу". Глурджидзе вспоминает, как семинаристы крадучись глотали Толстого, Достоевского, Шекспира, Шиллера, "Историю культуры" Липперта, русского радикального публициста Писарева... "Иногда мы читали в церкви во время службы, притаившись в рядах".

Наиболее сильное впечатление на Сосо производили тогда произведения национальной грузинской литературы. Иремашвили рисует первые взрывы революционного темперамента, в котором свежий еще идеализм сочетался с острым пробуждением честолюбия. "Сосо и я, — вспоминает Иремашвили, — часто беседовали о трагической судьбе Грузии. Мы были в восторге от произведений поэта Шота Руставели". Образцом для Сосо стал Коба, герой романа грузинского автора Казбеги "Нуну". В борьбе против властей угнетенные горцы терпят, вследствие измены,

поражение и теряют последние остатки свободы, в то время как вождь восстания жертвует родиной и своей женой Нуну, всем, даже жизнью. Отныне Коба "стал для Сосо божеством... Он сам хотел стать вторым "Кобой", борцом и героем, знаменитым, как этот последний". Иосиф назвал себя именем вождя горцев и не терпел, чтоб его звали иначе. "Лицо его сияло от гордости и радости, когда мы именовали его Кобой. На долгие годы Сосо сохранил это имя, которое стало также его первым псевдонимом, когда он начал заниматься литературной и пропагандистской работой для партии. Еще и теперь его всегда называют в Грузии "Коба" или "Коба-Сталин".

Об увлечении молодого Иосифа национальной проблемой Грузии официальные биографы не упоминают вовсе. Сталин появляется у них сразу как законченный марксист. Между тем, нетрудно понять, что в наивном "марксизме" того первого периода туманные идеи социализма еще мирно уживались с национальной романтикой "Кобы".

За год Иосиф, по словам Гогохия, настолько развился и вырос, что уже со второго класса стал руководить группой товарищей по семинарии. Если верить Берия, самому официальному из историков, то "Сталин в 1896– 1897 гг. в Тифлисской духовной семинарии руководил двумя марксистскими кружками". Самим Сталиным никто никогда не руководил. Гораздо жизненнее рассказ Иремашвили. Десять семинаристов, в том числе Сосо Джугашвили, образовали, по его словам, тайный социалистический кружок. "Старший воспитанник, Девдарияни, избранный руководителем, отнесся к своей задаче очень серьезно". Он выработал, вернее получил от своих руководителей за стенами семинарии, программу, следуя которой члены кружка должны были в шесть лет воспитать из себя законченных социал-демократических вождей. Программа начиналась с космогонии и заканчивалась коммунистическим обществом. На тайных собраниях кружка читались рефераты, сопровождавшиеся горячим обменом мнений. Дело не ограничивалось, по уверению Гогохия, устной пропагандой. Иосиф "создал и редактировал" на грузинском языке рукописный журнал, который выходил два раза в месяц и передавался из рук в руки. Недремлющий инспектор Абашидзе обнаружил однажды у Иосифа "тетрадь со статьей для нашего рукописного журнала". Подобные издания, независимо

от содержания, строго воспрещались не только в духовных, но и в светских учебных заведениях. Так как результатом находки Абашидзе явилось только "предупреждение" и плохая отметка по поведению, то можно сделать вывод, что журнал был все же достаточно невинного характера. Отметим, что столь обстоятельный Иремашвили вообще ничего не говорит о журнале.

Еще острее, чем в подготовительном училище, должен был Иосиф ощущать в семинарии свою бедность. "...Денег у него не было, — упоминает вскользь Гогохия, — мы же получали от родителей посылки и деньги на мелкие расходы". За те два часа, которые дозволялось провести вне стен школы, Иосиф не мог позволить себе ничего из того, что было доступно сыновьям более привилегированных семей. Тем необузданнее были его мечты и планы на будущее, тем резче сказывались основные инстинкты его натуры в отношении к товарищам по школе.

"Как мальчик и юноша, — свидетельствует Иремашвили, — он был хорошим другом для тех, кто подчинялся его властной воле". Но только для тех. Деспотичность проявлялась с тем большей свободой в кругу товарищей, чем больше приходилось сдерживать себя пред лицом наставников. Тайный кружок, отгороженный от всего мира, стал естественной ареной, на которой Иосиф испытывал свою силу и выносливость других. "Он ощущал это, как нечто противоестественное, — пишет Иремашвили, — что другой соученик был вождем и организатором группы... тогда как он читал большую часть рефератов". Кто осмеливался возражать ему или хотя бы пытался объяснить ему что-либо, тот неминуемо накликал на себя его "беспощадную вражду". Иосиф умел преследовать и мстить. Он умел ударить по больному месту. При таких условиях первоначальная солидарность кружка не могла продержаться долго. В борьбе за свое господство Коба, "со своим высокомерием и ядовитым цинизмом, внес личную склоку в общетсво друзей". Эти жалобы на "ядовитый цинизм", на грубость и мстительность мы услышим затем на жизненном пути Кобы много-много раз.

В довольно фантастической биографии, написанной Эссад-Беем, рассказывается, будто до семинари молодой Иосиф вел бродячую жизнь в Тифлисе в обществе "кинто", героев улицы, говорунов, певцов и хулиганов, и перенял от них грубые ухватки и виртуозные ругательства. Все это совершенно очевидное

измышление. Из духовного училища Иосиф поступил непосредственно в семинарию, так что для бродячей жизни не оставалось промежутка. Но дело в том, что кличка "кинто" занимает не последнее место в кавказском словаре. Она означает ловкого плута, циника, человека, способного на многое, если не на все. Осенью 1923 года я впервые услышал это определение по адресу Сталина из уст старого грузинского большевика, Филиппа Махарадзе. Может быть, эта кличка прилипла к Иосифу уже в юные годы и породила легенду об уличной главе его жизни?

Тот же биограф говорит о "тяжелом кулаке", при помощи которого Иосиф Джугашвили обеспечивал будто бы свое торжество в тех случаях, когда мирные меры оказывались недействительными. И этому трудно поверить. Рискованное "прямое действие" не было в характере Сталина, по всей вероятности, и в те отдаленные годы. Для работы кулаком он предпочитал и умел находить исполнителей, оставаясь сам на втором плане, если не вовсе за кулисами. "Что ему доставляло сторонников, — говорит Иремашвили, — это страх перед его грубым гневом и его злобным издевательством. Его сторонники отдавались его руководству, потому что чувствовали себя надежно под его властью... Только такие человеческие типы, которые были достаточно бедны духовно и склонны к драке, могли стать его друзьями..." Неизбежные результаты не заставили себя ждать. Одни из членов кружка отошли, другие все меньше принимали участие в прениях. "Две группировки *за* и *против* Кобы сложились в течение нескольких лет; из деловой борьбы выросла отвратительная личная склока". Это была первая большая "склока" на жизненном пути Иосифа, но не последняя. Их еще много предстоит впереди.

Нельзя не рассказать здесь, далеко забегая вперед, как Сталин, тогда уже генеральный секретарь, нарисовав на одном из заседаний Центрального Комитета удручающую картину личных интриг и склок, развивающихся в разных местных комитетах партии, совершенно неожиданно прибавил: "Но эти склоки имеют и свою положительную сторону, так как ведут к монолитности руководства". Слушатели удивленно переглянулись, оратор безмятежно продолжал свой доклад. Суть этой "монолитности" уже и в юные годы не всегда отождествлялась с идеей. "Дело для него, — говорит Иремашвили, — шло совсем не о нахождении и установлении истины; он оспаривал или защищал то, что

прежде утверждал или осуждал. Победа и торжество имели для него гораздо большую цену".

Содержание тогдашних взглядов Иосифа установить невозможно, так как они не оставили письменных следов. По словам Иремашвили, его тезка стоял за самые насильственные действия и за "диктатуру меньшинства". Участие тенденциозного воображения в работе памяти здесь совершенно очевидно: в конце прошлого века самый вопрос о "диктатуре" еще не существовал. Крайние политические взгляды Кобы не сложились, продолжает Иремашвили, в результате "объективного изучения", а явились "естественным продуктом его личной воли к власти, физически и духовно владевшего им беспощадного честолюбия". За несомненным пристрастием в суждениях бывшего меньшевика нужно уметь найти ядро истины: в духовной жизни Сталина личная практическая цель всегда стояла над теоретической истиной, и воля играла неизмеримо большую роль, чем интеллект.

Иремашвили делает еще одно психологическое замечание, которое, если и заключает в себе элемент ретроспективной оценки, остается все же крайне метким: Иосиф "видел всюду и во всем только отрицательную, дурную сторону и не верил вообще в какие бы то ни было идеальные побуждения или качества людей". Эта важнейшая черта, успевшая обнаружиться уже в молодые годы, когда весь мир еще остается обычно покрыт пленкой идеализма, пройдет в дальнейшем через всю жизнь Иосифа как ее лейтмотив. Именно поэтому Сталин, несмотря на другие выдающиеся черты характера, будет оставаться на заднем плане в периоды исторического подъема, когда в массах пробуждаются их лучшие качества бескорыстия и героизма, и, наоборот, его циническое неверие в людей и способность играть на худших струнах, найдет для себя простор в эпоху реакции, которая кристализует эгоизм и вероломство.

Иосиф Джугашвили не только не стал священником, как мечтала его мать, но и не дотянул до аттестата, который мог бы открыть ему двери некоторых провинциальных университетов. Почему так случилось, на этот счет имеется несколько версий, которые не легко согласовать. В воспоминаниях, написанных в 1929 году, Абель Енукидзе рассказывает, что Иосиф в семина-

рии начал тайно читать книги вредного направления, что это учение не ускользнуло от бдительных глаз инспектора и что опасный воспитанник "вылетел из семинарии". Официальный кавказский историк Берия сообщает, что Сталин был "исключен за неблагонадежность". Невероятного в этом, разумеется, нет ничего; подобные исключения были нередки. Странным кажется лишь, что до сих пор не опубликованы соответственные документы семинарии. Что они не сгорели и не затерялись в водовороте революционных годов, видно хотя бы из уже упомянутой мемориальной доски и еще больше — из полного умолчания об их судьбе. Не потому ли документы не публикуются, что они заключают неблагоприятные данные или опровергают кое-какие легенды позднейшего происхождения?

Чаще всего можно встретить утверждение, что Джугашвили был исключен за руководство социал-демократическими кружками. Его бывший товарищ по семинарии, Елисабедашвили, малонадежный свидетель, сообщает, будто в социал-демократических кружках, организованных "по указанию и под руководством Сталина", насчитывалось "сто-сто двадцать пять" семинаристов. Если бы речь шла о 1905—06 годах, когда все воды вышли из берегов и все власти растерялись, этому можно было бы еще поверить. Но для 1899 года цифра является совершенно фантастической. При такой численности организации дело не могло бы ограничиться простым исключением: вмешательство жандармов было бы совершенно неизбежным. Между тем Иосиф не только не был немедленно арестован, но оставался на свободе еще около трех лет после ухода из семинарии. Версию о социал-демократических кружках, как причине исключения, приходится поэтому решительно отвергнуть.

Осторожнее излагает этот вопрос уже знакомый нам Гогохия, у которого вообще заметно стремление не слишком отрываться от почвы фактов. "Иосиф перестал уделять внимание урокам, — пишет он, — учился на тройки — лишь бы сдать экзамены... Свирепый монах Абашидзе догадывался, почему талантливый, развитой, обладавший невероятно богатой памятью Джугашвили учится "на тройки"... и добился постановления об исключении его из семинарии". О чем "догадывался" монах, возможны, в свою очередь, только догадки. Из слов Гогохия с несомненностью вытекает лишь то, что Иосиф был исключен из

семинарии за неуспешность, которая явилась результатом его внутреннего разрыва с богословской премудростью. Тот же вывод можно сделать и из рассказа Капанадзе о "переломе", который произошел в Иосифе во время учения в тифлисской семинарии: "Он был уже не таким, как раньше, прилежным учеником". Достойно внимания, что Капанадзе, Глурджидзе и Елисабедашвили совершенно обходят вопрос об исключении Иосифа из семинарии.

Но поразительнее всего то обстоятельство, что мать Сталина в последний период своей жизни, когда ею стали интересоваться официальные историки и журналисты, категорически отрицала самый факт исключения. При вступлении в семинарию пятнадцатилетний мальчик отличался, по ее словам, цветущим здоровьем, но усиленные занятия истощили его в такой мере, что врачи опасались туберкулеза. Екатерина прибавляет, что сын ее не хотел покидать семинарию и что она "взяла" его против его воли. Это звучит маловероятно. Плохое здоровье могло вызвать временный перерыв в занятиях, но не полный разрыв со школой, не отказ матери от столь заманчивой карьеры для сына. С другой стороны, в 1899 году Иосифу было уже двадцать лет, он не отличался податливостью, и вряд ли матери было так легко распоряжаться его судьбой. Наконец, по выходе из семинарии Иосиф вовсе не вернулся в Гори, под крыло матери, что было бы наиболее естественно в случае болезни, а остался в Тифлисе без занятия и без средств. Старуха Кеке чего-то не договорила журналистам. Можно предположить, что мать считала, в свое время, исключение сына великим для себя позором, и так как дело происходило в Тифлисе, то она заверяла соседей в Гори, что сын не исключен, а добровольно покинул семинарию по состоянию здоровья. Старухе должно было к тому же казаться, что "вождю" государства не приличествовало быть исключенным в юности из школы. Вряд ли можно искать каких-либо других, более скрытых причин той настойчивости, с которой Кеке повторяла: "Он не был исключен, я его сама взяла".

Но может быть, Иосиф действительно не подвергся исключению в точном смысле этого слова. Такую версию, пожалуй наиболее вероятную, дает Иремашвили. По его словам, семинарские власти, разочаровавшиеся в своих ожиданиях, стали относиться к Иосифу все с большей неблагожелательностью и при-

дирчивостью. "Так вышло, что Коба, который убедился в бесплодности для него усердных занятий, постепенно стал худшим учеником в семинарии. На укоризненные замечания учителей он отвечал своей ядовитой презрительной усмешкой". Свидетельство, которое школьные власти выставили ему для перехода в шестой и последний класс, было так плохо, что Коба сам решил покинуть семинарию за год до ее окончания. Если принять это объяснение, то сразу становится понятным, почему Енукидзе пишет "вылетел из семинарии", избегая более точных определений: "был исключен" или "покинул семинарию"; почему большинство товарищей по школе вообще умалчивает о столь значительном моменте семинарской жизни Иосифа; почему не публикуются документы; почему, наконец, мать считала себя вправе утверждать, что сын ее не был исключен, хотя сама она давала эпизоду иную окраску, перелагая ответственность за сына на себя. С точки зрения личной характеристики Сталина или его политической биографии вряд ли подробности разрыва с семинарией имеют большое значение. Но зато они недурно иллюстрируют те трудности, которые тоталитарная историография ставит на пути исследования даже в столь второстепенном вопросе.

Иосиф вступил в подготовительное училище одиннадцати лет, в 1890 году, перешел через четыре года в семинарию и покинул ее в 1899 году, всего пробыв, таким образом, в духовных школах девять лет. Грузины созревают рано. Иосиф вышел из семинарии взрослым человеком, " без диплома, — пишет Гогохия, — но с определенными взглядами на жизнь". Девятилетний период богословской учебы не мог не наложить глубокий отпечаток на его характер, на склад его мыслей, начиная с его стиля, который составляет существенную часть личности.

Языком семьи и окружающей среды был грузинский. Мать и в старости не знала русского языка. Вряд ли иначе обстояло дело с отцом. Мальчик учился русской речи только в школе, где большинство учащихся составляли опять-таки грузины. Духа русского языка, его свободной природы, его внутреннего ритма Иосиф так и не усвоил. Но это только одна сторона дела. Чужому языку, который призван был заменить ему родной, Иосиф учился в искусственной атмосфере духовной школы. Обороты русской речи он ощущал не как естественный и неотъемлемый духовный орган для выражения собственных чувств и

мыслей, а как искусственное и внешнее орудие для передачи чуждой, а затем и ненавистной ему мистики. В последующей жизни он оказался тем менее способен ассимилировать и, так сказать, интимизировать язык, уточнить и облагородить его, что человеческая речь вообще призвана была служить ему гораздо больше для того, чтобы скрывать или прикрашивать свои мысли и чувства, чем для того, чтобы выражать их. В результате русский язык навсегда остался для него не только полуиностранным и приблизительным, но, что гораздо хуже для сознания, условным и натянутым.

Можно без труда понять, что с того времени, как Иосиф внутренне порвал с религией, ему стало нестерпимо изучать гомилетику и литургику. Гораздо труднее понять то обстоятельство, что ему в течение столь долгого времени удавалось вести двойственное существование. Если исходить из рассказа о том, что Сосо уже в 13 лет противопоставлял Дарвина библии, тогда придется сделать вывод, что он после этого еще в течение семи лет терпеливо изучал богословие, хотя и с убывающим рвением. Сам Сталин относит зарождение своего революционного миросозерцания к пятнадцатому-шестнадцатому году жизни. Вполне возможно, что он на два-три года раньше отвернулся от религии, чем повернулся к социализму. Но если даже допустить, что то и другое произошло одновременно, окажется, что молодой атеист в течение целых пяти лет продолжал изучать тайны православия.

Правда, в царских учебных заведениях многим свободомыслящим юношам проходилось вести двойственную жизнь. Но это относится главным образом к университетам, где режим отличался все же значительной свободой и где официальное лицемерие сводилось к малообременительному ритуальному минимуму. В средних школах разлад переживался труднее, но зато он длился обыкновенно недолго — год-два, когда юноша видел уже вблизи двери университета с его относительной академической свободой. Положение молодого Джугашвили имело исключительный характер: он учился не в светском учебном заведении, где воспитанники находились под надзором только часть дня и где так называемый "закон божий" составлял фактически один из второстепенных предметов, а в закрытом учебном заведении, где вся жизнь была подчинена требованиям церкви и где каждый шаг совершался на глазах монахов. Чтоб выдержать этот режим

двойственности в течение семи или хотя бы пяти лет, нужна была исключительная осторожность и совершенно незаурядная способность к притворству. За годы пребывания в семинарии никто не отмечает с его стороны какого-либо открытого протеста, смелого акта возмущения. Иосиф издевался над учителями за спиной, но не дерзил им в глаза. Он не наносил пощечин педагогам-шовинистам, как некогда Джибладзе; самое большое, он отвечал им "презрительной усмешкой". Его враждебность имела сдержанный, подспудный, выжидательный характер. Семинаристу Помяловскому период ученической жизни привил, как мы слышали, "недоверчивость, скрытность, озлобление и ненависть к окружающей среде". Почти то же, но гораздо резче говорит Иремашвили о Кобе: "В 1899 году он покинул семинарию, унося с собой злобную, лютую вражду против школьного управления, против буржуазии, против всего, что существовало в стране и воплощало царизм. Ненависть против всякой власти.

"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР"

В 1883 году, когда Сосо шел четвертый год, нефтяная столица Кавказа, Баку, была соединена рельсами с черноморским портом Батумом. Наряду с горным хребтом Кавказ нашел свой железнодорожный хребет. За нефтяной промышленностью стала подниматься марганцевая. В 1896 году, когда Сосо уже начал мечтать об имени Кобы, вспыхнула первая стачка в железнодорожных мастерских Тифлиса.

В отношении развития промышленности, как и идей, Кавказ шел на буксире у центральной России. В течение второй половины девяностых годов марксизм становится господствующей тенденцией в среде радикальной интеллигенции, начиная с Петербурга. Когда Коба еще изнывал в спертой атмосфере семинарского богословия, социал-демократическое движение уже успело принять широкие размеры. Бурная волна стачек прокатывается по всей стране. Первые сотни, затем тысячи интеллигентов и рабочих подвергаются арестам и высылкам. В революционном движении открывается новая глава.

В 1891 году, когда Коба стал членом тифлисского Комитета, в Закавказье числилось около 40 000 промышленных рабочих на девяти тысячах предприятий, не считая ремесленных мастерских. Ничтожное число, если принять во внимание размеры и богатство края, омываемого двумя морями; но опорные пункты социал-демократической пропаганды уже были на лицо. Фонтаны бакинской нефти, первые выемки чиатурского марганца, животворящая работа железной дороги дали толчок не только стачечному движению рабочих, но и теоретической мысли грузинской интеллигенции. Либеральная газета "Квали" констатировала, скорее с удивлением, чем с враждебностью, выступление на политической арене представителей новой формации: "В грузинской литературе появились с 1893 года одиночки из молодых, с необычным направлением и своеобразной програм-

мой; они являются приверженцами теории экономического материализма". В отличие от дворянски-прогрессивного и буржуазно-либерального направления, господствовавших в предшествующие десятилетия, марксисты получили кличку "Месаме-даси", что значит "третья группа". Во главе ее стоял Ной Жордания, будущий лидер кавказских меньшевиков и будущий глава эфемерной демократической Грузии.

Мелкобуржуазная интеллигенция России, стремившаяся вырваться из гнета полицейщины и отсталости, из безличного муравейника, каким было старое общество, вынуждена была, ввиду крайне запоздалого развития страны, перепрыгивать через промежуточные ступени. Протестантизм и демократия, под знаменем которых происходили революции XVII и XVIII веков на Западе, давно успели превратиться в консервативные доктрины. Полунищая кавказская богема никак не могла обольщаться либеральными абстракциями. Ее вражда к господствующим и привилегированным принимала вполне естественную социальную окраску. Для предстоявших ей битв интеллигенции нужна была свежая, еще не скомпрометированная теория. Она нашла ее в западном социализме, в его высшем научном выражении – марксизме. Дело шло теперь уже не о равенстве перед богом и не о равенстве перед законом, а об экономическом равенстве. В действительности же при помощи отдаленной социалистической перспективы интеллигенция страховала свою борьбу против царя от скептицизма, который преждевременно угрожал ей со стороны опыта западной демократии. Этими условиями и обстоятельствами определялся характер тогдашнего русского, тем более кавказского марксизма, очень ограниченного и примитивного, ибо приспособленного к политическим нуждам отсталой провинциальной интеллигенции. Теоретически мало реальный сам по себе, этот марксизм оказывал интеллигенции, однако, вполне реальную услугу, воодушевляя ее на борьбу с царизмом.

Критическим острием своим марксизм 90-х годов был направлен прежде всего против выродившегося народничества, которое суеверно боялось капиталистического развития, надеясь на "особые", привилегированные исторические пути для России. Защита прогрессивной миссии капитализма составляла поэтому главную тему интеллигентского марксизма, отодвигая неред-

ко на задний план проблему классовой борьбы пролетариата. Ной Жордания усердно проповедывал в легальной печати единство интересов "нации": он имел при этом в виду необходимость союза пролетариата и буржуазии против самодержавия. Идея этого союза станет впоследствии краеугольным камнем политики меньшевиков и приведет, в конце концов, к их крушению. Официальные советские историки и сейчас еще треплют на все лады давно опрокинутую ходом борьбы концепцию Жордания, закрывая при этом глаза на то, что через три десятилетия Сталин применит политику меньшевиков не только в Китае, но и в Испании, и даже во Франции, т. е. в таких условиях, где она имеет неизмеримо меньше оправдания, чем в полуфеодальной Грузии, под гнетом царизма.

Идеи Жордания и в те годы не встречали, однако, безраздельного признания. К Месаме-даси примкнул в 1895 году Саша Цулукидзе, ставший одним из наиболее выдающихся пропагандистов левого крыла. Он умер от туберкулеза 29-ти лет в 1905 году, оставив ряд публицистических работ, свидетельствующих о значительной марксистской подготовке и литературном даровании. В 1897 году вступил в ряды Месаме-даси Ладо Кецховели, бывший воспитанник горийского училища и тифлисской семинарии, как и Коба, но на несколько лет старше его и его руководитель на первых шагах революционного пути. Енукидзе вспоминал в 1923 году, когда мемуаристы еще пользовались достаточной свободой, что "Сталин много раз с удивлением подчеркивал выдающиеся способности покойного товарища Кецховели, который в то время умел правильно ставить вопросы в духе революционного марксизма". Это свидетельство, особенно слова об "удивлении", опровергают позднейшие рассказы о том, что руководство уже в тот период принадлежало Кобе и что Цулукидзе и Кецховели были только его "помощниками". Надо еще прибавить, что статьи молодого Цулукидзе и по содержанию, и по форме стояли значительно выше всего того, что двумя-тремя годами позже писал Коба.

Заняв в Месаме-даси место на левом крыле, Кецховели привлек через год молодого Джугашвили. Дело шло собственно не о революционной организации, а о кружке единомышленников, группировавшихся вокруг легальной газеты "Квали" (Борозда), которая в 1896 году перешла из рук либералов в руки молодых

марксистов с Жордания во главе. "Мы по секрету часто навещали редакцию "Квали", — рассказывает Иремашвили. — Коба несколько раз ходил с нами, но затем издевался над членами редакции". Разногласия в тогдашнем марксистском лагере, как ни зачаточны они еще были, имели, однако, вполне реальный характер. Умеренное крыло не верило по-настоящему в революцию, еще менее — в ее близость, рассчитывая на длительный "прогресс", и тяготело к союзу с буржуазным либерализмом. Левое крыло, наоборот, искренне надеялось на революционный подъем масс и потому стояло за более самостоятельную политику. По существу левое крыло состояло из революционных демократов, попадавших в естественную оппозицию к "марксистским" полулибералам. К левому крылу должен был инстинктивно тяготеть Сосо и по личному характеру, и по условиям среды, из которой вышел. Плебейский демократ провинциального типа, вооруженный весьма примитивной "марксистской" доктриной, таким он вошел в революционное движение, и таким он, по-существу, остался до конца, несмотря на фантастическую орбиту его личной судьбы.

Разногласия между двумя еще очень неоформленными группировками временно сосредоточились на вопросе о пропаганде и агитации. Одни стояли за осторожную просветительную работу в кружках; другие — за руководство стачками и за агитацию посредством листков. Когда сторонники массовой работы одержали верх, предметом разногласия стал вопрос о содержании листков. Более осторожные стояли за агитацию на почве исключительно экономических нужд, чтоб "не отпугивать массы"; они получили от своих противников презрительное название "экономистов". Левое крыло, наоборот, считало неотложным переход к революционной агитации против царизма. Такова была за границей, в эмиграции, позиция Плеханова. Такова была в России позиция Владимира Ульянова и его друзей.

"Первые социал-демократические группы возникли в Тифлисе, — рассказывает один из пионеров. — Уже в 1896—97 годах существовали в этом городе кружки, в которых преобладающий элемент составляли рабочие. Эти кружки носили первоначально чисто образовательный характер... Число этих кружков увеличивалось постоянно. В 1900 году их было уже несколько десятков тысяч. Каждый кружок состоял из 10—15 человек". С воз-

растанием численности кружков смелее становилось содержание их деятельности.

Еще будучи семинаристом, Коба вступает в 1898 году в связь с рабочими и примыкает к социал-демократической организиции. "Однажды вечером Коба и я, — вспоминает Иремашвили, — тайно пробрались из семинарии в Мтац-минда, в маленький прислонившийся к скале домик, принадлежавший рабочему тифлисских железных дорог. Вслед за нами скоро прибыли крадучись наши единомышленники из семинарии. С нами собралась еще социал-демократическая рабочая организация железнодорожников". Сам Сталин рассказал об этом в 1926 году на митинге в Тифлисе: "Я вспоминаю 1898 год, когда я впервые получил кружок из рабочих железнодорожных мастерских. Я вспоминаю, как я на квартире у товарища Стуруа в присутствии Сильвестра Джибладзе (он был тогда тоже одним из моих учителей) ... и других передовых рабочих Тифлиса получил уроки практической работы... Здесь, в кругу этих товарищей, я получил тогда первое свое боевое революционное крещение, здесь, в кругу этих товарищей, я стал тогда учеником революции..."

В 1898—1900 годах в железнодорожных мастерских и на ряде фабрик Тифлиса возникают забастовки при активном, иногда руководящем участии молодых социал-демократов. Среди рабочих распространяются прокламации, отпечатанные ручным способом, при помощи сапожной щетки, в подпольной типографии. Движение развертывается еще в духе "экономизма". Часть нелегальной работы ложилась на Кобу; какая именно часть, сейчас определить нелегко. Но он уже успел, видимо, стать своим человеком в мире революционного подполья.

В 1900 году Ленин, едва закончив сибирскую ссылку, отправляется за границу с намерением основать революционную газету, чтоб при ее помощи сплотить разрозненную партию и окончательно перевести ее на рельсы революционной борьбы. Одновременно старый революционер, инженер Виктор Курнатовский, близко посвященный в эти планы, направляется из Сибири в Тифлис. Именно он, а не Коба, как утверждают теперь византийские историки, вывел тифлисскую социал-демократию из "экономической" ограниченности и придал более революционное направление ее работе.

Курнатовский начал революционную деятельность еще в тер-

рористической партии "Народная Воля". Во время своей третьей ссылки, в конце столетия, он, уже в качестве марксиста, тесно сблизился с Лениным и его кружком. Основанная Лениным за границей газета "Искра", сторонники которой стали называться искровцами, имела в лице Курнатовского своего главного представителя на Кавказе. Старые тифлисские рабочие вспоминают: "К Курнатовскому обращались все товарищи во время всяких споров и дискуссий. Его выводы и заключения всегда принимались без возражения". Из этого свидетельства видно, какое значение имел для Кавказа этот неутомимый и несгибаемый революционер, личная судьба которого сочеталась из двух элементов: героического и трагического.

В 1900 году возникает, несомненно по инициативе Курнатовского, тифлисский Комитет социал-демократической партии, состоявший из одних интеллигентов. Коба, видимо подпавший вскоре, как и другие, под влияние Курнатовского, не был еще включен в Комитет, который продержался, впрочем, недолго. С мая по август проходит волна стачек на тифлисских предприятиях; в железнодорожных мастерских в числе стачечников числится слесарь Калинин, будущий председатель Советской республики, и другой русский рабочий, Аллилуев, будущий тесть Сталина.

На севере открылась тем временем полоса уличных выступлений, инициатива которых принадлежала студентам. Крупная первомайская демонстрация в Харькове в 1900 году поднимает на ноги большинство рабочих города и порождает эхо изумления и восторга во всей стране. За Харьковом следуют другие города. "Социал-демократия поняла, — пишет жандармский генерал Спиридович, — огромное агитационное значение выхода на улицу. Отныне она берет инициативу демонстраций на себя, привлекая к ним все больше рабочих. Нередко уличные демонстрации вырастают из стачек". Тифлис отстает ненадолго. Первомайский праздник — не забудем, что в России царит еще старый календарь — ознаменовался 22-го апреля 1901 года уличной демонстрацией в центре города, в которой приняло участие около двух тысяч человек. Во время столкновения с полицией и казаками ранено 14 и арестовано свыше 50 демонстрантов. "Искра" не преминула отметить важное симптоматическое значение тифлисской демонстрации: "С этого дня на Кавказе начинается открытое революционное движение".

Курнатовский, руководивший подготовительной работой, был арестован в ночь на 22 марта, за месяц до демонстрации. В эту же ночь был произведен обыск в обсерватории, где работал Коба; но его не удалось захватить, так как он отсутствовал. Жандармское управление постановило "привлечь названного Иосифа Джугашвили и допросить обвиняемым". Так Коба перешел на "нелегальное положение" и надолго стал "профессиональным революционером". Ему было в это время 22 года. До победы оставалось еще 16 лет.

Избегнув ареста, Коба в ближайшие недели скрывался в Тифлисе, так что ему удалось принять участие в первомайской манифестации. Берия говорит об этом категорически, прибавляя, как всегда, что Сталин "лично руководил" ею. К сожалению, доверять Берия нельзя. Однако мы имеем на этот счет и показания Иремашвили, правда, находившегося не в Тифлисе, а в Гори. "Коба, один из разыскивавшихся вожаков, – рассказывает он,– успел скрыться с базарной площади перед арестом... Он бежал в свой родной город Гори. У своей матери он также не мог проживать, так как там его первым делом искали. Он должен был поэтому скрываться также и в Гори. Тайно, в ночные часы, он часто посещал меня в моей квартире". Иремашвили успел к этому времени стать учителем в родном городке.

Тифлисская манифестация произвела на Кобу сильнейшее впечатление. "Не без тревоги" замечал Иремашвили, что именно кровавый исход столкновения воодушевлял его друга. "В борьбе на жизнь и на смерть должно было, по мнению Кобы, окрепнуть движение; кровавая борьба должна была принести скорейшее решение". Иремашвили не догадывался, что его друг лишь повторял проповедь "Искры".

Из Гори Коба, очевидно, снова вернулся нелегально в Тифлис, так как, по сведениям жандармского управления, "осенью 1901 года Джугашвили был избран в состав тифлисского Комитета... участвовал в двух заседаниях этого Комитета, а в конце 1901 года был командирован для пропаганды в Батум..." Так как у жандармов не было иной "тенденции", кроме изловления революционеров, причем благодаря внутренней агентуре, они оказывались обычно неплохо осведомленными, то мы можем считать установленным, что в 1898–1901 году Коба отнюдь не играл в Тифлисе той руководящей роли, которую ему стали

приписывать в последние годы: до самой осени 1901 года он не входил даже в местный Комитет, а только состоял одним из пропагандистов, т.е. руководителем кружков.

В конце 1901 года Коба переезжает из Тифлиса в Батум, на побережье Черного моря, поблизости турецкой границы. Переселение может быть без труда объяснено необходимостью скрыться с глаз тифлисской полиции и потребностями перенесения революционной пропаганды в провинцию. Меньшевистские издания дают, однако, другую версию. С первых дней своей деятельности в рабочих кружках Джугашвили обратил на себя, по их словам, внимание своими интригами против Джибладзе, главного руководителя тифлисской организации. Несмотря на предостережение, он продолжал распространять клевету "с целью умалить подлинных и признанных представителей движения и занять руководящую позицию". Преданный партийному суду, Коба был признан виновным в недостойной клевете и единогласно исключен из организации. Вряд ли существует способ проверить этот рассказ, исходящий, не будем забывать, от ожесточенных противников Сталина. Документы тифлисского жандармского управления, по крайней мере те, которые опубликованы до сих пор, ничего не знают об исключении Иосифа Джугашвили из партии, наоборот, говорят об его командировке в Батум "для пропаганды". Можно бы поэтому оставить вовсе без внимания версию меньшевиков, если бы некоторые другие свидетельства не наводили на мысль, что дело с переселением Кобы обстояло не вполне гладко.

Один из первых и вполне добросовестных историков рабочего движения на Кавказе, Т. Аркомед, книжка которого вышла в Женеве в 1910 году, рассказывает об остром конфликте, возникшем в тифлисской организации осенью 1901 года в связи с вопросом о привлечении в Комитет выборных представителей от рабочих. "Против этого выступил один молодой, неразборчиво-энергичный во всех делах, интеллигентный товарищ и, выставляя конспиративные соображения, неподготовленность и несознательность рабочих, высказался против допущения рабочих в Комитет. Обращаясь к рабочим, он кончил свою речь словами: "Здесь льстят рабочим; спрашиваю вас, есть ли среди вас хоть один-два подходящих для Комитета рабочих, скажите правду, положа руку на сердце?" Рабочие, однако, не вняли оратору и

подали голоса за включение своих представителей в Комитет. Аркомед не называет "неразборчиво-энергичного" молодого человека по имени, так как в те годы разоблачение имен не допускалось обстоятельствами. В 1923 году, когда работа была переиздана советским издательством, имя по-прежнему осталось нераскрытым, и, надо думать, не случайно. Однако, книжка заключает в себе ценное косвенное указание. "Упомянутый молодой товарищ, — продолжает Аркомед, — скоро после этого перенес свою деятельность из Тифлиса в Батум, откуда тифлисские работники получили сведения об его некорректном отношении, враждебной и дезорганизаторской агитации против тифлисской организации и ее работников". По словам автора, враждебное поведение диктовалось не принципиальными мотивами, а "личными капризами и стремлением к самовластью". Все это чрезвычайно похоже на то, что мы слышали от Иремашвили по поводу склоки в семинарском кружке. "Молодой человек" очень похож на Кобу. Не может быть никакого сомнения в том, что дело идет именно о нем, так как из членов тифлисского Комитета, как вытекает из многочисленных воспоминаний, в Батум переехал в ноябре 1901 года именно он и только он. Естественно поэтому допустить, что перемена арены работы стала необходимой вследствие того, что в Тифлисе почва под ногами Кобы успела слишком нагреться. Если не было "исключения", могло быть удаление из Тифлиса с целью оздоровления атмосферы. Отсюда, в свою очередь, "некорректное отношение" Кобы к тифлисской организации и позднейшие слухи об его исключении. Заметим себе заодно и повод конфликта: Коба охраняет "аппарат" от давления снизу.

Батум, насчитывавший в начале столетия около 30 000 душ населения, представлял собой по тогдашним масштабам значительный промышленный пункт на Кавказе. Количество рабочих на заводах доходило до 11 тысяч. Рабочий день, как полагается, превышал 14 часов при нищенской плате. Немудрено, если пролетарская среда была в высшей степени восприимчива к революционной пропаганде. Как и в Тифлисе, Кобе отнюдь не приходилось начинать сначала: нелегальные кружки существовали в Батуме уже с 1896 года. Вместе с рабочим Канделаки Коба расширил сеть этих кружков. На новогодней вечеринке они

объединились в общую организацию, которая не получила, однако, прав Комитета и оставалась зависимой от Тифлиса. Таков, очевидно, один из источников тех новых трений, о которых мы слышали от Аркомеда. Коба вообще не терпел никого над собой.

В начале 1902 года батумской организации удалось поставить нелегальную типографию, очень примитивную, которая помещалась в квартире, где проживал Коба. Столь вопиющее нарушение правил конспирации вызывалось, несомненно, скудостью материальных средств. "Тесная комнатка, тускло освещенная керосиновой лампой. За маленьким круглым столиком сидит Сталин и пишет. Сбоку от него — типографский станок, у которого возятся наборщики. Шрифт разложен в спичечных и папиросных коробках и на бумажках. Сталин часто передает наборщикам написанное". Так вспоминает один из участников организации. Нужно прибавить, что текст прокламаций стоял на том же приблизительно уровне, что и техника печатания. Несколько позже при содействии армянского революционера Камо, с которым нам еще предстоит встретиться, из Тифлиса были привезены нечто вроде печатного станка, кассы, шрифт. Типография расширилась и усовершенствовалась. Литературный уровень прокламаций оставался тот же. Но это не мешало им оказывать свое действие.

25-го февраля (1902 г.) администрация керосинового завода Ротшильд вывесила объявление об увольнении 389 рабочих. В ответ 27-го вспыхнула стачка. Брожение перекинулось на другие заводы. Возникли стычки с штрейкбрехерами. Полицмейстер запросил у губернатора помощи войсками. 7-го марта полиция арестовала 32 рабочих. На следующее утро около четырехсот рабочих завода Ротшильд собрались у тюрьмы, требовали освобождения или ареста всех остальных. Полиция препроводила всех в пересыльные казармы. Чувство солидарности все теснее спаивало в то время рабочие массы России, и эта массовая спайка проявлялась каждый раз по-новому в самых глухих углах страны: до революции оставалось всего три года... На следующий день, 9-го марта, возникла более крупная демонстрация. К казармам приблизилась, по словам обвинительного акта, "огромная толпа рабочих с вожаками впереди, шествуя правильными рядами, с песнями, шумом и свистом". В толпе было около двух тысяч человек. Рабочие Химирьянц и Гогиберидзе за-

явили военным властям от имени толпы то же требование: или освободить заключенных, или арестовать всех. Толпа, как признал впоследствии суд, была "мирно настроенной и невооруженной". Власти сумели, однако, вывести ее из мирного настроения. На попытку солдат очистить площадь прикладами рабочие ответили камнями. Войска стали стрелять, убили 14 человек, ранили 54. Событие потрясло всю страну: в начале столетия людские нервы неизмеримо чувствительнее реагировали на массовые убийства, чем сейчас.

Какова была роль Кобы в этой демонстрации? Ответить не легко. Советские компиляторы раздираются между противоречивыми задачами: приписать Сталину участие в возможно большем числе революционных событий и, в то же время, как можно дольше продлить сроки его тюремных заключений и ссылок. Придводные художники иллюстрируют два несовпадающих хронологических ряда, изображая Сталина в один и тот же момент уличным героем и тюремным страдальцем. 27-го апреля 1937 г. официальные московские "Известия" поместили фотоснимок с картины художника К. Хуцишвили, изображающей Сталина организатором забастовки тифлисских железнодорожников в 1902 году. На другой день редакция увидела себя вынужденной покаяться в допущенной ошибке. "Из биографии т. Сталина , — гласило заявление, — известно, что он ... с февраля 1902 года до конца 1903 года сидел в Батумской и Кутаисской тюрьмах. Стало быть, т. Сталин не мог быть организатором забастовки в Тбилиси (Тифлисе) в 1902 году. Запрошенный по этому поводу т. Сталин заявил, что изображение его организатором забастовки железнодорожников в Тбилиси в 1902 году, с точки зрения исторической правды, является сплошным недоразумением, так как в это время он сидел в тюрьме в Батуме". Но если верно, что Сталин сидел в тюрьме с февраля, тогда "с точки зрения исторической правды" он не мог руководить и батумской демонстрацией, происшедшей в марте. Однако на этот раз ошибся не только чрезмерно усердный художник, ошиблась и редакция "Известий", несмотря на ее обращение к первоисточнику. Коба был на самом деле арестован не в феврале, а в апреле. Он не мог руководить тифлисской стачкой не потому, что сидел в тюрьме, а потому, что находился на берегу Черного моря. Он имел зато полную возможность принять участие в батумских событиях. Остается выяснить, в чем оно состояло.

Читатель замечает, вероятно не без сожаления, что изложение фактов осложняется критическими замечаниями по адресу источников. Автор хорошо понимает неудобство такого метода, но у него нет выбора. Документов, современных событиям, почти нет или они скрыты. Воспоминания позднейших лет тенденциозны, если не лживы. Представлять читателю готовые выводы, расходящиеся с официальной версией, значило бы возбуждать подозрение в пристрастии. Не остается ничего другого, как производить критику источников на глазах читателя.

Французский биограф Сталина, Барбюс, писавший под диктовку в Кремле, утверждает, что Коба занял место во главе батумской манифестации "как мишень". Эта напыщенная фраза противоречит не только данным полицейского дознания, но и характеру Сталина, который никогда и нигде не становился как мишень (что впрочем и не требуется). Непосредственно подчиненное Сталину издательство ЦК посвятило в 1937 году батумской демонстрации, вернее участию в ней Сталина, целый том. Однако 240 убористых страниц еще больше запутали вопрос, так как продиктованные сверху "воспоминания" находятся в полном противоречии с частично опубликованными документами. "Товарищ Сосо все время находился на месте событий и руководил центральным стачечным комитетом", — покорно пишет Тодрия. "Тов. Сосо все время был с нами", — утверждает Гогиберидзе. Старый батумский рабочий Дарахвелидзе рассказывает, что Сосо находился "среди бушующего моря рабочих, непосредственно руководил движением; рабочего, раненного в руку во время стрельбы, Г.Каландадзе, он сам вывел из толпы и отвел его на квартиру". Руководитель вряд ли мог покинуть свой пост, чтоб вывести раненого: обязанность санитара мог выполнить рядовой участник демонстрации. Об этом сомнительном эпизоде не упоминает к тому же никто из остальных авторов, а их — 26. Но это, в конце концов, деталь. Рассказы о Кобе как непосредственном руководителе демонстрации гораздо более радикально опровергаются тем обстоятельством, что демонстрация, как слишком явно обнаружилось на суде, прошла без руководства. Даже рабочих Гогиберидзе и Химирьянца, действительно шедших во главе толпы, царский суд, вопреки настояниям прокурора, признал рядовыми участниками шествия. Имя Джугашвили во время судебного процесса, несмотря на много-

численность подсудимых и свидетелей, вообще не называлось. Легенда рушится, таким образом, сама собой. Участие Кобы в батумских событиях имело, видимо, закулисный характер.

После манифестации Коба, по словам Берия, проводит "огромную" работу, пишет прокламации, организует их печатание и распространение; похоронную процессию в честь жертв 9-го марта он превращает в "грандиозную политическую демонстрацию" и пр. К сожалению, эти ритуальные гиперболы ничем не подкреплены. Коба в это время разыскивался полицией и вряд ли мог проявлять "огромную" и "грандиозную" активность в небольшом городе, где он, по словам того же Берия, играл перед тем видную роль на глазах демонстрирующей толпы, полиции, войск и уличных зрителей. В ночь на 5 апреля, во время заседания руководящей партийной группы, Коба был арестован вместе с другими сотрудниками и заключен в тюрьму. Открылся ряд томительных дней. Их было много.

Опубликованные документы раскрывают здесь в высшей степени интересный эпизод. Через три дня после ареста Кобы, во время очередного свидания заключенных с посетителями были выброшены кем-то из окна на тюремный двор две записки, в расчете на то, что кто-либо из посетителей поднимет их и передаст по назначению. В одной записке заключалась просьба повидаться в Гори со школьным учителем Сосо Иремашвили и сказать ему, что "Сосо Джугашвили арестован и просит его сейчас же сообщить об этом матери на тот конец, что если жандармы спросят ее "когда твой сын выехал из Гори", то сказала бы "все лето и зиму до 15 марта находился здесь". Вторая записка, адресованная учителю Елисабедашвили, касалась необходимости продолжения им революционной работы. Оба клочка бумаги оказались, однако, перехвачены тюремным надзором, и жандармский ротмистр Джакели сделал без труда вывод, что автором записок является Джугашвили и что этот последний "играл видную роль в рабочих беспорядках в Батуме". Джакели послал немедленно начальнику тифлисского жандармского управления требование об обыске у Иремашвили, допросе матери Джугашвили, а также об обыске и аресте Елисабедашвили. О результатах этих операций опубликованные документы не сообщают ничего.

С чувством облегчения мы встречаем на страницах официаль-

ного издания уже знакомое нам имя: Сосо Иремашвили. Правда, Берия уже называл его в числе членов семинарского кружка. Но это мало говорит о взаимоотношениях двух Сосо. Между тем, характер одной из перехваченных записок дает совершенно неоспоримое доказательство того, что автор воспоминаний, которыми нам пришлось уже не раз пользоваться и еще придется в дальнейшем, действительно находился в близких отношениях с Кобой. Именно ему, другу детства, арестованный поручает дать инструкции своей матери о том, как отвечать жандармам. Этим подтверждается и тот факт, что Иремашвили действительно имел право на доверие Кеке, которая, как мы от него слышали, называла его в детстве своим "вторым Сосо". Тем самым рассеиваются последние сомнения относительно достоверности столь ценных воспоминаний, игнорируемых официальными советскими историками. Инструкция, которую Коба, в соответствии с его собственными показаниями на допросе, пытался передать матери, имела целью обмануть жандармов относительно срока его приезда в Батум и тем поставить его самого в стороне от предстоящего процесса. Видеть в этой попытке что-либо предосудительное, разумеется, не приходится. Обмануть жандармов входило в правила той очень серьезной игры, которая называлась революционной конспирацией. Нельзя, однако, не остановиться с чувством изумления перед той неосторожностью, с какой Коба подвел под удар двух своих товарищей. Не меньшего внимания заслуживает чисто политическая сторона дела. У революционера, участвовавшего в подготовке столь трагически закончившейся демонстрации, естественно было бы предполагать желание разделить с рядовыми рабочими скамью подсудимых, — отнюдь не по сантиментальным соображениям, а чтоб иметь возможность политически осветить события и заклеймить поведение властей, т.е. использовать судебную трибуну для целей революционной пропаганды: такие случаи представлялись не часто! Отсутствие у Кобы подобного стремления можно объяснить только узостью кругозора. Он явно не охватывал политического значения демонстрации и ставил себе единственной целью остаться в стороне.

Самый замысел: обмануть жандармов был бы, кстати сказать, невозможен, если бы Коба действительно руководил уличным шествием, шел во главе толпы, подставлял себя как

"мишень". В этом случае десятки свидетелей неизбежно опознали бы его. Уклониться от привлечения к суду Коба мог лишь в том случае, если его участие в демонстрации оставалось тайным, анонимным. Действительно, только один полицейский пристав Чхикнадзе показал на предварительном следствии, что видел Джугашвили "в толпе" у тюрьмы. Но одинокое полицейское свидетельство не могло иметь на суде большой доказательной силы. Во всяком случае, несмотря на это показание и на перехваченную записку самого Кобы, он так и не был привлечен к делу о демонстрации. Процесс слушался через год и длился девять дней. Политическое направление судебных прений оказалось полностью в руках либеральных адвокатов, которые добились, правда, минимальных наказаний для 21 подсудимого, но ценою принижения революционного смысла батумских событий.

Полицейский пристав, производивший арест руководителей батумской организации, характеризует в своем рапорте Кобу как "уволенного из духовной семинарии, проживающего в Батуме без письменного вида и определенных занятий, а также и квартиры, горийского жителя Иосифа Джугашвили". Ссылка на увольнение из семинарии не имеет документального характера, так как простой пристав не мог располагать никакими архивами и писал, очевидно, по слухам; гораздо убедительнее ссылка на то, что у Кобы не было ни паспорта, ни определенных занятий, ни квартиры: три классических признака революционного троглодита.

В старых и запущенных провинциальных тюрьмах Батума, Кутаиса и снова Батума Коба провел свыше полутора лет, — довольно обычный по тем временам срок следствия и ожидания высылки. Режим в тюрьме, как и в стране, сочетал варварство с патриархальностью. Мирные и даже фамильярные отношения с администрацией нарушались бурными протестами, когда заключенные грохотали в двери камер сапогами, кричали, свистали, ломали посуду и мебель. После бури снова наступало затишье. Об одном из таких взрывов в кутаисской тюрьме, разумеется, "по инициативе и под руководством Сталина", кратко рассказывает Лолуа. Нет оснований сомневаться, что в тюремных конфликтах Коба занимал не последнее место и что в сношениях с администрацией он умел постоять за себя и за других.

"В тюремной жизни он установил распорядок, — рассказывает спустя 35 лет Каландадзе, — вставал рано утром, занимался гимнастикой, затем приступал к изучению немецкого языка и экономической литературы... Любил он делиться с товарищами своими впечатлениями от прочитанных книг..." Совсем не трудно представить себе список этих книг: популярные произведения по естествознанию; кое-что из Дарвина; "История культуры" Липперта; может быть, старики Бокль и Дрэпер в переводах семидесятых годов; "Биографии великих людей" в издании Павленкова; экономическое учение Маркса в изложении русского профессора Зибера; кое-что по истории России; знаменитая книга Бельтова об историческом материализме (под этим псевдонимом выступил в легальной литературе эмигрант Плеханов); наконец, вышедшее в 1899 году капитальное исследование о развитии русского капитализма, написанное ссыльным В.Ульяновым, будущим Н.Лениным, под легальным псевдонимом В. Ильина. Всего этого было и много и мало. В теоретической системе молодого революционера оставалось, конечно, больше прорех, чем заполненных мест. Но он оказывался все же недурно вооружен против учения церкви, аргументов либерализма и особенно предрассудков народничества.

Марксизм одержал над народничеством в течение девяностых годов теоретическую победу, которая опиралась на успехи капитализма и на рост рабочего движения. Однако рабочие стачки и демонстрации дали толчок пробуждению деревни, которое, в свою очередь, привело к возрождению народнической идеологии среди городской интеллигенции. Так, в начале столетия начинает довольно быстро расти ублюдочное революционное направление, которое усваивает кое-что из марксизма, отказывается от романтических имен "Земля и Воля" или "Народная Воля" и принимает более европейское название: Партия Социалистов-Революционеров. Борьба с "экономизмом" была зимою 1902—03 года в основе закончена: идеи "Искры" нашли слишком убедительное подтверждение в успехах политической агитации и в уличных демонстрациях. С 1902 года "Искра" отводит все больше места борьбе с эклектической программой социалистов-революционеров и с проповедывавшимися ими методами индивидуального террора. Страстная полемика "седых" и "серых" проникает во все углы страны, в том числе, конечно, и в

тюрьмы. Кобе не раз приходилось скрещивать оружие с новыми противниками; можно верить, что он делал это с достаточным успехом: "Искра" доставляла ему хорошие аргументы.

Так как Коба не был привлечен к судебному процессу о демонстрации, то следствие велось жандармами. Методы тайного дознания, как и тюремный режим, отличались значительным разнообразием в разных частях страны: в столице жандармы были культурнее и осторожнее, в провинции — грубее. На Кавказе с его первобытными нравами и колониальными отношениями жандармы прибегали к самым грубым насилиям, особенно по отношению к некультурным, неопытным или слабовольным жертвам. "Давление, угрозы, запугивание, пытка, ложные свидетельские показания, подтасовывание свидетелей, создание и раздувание дела, придание абсолютного значенья указаниям тайных агентов, вот отличительные черты ведения дела жандармами". Автор этих строк, уже знакомый нам Аркомед, рассказывает, как при помощи инквизиционных приемов жандармский офицер Лавров добивался заведомо ложных "признаний". Эти впечатления, видимо, крепко запали в сознание будущего Сталина: во всяком случае он сумел через тридцать лет применить методы ротмистра Лаврова в грандиозном масштабе. Из тюремных воспоминаний Лолуа мы узнаем мимоходом, что "товарищ Сосо не любил обращаться к товарищам на *вы*", ссылаясь на то, что на *вы* обращаются к революционерам царские слуги, когда отправляют их на эшафот. На самом деле обращение на *ты* было обычным в революционных кругах, особенно на Кавказе. Через несколько десятилетий Кобе предстоит отправить на эшафот немало старых товарищей, с которыми он, в отличие от "царских слуг", состоял с молодых лет на *ты*. Но до этого еще далеко.

Поразительно, что протоколы допросов Кобы, относящиеся к этому первому аресту, как и ко всем последующим, не опубликованы до сих пор. Организация "Искры" вменяла своим членам в правило отказ от дачи показаний. Революционеры обычно писали: "Я, имярек, социал-демократ по убеждениям; предъявленные мне обвинения отвергаю; от участия в тайном следствии отказываюсь". Только на гласном суде, к которому власти прибегали, однако, лишь в исключительных случаях, искровцы выступали с развернутым знаменем. Отказ от дачи

показаний, вполне оправдывавший себя с точки зрения интересов партии в целом, в отдельных случаях отягощал положение арестованных. В апреле 1902 года Коба, как мы видели, пытается при помощи уловки, за которую расплачиваться пришлось другим, установить свое алиби. Можно предполагать, что и в других случаях он больше рассчитывал на свою личную хитрость, чем на норму, обязательную для всех. В результате, серия его показаний имеет, надо думать, не слишком привлекательный, во всяком случае, не "героический" вид. Таково единственно мыслимое объяснение того, почему показания Сталина на допросах тщательно держатся под спудом.

Подавляющее большинство революционеров подвергалось каре в так называемом "административном порядке". По докладу местных жандармов "Особое Совещание" в Петербурге из четырех высоких чиновников от министерства внутренних дел и юстиции выносило заочно приговоры, которые утверждались министром внутренних дел. 25-го июля 1903 года тифлисский губернатор получил из столицы такого рода приговор: выслать под гласный надзор полиции в Восточную Сибирь 16 политических преступников. Имена их в списке расположены, как всегда, в порядке значительности или преступности: сообразно с этим в самой Сибири им отводились худшие или лучшие места поселения. На первом месте в списке стоят Курнатовский и Франчески, подвергшиеся высылке на четыре года. Четырнадцать человек высланы на три года; первое место среди них отведено уже знакомому нам Сильвестру Джибладзе; Иосиф Джугашвили занимает в списке одиннадцатое место. Жандармские власти еще не относили его к числу значительных революционеров.

В ноябре Кобу вместе с другими ссыльными отправляют из Батумской тюрьмы в Иркутскую губернию. С этапа на этап дорога тянулась около трех месяцев. Революция тем временем накипала, каждый стремился бежать поскорее. К началу 1904 года ссылка успела окончательно превратиться в решето. Бежать было, в большинстве случаев, не трудно: во всех губерниях существовали свои тайные "центры", фальшивые паспорта, деньги, адреса. Коба оставался в селе Новая Уда не больше месяца, т.е. ровно столько, сколько нужно было, чтобы осмотреться, найти необходимые связи и выработать план действий. Аллилуев, отец второй жены Сталина, рассказывает, что при первой попытке по-

бега Коба обморозил себе лицо и уши и вынужден был вернуться назад. Пришлось запастись более теплой одеждой. Крепкая сибирская тройка при надежном ямщике быстро промчала его по снежному тракту до ближайшей станции железной дороги. Обратный путь через Урал длился уже не три месяца, а какую-нибудь неделю.

Справедливо и уместно будет рассказать здесь вкратце о дальнейшей судьбе инженера Курнатовского, действительного вдохновителя революционного движения в Тифлисе в начале столетия. Просидев два года в военной тюрьме, он сослан был в Якутскую область, откуда побеги были неизмеримо труднее, чем из Иркутской губернии. В Якутске по пути Курнатовский принимает участие в вооруженном сопротивлении ссыльных против произвола властей и приговаривается судом к двенадцати годам каторжных работ. Амнистированный осенью 1905 года он достигает Читы, затопленной участниками русско-японской войны, и становится там председателем Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов, главой так называемой "Читинской республики". В начале 1906 года Курнатовский снова арестован и приговорен к смертной казни. Усмиритель Сибири, генерал Ренненкампф, возил за собой в поезде осужденного, чтоб тот видел на всех остановках расстрелы рабочих. В виду нового либерального веяния, в связи с выборами первой Думы, смертную казнь заменили вечным поселением в Сибири. Курнатовскому удалось бежать из Нерчинска в Японию, оттуда в Австралию, где он страшно нуждался, работал лесорубом и надорвал свои силы. Больной, с воспалением в ушах, он кое-как добрался до Парижа. "Исключительно тяжелая доля,— рассказывает Крупская, — скрутила его вконец. Осенью 1910 года, по приезде, мы с Ильичем ходили к нему в больницу". Два года спустя, когда Ленин и Крупская жили уже в Кракове, Курнатовский умер. На плечах Курнатовских и на их трупах революция двигалась вперед.

Революция двигалась вперед. Первое поколение русской социал-демократии, возглавлявшееся Плехановым, начало свою критическую и пропагандистскую деятельность в начале восьмидесятых годов. Пионеры исчислялись единицами, затем десятками. Второе поколение, которое вел за собой Ленин, — он был на 14

лет моложе Плеханова, — выступило на политическую арену в начале девяностых годов. Социал-демократы начали насчитываться сотнями. Третье поколение, состоявшее из людей лет на десять моложе Ленина, включилось в революционную борьбу в конце прошлого и в начале нынешнего столетия. К этому поколению, которое уже привыкало считать тысячами, принадлежали Сталин, Рыков, Зиновьев, Каменев, автор этой книги и другие.

В марте 1898 года съехались в провинциальном городе Минске представители девяти местных комитетов и основали Российскую социал-демократическую рабочую партию. Все участники оказались сейчас же арестованы. Вряд ли резолюции съезда скоро дошли до Тифлиса, где семинарист Джугашвили собирался примкнуть к социал-демократии. Минский съезд, подготовленный ровесниками Ленина, только провозгласил партию, но еще не создал ее. Одного крепкого удара царской полиции оказалось достаточно, чтоб надолго разрушить слабые партийные связи. В течение следующих годов движение, преимущественно экономическое по характеру, пускало местные корни. Молодые социал-демократы вели обычно работу в родном углу, пока подвергались аресту и высылке. Передвижение работников из города в город являлось исключением. Переход на нелегальное положение с целью избежать ареста почти совсем еще не практиковался: не было ни навыков, ни технических средств, ни необходимых связей.

С 1900 года "Искра" начала строить централизованную организацию. Бесспорным вождем в этот период становится Ленин, по праву отодвинувший назад "стариков" с Плехановым во главе. Опору партийное строительство нашло в несравненно более широком размахе рабочего движения, поднявшего новое революционное поколение, значительно более многочисленное, чем то, из которого вышел сам Ленин. Ближайшая задача "Искры" состояла в том, чтоб отобрать из состава местных работников людей более крупного масштаба и создать из них центральный аппарат, способный руководить революционной борьбой на арене всей страны. Число сторонников "Искры" было значительно, и оно росло. Но число подлинных "искровцев", доверенных агентов заграничного центра, было по необходимости ограничено: оно не превышало двух-трех десятков. Основной чертой искровцев был разрыв со своим городом, губернией, провинцией

для строительства партии. "Местничество" являлось в словаре "Искры" синонимом отсталости, узости, почти реакционности. "Сплотившись в небольшую законспирированную группу революционеров-профессионалов, — пишет жандармский генерал Спиридович,— они разъезжали по пунктам, где имелись партийные комитеты, заводили связи с их членами, доставляли им нелегальную литературу, помогали ставить типографии и брали от них сведения, необходимые для "Искры". Они проникали в местные комитеты, вели в них пропаганду против "экономизма", вытесняли оттуда своих идейных противников и таким образом подчиняли комитеты своему влиянию". Отставной жандарм дает здесь достаточно правильную характеристику искровцев как членов странствующего ордена, который возвышался над местными организациями, рассматривая их как арену своего воздействия.

В этой ответственной работе Коба не принимал участия. Он был тифлисским социал-демократом, затем батумским, т.е. революционером местного масштаба. Связь Кавказа с "Искрой" и с центральной Россией осуществлялась Красиным, Курнатовским и другими. Вся работа по объединению местных комитетов и групп в централизованную партию совершалась помимо Кобы. Это обстоятельство, которое неоспоримо устанавливается на основе переписки того времени, мемуаров и других документов, очень важно для оценки политического развития Сталина: он продвигается вперед медленно, неуверенно, ощупью.

В июне 1900 года Красин в качестве выдающегося молодого инженера прибыл на ответственную должность в Баку. "Не менее интенсивной, — пишет сам Красин, — была работа и в другой области, а именно подпольная социал-демократическая работа как в самом Баку, так и вообще на Кавказе — в Тифлисе, Кутаиси, Батуме, куда я периодически выезжал для связи с тамошними организациями". В Баку Красин пробыл до 1904 года. Связанный своим официальным положением, он не вел непосредственной работы в массах, так что рабочие не знали о его действительной роли и даже пытались позже добиться его удаления с поста директора электрической станции. Красин имел дело только с верхами организаций: он был руководителем местных руководителей. Из революционеров, с которыми ему приходилось непосредственно соприкасаться, он называет братьев Ену-

кидзе, Ладо Кецховели, Аллилуева, Шелгунова, Гальперина и др. Но достойно внимания, что человек, ведший руководящую работу на Кавказе с 1900 до 1904 года, ни разу не упоминает о Сталине. Не менее замечательно и то, что еще в 1927 году это умолчание прошло совершенно незамеченным, и автобиография Красина напечатана государственным издательством без всяких примечаний и поправок. Также и в воспоминаниях других большевиков, работавших в те годы на Кавказе или связанных с Кавказом, Сталину не отводится никакого места, разумеется, если самые воспоминания написаны до начала официального пересмотра истории партии, т.е. не позже 1929 года.

В феврале 1902 года должно было состояться в Киеве совещание искровцев, агентов заграничного центра. "На это совещание, — пишет Пятницкий, — съехались представители со всех концов России". Заметив слежку, участники совещания стали поспешно разъезжаться; однако все они были захвачены, частью в Киеве, частью — в пути. Через несколько месяцев арестованные совершили знаменитый побег из киевской тюрьмы. Коба, работавший в это время в Батуме, никем не приглашался на киевское совещание и, несомненно, даже не знал о нем.

Политический провинциализм Кобы особенно наглядно сказался в его отношении к заграничному центру, вернее — в отсутствии всяких отношений с ним. Роль эмиграции в русском революционном движении, начиная с середины прошлого столетия, оставалась почти неизменно доминирующей. При постоянных арестах, ссылках и казнях в царской России эмигрантские очаги, составлявшиеся из наиболее выдающихся теоретиков, публицистов и организаторов, являлись единственно устойчивыми элементами движения и потому неизбежно налагали на него свою печать. Редакция "Искры" стала в начале столетия бесспорным центром социал-демократии. Отсюда исходили не только политические лозунги, но и практические директивы. Всякий революционер стремился как можно скорее побывать за границей, повидать и послушать вождей, проверить свои взгляды, установить постоянную связь с "Искрой" и, через ее посредство, с подпольными работниками в самой России. В.Кожевникова, одно время близко стоявшая по работе к Ленину за границей, рассказывает, как "началось повальное бегство из ссылки и по дороге в ссылку — за границу, в редакцию "Искры"... а затем — опять

на живую работу в Россию". Молодой рабочий Ногин, — чтоб взять один пример из сотни, — бежит в апреле 1903 года из ссылки за границу, "чтобы догнать жизнь", как он пишет одному из своих друзей, "чтобы почитать и поучиться". Через несколько месяцев он уже возвращается нелегально в Россию, в качестве агента "Искры". Все десять участников упомянутого выше киевского побега, в том числе будущий советский дипломат Литвинов, оказались вскоре за границей. Один за другим они затем возвращались в Россию для подготовки съезда партии. Об этих и других доверенных агентах Крупская пишет в своих воспоминаниях: "Со всеми ними "Искра" вела активную переписку. Владимир Ильич просматривал каждое письмо. Мы знали очень подробно, кто из агентов "Искры" что делает, и обсуждали с ними всю их работу; когда между ними рвались связи, связывали их между собою, сообщали о провалах и пр." Среди агентов были как сверстники Ленина, так и сверстники Сталина. Но самого Кобу мы совершенно еще не встречаем среди этого верхнего слоя революционеров, насадителей централизма, строителей объединенной партии. Он остается "местным работником", кавказцем и провинциалом до мозга костей.

В июле 1903 года собрался, наконец, в Брюсселе подготовленный "Искрой" съезд партии; под давлением царской дипломатии и послушной ей бельгийской полиции он оказался вынужлен перенести свои работы в Лондон. Съезд принял программу, выработанную Плехановым, и вынес тактические резолюции; но, когда дело дошло до организационных вопросов, среди самих искровцев, господствовавших на съезде, возникли неожиданно разногласия. Обе стороны, и "твердые" во главе с Лениным, и "мягкие" во главе с Мартовым полагали вначале, что разногласия не имеют глубоких корней; тем более поразительной казалась их острая форма. Только что объединенная партия внезапно очутилась перед гранью раскола.

"Еще в 1903 году, сидя в тюрьме и узнав от приехавших со Второго съезда товарищей о серьезнейших разногласиях между большевиками и меньшевиками, Сталин решительно примыкает к большевикам". Так гласит биография, написанная под диктовку самого Сталина и имеющая характер инструкции историкам партии. Было бы, однако, неосорожно отнестись к этой ин-

струкции с излишним доверием. На съезде, приведшем к расколу, участвовало три кавказских делегата. С кем из них и как именно встретился Коба, находившийся в одиночном заключении? Как и в чем выразилась его солидарность с большевизмом? Единственное подтверждение версии Сталина исходит от Иремашвили. "Коба, который всегда был восторженным сторонником ленинских насильственных методов, — пишет он, — сечас же, конечно, встал на сторону большевизма и сделался его ревностнейшим защитником и вождем в Грузии". Однако это свидетельство, несмотря на всю свою категоричность, представляет явный анахронизм. До съезда никто, в том числе и сам Ленин, не противопоставляли еще "ленинских насильственных методов" методам других членов редакции, будущих вождей меньшевизма. На самом съезде споры вовсе не шли о революционных методах: тактические разногласия еще не возникли. Иремашвили явно ошибается, и немудрено: весь 1903 год Коба просидел в тюрьме, непосредственных впечатлений от него у Иремашвили быть не могло. Нужно к тому же вообще сказать, что если бытовые и психологические воспоминания "второго Сосо" представляются вполне убедительными и при проверке почти всегда находят подтверждение, то с его политическими наблюдениями дело обстоит гораздо хуже. Ему, видимо, не хватало ни чутья, ни подготовки, чтоб понимать эволюцию враждовавших революционных течений; в этой области он дает ретроспективные догадки, продиктованные его собственными позднейшими взглядами.

Споры на Втором съезде вспыхнули на самом деле вокруг вопроса о том, кого считать членом партии: только лишь членов нелегальной организации или всякого, кто систематически участвует в революционной борьбе под руководством местных комитетов. Во время прений Ленин говорил: "Я вовсе не считаю наше разногласие таким существенным, чтоб от него зависела жизнь или смерть партии. От плохого пункта устава мы еще не погибнем". К концу съезда разногласия распространились на вопрос о личном составе редакции "Искры" и Центрального Комитета; но за эти узкие пределы они так и не вышли. Ленин добивался резких и отчетливых границ партии, узкого состава редакции и суровой дисциплины. Мартов и его друзья тяготели к расплывчатости и семейным нравам. Однако обе стороны только нащупывали свои пути и, несмотря на остроту конфликта, никто

не считал еще разногласия "серьезнейшими". По позднейшему меткому выражению Ленина, борьба на съезде имела характер "антиципации".

"Наибольшей трудностью в этой борьбе было именно то,— писал впоследствии Луначарский, первый советский руководитель просвещения, — что Второй съезд, расколовший партию, не нащупал настоящих глубоких разногласий между мартовцами, с одной стороны, и ленинцами — с другой. Разногласия эти все еще казались вращающимися вокруг одного параграфа устава и личного состава редакции. Многих смущала незначительность повода, приведшего к расколу". Пятницкий, будущий видный чиновник Коминтерна, а в ту пору молодой рабочий, пишет в своих воспоминаниях: " Мне было непонятно, почему мелкие разногласия мешают работать вместе". "Мне лично, — вспоминает инженер Кржижановский, близко стоявший к Ленину в те годы, впоследствии глава Госплана, — особенно дикой казалась мысль об оппортунизме товарища Мартова". Таких свидетельств много. Из Петербурга, из Москвы, из провинции шли протесты и вопли. Никто не хотел признать возникший на съезде раскол среди искровцев. Размежевание происходило в течение ближайшего периода медленно, с неизбежными перемещениями в ту и другую сторону. Нередко первые большевики и меньшевики продолжали еще мирно работать вместе.

На Кавказе с его отсталой социальной средой и низким политическим уровнем происшедшее на съезде понимали меньше, чем где бы то ни было. Правда, все три кавказских делегата сгоряча примкнули в Лондоне к большинству. Но замечательно, что все три в дальнейшем стали меньшевиками: Топуридзе откололся от большинства уже в конце самого съезда; Зурабов и Кнунианц перешли на сторону меньшевиков в течение ближайших лет. Знаменитая кавказская нелегальная типография, в которой преобладали большевистские симпатии, продолжала в 1904 году перепечатывать меньшевистскую "Искру", оставшуюся формально центральным органом партии. "Наши разногласия, — пишет Енукидзе, — абсолютно не отразились на работе". Только после Третьего съезда партии, следовательно, не раньше середины 1905 года, типография перешла в распоряжение ЦК большевиков. Нет, следовательно, никакой возможности доверять тому, что Коба, сидя в захолустной тюрьме, сразу оценил

разногласия как "серьезнейшие". Антиципация никогда не была его сильной стороной. Да вряд ли можно было бы поставить в вину даже менее осторожному и подозрительному молодому революционеру, если бы он отправился в Сибирь, не заняв открытой позиции во внутрипартийной борьбе.

Из Сибири Коба вернулся прямо в Тифлис: факт этот не может не вызвать удивления. Сколько-нибудь заметные беглецы редко возвращались на родину, где им слишком легко было попасться на глаза полиции, тем более, когда дело шло не о Петербурге или Москве, а о небольшом провинциальном городе, как Тифлис. Но молодой Джугашвили еще не перерезал кавказской пуповины; языком пропаганды является для него еще почти исключительно грузинский; он еще не чувствует себя, к тому же, в фокусе внимания полиции. Испробовать свои силы в центральной России он пока еще не решается. Его не знают за границей и его самого не влечет туда. В том же направлении действовала, видимо, более интимная причина: если Иремашвили не сбивается в хронологии, Коба был уже к этому времени женат; во время его заключения и ссылки его юная жена оставалась в Тифлисе.

Война с Японией, начавшаяся в январе 1904 года, на первых порах ослабила рабочее движение, чтоб уже к концу года придать ему небывалый размах. Военные поражения царизма быстро развеяли патриотические настроения, ударившие в голову либеральным и отчасти студенческим кругам. Пораженчество, хоть и с разным коэффициентом, все более охватывало не только революционные массы, но и оппозиционную буржуазию. Несмотря на все это, социал-демократия перед предстоявшим ей вскоре грандиозным подъемом переживала месяцы застоя и внутреннего недомогания. Изнуряющие, ибо еще неопределенные разногласия между большевиками и меньшевиками лишь постепенно вырываются из тесной организационной кухни, чтобы охватить впоследствии всю область революционной стратегии.

"Работа Сталина за период 1904—05 годов проходит под флагом ожесточенной борьбы с меньшевизмом",— говорит официальная биография. "Он буквально на своих плечах вынес всю борьбу с меньшевиками на Кавказе, начиная с 1904 и кончая 1908 г.", — пишет Енукидзе в своих заново переделанных воспо-

минаниях. Берия утверждает, что после побега из ссылки Сталин "организует и направляет борьбу против меньшевиков, которые после Второго съезда партии, за время отсутствия тов. Сталина, особенно активизировались". Эти авторы хотят слишком много доказать. Если принять на веру, что Сталин уже в 1901–03 годах играл в кавказской социал-демократии руководящую роль; что он с 1903 года примкнул к большевикам и с февраля 1904 года приступил к борьбе с меньшевизмом, то приходится в изумлении остановиться перед тем фактом, что все его усилия дали столь плачевные результаты: грузинские большевики накануне революции 1905 года исчислялись буквально единицами. Ссылка Берия на то, что меньшевики особенно активизировались "за время отсутствия Сталина", звучит почти как ирония: мелкобуржуазная Грузия, включая Тифлис, оставалась крепостью меньшевизма в течение двух десятилетий, совершенно независимо от чьего-либо присутствия или отсутствия. В революции 1905 года грузинские рабочие и крестьяне шли безраздельно за меньшевистской фракцией; во всех четырех Думах Грузия была неизменно представлена меньшевиками; в Февральской революции 1917 года грузинский меньшевизм выдвинул вождей общероссийского масштаба: Церетели, Чхеидзе и др. Наконец, уже после установления советской власти в Грузии, меньшевизм все еще сохранял большое влияние, которое выразилось позже в восстании 1924 года. "Всю Грузию надо перепахать", – так резюмировал Сталин осенью 1924 года, т.е. через двадцать лет после того, как он "открыл ожесточенную борьбу с меньшевизмом". Будет поэтому правильнее и справедливее по отношению к самому Сталину, если мы не станем преувеличивать роль Кобы в первые годы столетия и рисовать его подвиги чересчур титаническими чертами.

Коба вернулся из ссылки со званием члена Кавказского Комитета, в состав которого он был выбран заочно, во время своего заключения в тюрьме, на конференции закавказских организаций. Возможно, что большинство членов Комитета – их было восемь – уже сочувствовало в начале 1904 года большинству лондонского съезда; но это обстоятельство ничего не говорит еще о симпатиях самого Кобы. Местные кавказские организации явно тянули в сторону меньшевиков. Примиренческий Центральный Комитет партии под руководством Красина выступал в

это время против Ленина. "Искра" находилась полностью в руках меньшевиков. В этих условиях Кавказский Комитет со своими большевистскими симпатиями казался повисшим в воздухе. Между тем Коба предпочитал прочную почву под ногами. Аппарат он ценил выше, чем идею.

Официальные сведения о работе Кобы в 1904 году крайне неопределенны и недостоверны. Вел ли он работу в Тифлисе и в чем она состояла, остается неизвестным. Вряд ли беглец из Сибири мог появляться на рабочих кружках, где его многие знали. Вероятно по этой именно причине , Коба уже в июне переезжает в Баку. Об его деятельности там сообщаются стереотипные фразы: "Направляет борьбу бакинских большевиков... разоблачает меньшевиков". Ни одного факта, ни одного воспоминания! Если перу Кобы принадлежали какие-либо документы за эти месяцы, то они тщательно скрыты и, надо думать, не случайно.

Ни на чем не основаны, с другой стороны, запоздалые попытки представить Сталина основоположником бакинской социал-демократии. Первые рабочие кружки в дымном и мрачном городе, отравленном татаро-армянской враждой, возникли еще в 1896 году. Основание более оформленной организации положил три года спустя А.Енукидзе совместно с несколькими высланными из Москвы рабочими. В самом начале столетия тот же Енукидзе в сотрудничестве с Ладо Кецховели создал бакинский Комитет "искровского" направления. Благодаря братьям Енукидзе, тесно связанным с Красиным, в Баку была поставлена в 1903 году большая подпольная типография, сыгравшая исключительную роль в подготовке первой революции. Это та самая типография, в которой большевики и меньшевики дружно работали вместе до середины 1905 года. Когда постаревший Авель Енукидзе, многолетний секретарь ЦИКа, впал в опалу, его заставили в 1935 году переделать заново свои воспоминания 1923 года, противопоставив установленным фактам голые фразы о вдохновляющей и руководящей роли Сосо на Кавказе, в частности в Баку. Самого Енукидзе эти унижения не спасли от гибели, а к биографии Сталина они не прибавили ни одного живого штриха.

В тот момент, когда Коба появился впервые на бакинском горизонте — июнь 1904 года — местная социал-демократическая

организация имела за собой восьмилетнюю историю, причем за последний год "Черный город" играл уже крупную роль в рабочем движении. Предшествующей весной в Баку вспыхнула всеобщая стачка, послужившая сигналом целой волны стачек-демонстраций, прокатившихся по югу России. Вера Засулич первой оценила эти события как начало революции. Благодаря более пролетарскому характеру Баку, особенно по сравнению с Тифлисом, большевикам удалось укрепиться здесь раньше и прочнее, чем в остальном Кавказе. По сообщению Махарадзе — того самого, который некогда характеризовал Сталина тифлисской кличкой "кинто" — осенью 1904 года создана была в Баку "под непосредственным руководством Сосо" специальная организация для революционной работы среди наиболее отсталых нефтепромышленных рабочих, татар (азербайджанцев) и персов. Это свидетельство вызывало бы меньше сомнений, если бы Махарадзе сделал его в первом издании своих воспоминаний, а не десять лет спустя, когда он, под хлыстом Берия, переделал заново всю историю кавказской социал-демократии. Метод постепенного приближения к официальной "истине" дополняется тем, что все предшествующие издания книги объявляются порождениями злого духа и изымаются из оборота.

По возвращении из Сибири Коба встречался несомненно с Каменевым, уроженцем Тифлиса и одним из первых молодых последователей Ленина. Возможно, что именно Каменев, только что прибывший из-за границы, содействовал обращению Кобы в большевизм. Но имя Каменева подверглось изгнанию из истории партии за несколько лет до того, как сам Каменев был расстрелян по фантастическому обвинению. Во всяком случае действительная история кавказского большевизма начинается не с возвращения Кобы из ссылки, а с осени 1904 года. В разной связи эта дата устанавливается даже официальными авторами, поскольку они не вынуждены говорить специально о Сталине. В ноябре 1904 года большевистская конференция, собравшаяся в Тифлисе в составе 15 делегатов от местных организаций на Кавказе, в большинстве мелких групп, приняла решение в пользу созыва нового съезда партии. Это был прямой акт объявления войны не только меньшевикам, но и примиренческому Центральному Комитету. Если бы на первой конференции кавказского большевизма участвовал Коба, Берия и другие, исто-

рики неизбежно сообщили бы, что конференция прошла "по инициативе и под руководством т. Сталина". Полное молчание на этот счет означает, что Коба, находившийся в это время на Кавказе, не участвовал в конференции. Значит, ни одна большевистская организация не делегировала его. Конференция избрала Бюро. Коба не вошел в этот руководящий орган. Все это было бы немыслимо, если бы он занимал сколько-нибудь видное положение среди кавказских большевиков.

В.Таратута, участвовавший в конференции делегатом от Батума — впоследствии член ЦК партии — дает совершенно точное и неоспоримое указание относительно того, кто именно из большевиков играл тогда на Кавказе руководящую роль. "На Кавказской областной конференции в конце 1904 года или в начале 1905 года, — пишет он, — ... я впервые встретил и т. Каменева, Льва Борисовича, в качестве руководителя местных большевистских организаций. На этой областной конференции т. Каменева выбрали в качестве разъездного по всей стране агитатора и пропагандиста за созыв нового съезда партии, причем ему же было поручено объезжать комитеты всей страны и связаться с нашими заграничными центрами того времени". Об участии в этой работе Кобы авторитетный свидетель не говорит ни слова.

При этих условиях не могло быть, конечно, и речи о включении Кобы в общероссийский центр большевиков, семичленное "Бюро комитетов большинства", образованное для созыва съезда. Представителем Кавказа вошел в Бюро Каменев. Из других прославившихся впоследствии советских деятелей мы находим в списке членов Бюро имена Рыкова и Литвинова. Не мешает прибавить, что Каменев и Рыков были на два-три года моложе Сталина. Да и вообще Бюро состояло, в большинстве своем, из представителей "третьего " поколения.

В декабре 1904 года, т.е. вскоре после состоявшейся в Тифлисе большевистской конференции, Коба вторично приезжает в Баку. Накануне его приезда на нефтяных промыслах и заводах вспыхивает всеобщая стачка, неожиданно для всей страны. Партийные организации еще явно не отдавали себе достаточного отчета в мятежном настроении масс, обостренном первым годом войны. Бакинская забастовка непосредственно предшествует знаметитому Кровавому Воскресенью в Петербурге, 9 января

1905 года, трагическому шествию рабочих под руководством священника Гапона к Зимнему дворцу. Одно из "воспоминаний", сфабрикованных в 1935 году, глухо упоминает, что Сталин руководил в Баку стачечным комитетом и что все совершалось под его руководством. Но, по словам того же автора, Коба прибыл в Баку после начала стачки и оставался в городе всего 10 дней. На самом деле он приезжал по специальному поручению, может быть, связанному с подготовкой съезда: в это время он, пожалуй, уже сделал свой выбор в пользу большевизма.

Сам Сталин пытался отодвинуть назад дату своего присоединения к большевикам. Не довольствуясь ссылкой на то, что он еще в тюрьме стал большевиком, он рассказал в 1924 году, на вечере военных курсантов Кремля, будто его связь с Лениным установилась еще со времени его первой ссылки. "Впервые я познакомился с тов. Лениным в 1903 году. Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки. Но оно оставило во мне неизгладимое впечатление, которое не покидало меня за все время моей работы в партии. Я находился тогда в Сибири, в ссылке. Знакомство с революционной деятельностью тов. Ленина с конца 90-х годов и особенно после 1901 года, после издания "Искры", привело меня к убеждению, что мы имеем в лице тов. Ленина человека необыкновенного. Он не был тогда в моих глазах простым руководителем партии, он был ее фактическим создателем, ибо один понимал внутреннюю сущность и неотложные нужды нашей партии. Когда я сравнивал его с остальными руководителями нашей партии, мне все время казалось, что соратники тов. Ленина — Плеханов, Мартов, Аксельрод и другие — стоят ниже тов. Ленина целой головой, что Ленин в сравнении с ними не просто один из руководителей, а руководитель высшего типа, горный орел, не знающий страха в борьбе и смело ведущий вперед партию по неизведанным путям русского революционного движения. Это впечатление так глубоко запало мне в душу, что я почувствовал необходимость написать о нем одному своему близкому другу, находившемуся в эмиграции, требуя от него отзыва. Через несколько времени, будучи уже в ссылке в Сибири — это было в конце 1903 года — я получил восторженный ответ моего друга и простое, но глубоко содержательное письмо тов. Ленина, которого, как

оказалось, познакомил мой друг с моим письмом. Письмецо тов. Ленина было сравнительно небольшое, но оно давало смелую, бесстрашную критику практики нашей партии и замечательно ясное и сжатое изложение всего плана работы партии на ближайший период. Только Ленин умел писать о самых запутанных вещах так просто и ясно, сжато и смело, когда каждая фраза не говорит, а стреляет. Это простое и смелое письмо еще больше укрепило меня в том, что мы имеем в лице Ленина горного орла нашей партии. Не могу себе простить, что это письмо тов. Ленина, как и многие другие письма, по привычке старого подпольщика, я предал сожжению. С этого времени началось мое знакомство с тов. Лениным".

В этом рассказе, столь характерном для Сталина своей психологической и стилистической примитивностью, ошибочна уже хронология. Коба прибыл в ссылку только в 1903 году. Не вполне ясно, далее, откуда и когда он писал "одному своему близкому другу" за границей, так как сам он до высылки в Сибирь просидел полтора года в тюрьме. Ссыльные никогда не знали заранее, в какой пункт они будут направлены, так что Коба не мог сообщить своевременно свой сибирский адрес за границу и успеть получить оттуда ответ в течение того единственного месяца, который он провел в ссылке. Согласно изложению самого Сталина, письмо Ленина носило не личный, а программный характер. Такого рода письма рассылались Крупской по ряду адресов и в оригинале сохранялись в заграничном архиве. Вряд ли в данном случае было сделано исключение для неизвестного молодого кавказца. Но в архиве нет того письма, копию которого Коба сжег "по привычке старого подпольщика" (ему в это время было ровно 24 года). Больше всего, однако, удивляет тот факт, что Сталин ничего не упоминает о своем ответе Ленину. Получив письмо от боготворимого им, по собственным словам, вождя Коба, разумеется, немедленно же ответил бы ему. Но Сталин молчит об этом, и молчит не случайно: в архиве Ленина и Крупской ответного письма Кобы нет. Если допустить, что оно было перехвачено полицией, копия его непременно сохранилась бы в папках департамента полиции и была бы давно воспроизведена в советской печати. Наконец, дело ни в каком случае не могло бы ограничиться одним письмом. Молодой социал-демократ не мог не дорожить постоянной связью с вождем партии,

"горным орлом". Со своей стороны, Ленин очень дорожил связью с Россией и аккуратно отвечал на каждое письмо. Между тем, никакой корреспонденции между Лениным и Кобой не возникло в течение ближайших лет. Все вызывает недоумение в этом рассказе, кроме его цели.

В жизни Ленина 1904 год был, пожалуй, самым тяжелым, если не считать последних годов болезни. Не желая и не предвидя того, он порвал со всеми выдающимися деятелями русской социал-демократии и долго не находил никого, кто мог бы заменить вчерашних соратников. Только постепенно подбирались большевистские литераторы, к тому же далеко уступавшие редакторам "Искры". Лядов, один из активных большевиков того времени, находившийся в 1904 году с Лениным в Женеве, рассказывал двадцать лет спустя: "Приехал Ольминский, приехал Воровский, приехал Богданов... ждали мы приезда Луначарского, за которого Богданов ручался, что он по приезде обязательно примкнет к нам". Все эти лица возвращались из ссылки, о них знали заранее, их ждали. Но при подготовке фракционной газеты никто не поднимал вопроса о Кобе, которого теперь изображают как уже выдающегося в тот период большевистского деятеля. 22-го декабря выходит, наконец, в Женеве первый номер газеты "Вперед". Коба не имел никакого отношения к этому знаменательному событию в жизни фракции. Он не вошел в сношения с редакцией. В газете нет ни его статей, ни корреспонденций. Это было бы совершенно невозможно, если бы он в то время был лидером кавказских большевиков.

Мы имеем, наконец, прямое документальное свидетельство в пользу вывода, сделанного нами по косвенным признакам. В 1911 году начальник тифлисского охранного отделения Карпов в обширной и крайне интересной справке, посвященной Иосифу Джугашвили, — мы еще встретимся с ней в дальнейшем, — писал: "С 1902 г. он работал в социал-демократической организации, сначала меньшевиком, а потом большевиком". Доклад Карпова есть единственно известный нам документ, где совершенно категорически утверждается, что в течение известного периода после раскола Сталин был меньшевиком. Неосторожно напечатавшая 23-го декабря 1925 года этот документ тифлисская "Заря Востока" не догадалась или не сумела дать какие-либо пояснения. Можно не сомневаться, что редактор жестоко

поплатился позже за свой промах. Но крайне знаменательно, что и сам Сталин не нашел возможным дать опровержение. Ни один из официальных биографов или историков партии не возвращался больше к этому важному документу, тогда как десятки незначительных бумажонок воспроизводились, цитировались, фотографировались без конца. Если допустить на минуту, что тифлисская жандармерия, которая, во всяком случае, должна была быть наиболее осведомленной в этом вопросе, дала ложную справку, то немедленно возникает дополнительный вопрос: каким образом оказалось возможным подобное недоразумение? Если бы Коба действительно стоял во главе кавказских большевиков, охранное отделение не могло бы этого не знать. Совершить столь грубую ошибку политической характеристики оно могло бы только в отношении какого-либо зеленого новичка или третьестепенной фигуры, ни в каком случае не в отношении "вождя". Так один случайно прорвавшийся в печать документ сразу разрушает с большим трудом воздвигнутый официальный миф. А сколько подобных документов хранится в несгораемых шкафах или, наоборот, заботливо предано сожжению!

Может казаться, что мы затратили слишком много времени и усилий для обоснования очень скромного вывода: не все ли равно, в самом деле, примкнул ли Коба к большевизму в середине 1903 года или накануне 1905 года? Однако этот скромный вывод помимо того, что он раскывает перед нами попутно механику кремлевской историографии и иконографии, имеет серьезное значение для понимания политической личности Сталина. Большинство писавших о нем принимает его переход на сторону большевизма как нечто естественно вытекающее из его характера и, так сказать, само собой разумеющееся. Такой взгляд нельзя не признать односторонним. Твердость и решительность предрасполагают, правда, к принятию методов большевизма; однако сами по себе эти черты еще не решают. Люди твердого склада встречались и среди меньшевиков, и среди социалистов-революционеров. С другой стороны, не так уж редки были мягкие люди в среде большевиков. Большевизм вовсе не исчерпывается психологией и характером; он представляет прежде всего историческую философию и политическую концепцию. Рабочие — в известных исторических условиях — толкаются на путь большевизма всем своим социальным положением, притом

почти независимо от твердости или мягкости индивидуальных характеров. Интеллигенту нужно было незаурядное политическое чутье и теоретическое воображение, исключительное доверие к диалектике исторического процесса и к революционным качествам рабочего класса, чтобы серьезно и прочно связать с большевистской партией свою судьбу в то время, когда сам большевизм представлял собою лишь историческую антиципацию. Подавляющее число интеллигентов, примкнувших к большевизму в период революционного подъема, покинули его в следующие годы. Кобе труднее было примкнуть, но труднее и порвать. Ни теоретического воображения, ни исторического чутья, ни дара предвосхищения у него не было, как не было, с другой стороны, и легкомыслия. Интеллект его всегда оставался ниже его воли. В сложной обстановке, лицом к лицу с новыми факторами, Коба предпочитает выжидать, молчать или отступать. Во всех тех случаях, где ему придется выбирать между идеей и аппаратом, он неизменно будет склоняться на сторону аппарата. Программа должна создать свою бюрократию прежде, чем Коба почувствует к ней уважение. Недоверие к массам, как и к отдельным людям, составляет основу его натуры. Его эмпиризм всегда влечет его на путь наименьшего сопротивления. Оттого этот революционер короткого прицела будет на всех больших поворотах истории занимать, как правило, оппортунистическую позицию, чрезвычайно сближающую его с меньшевиками и даже ставящую иногда вправо от них. Но в то же время он будет неизменно тяготеть к самым решительным действиям для разрешения усвоенных им задач. Хорошо организованное насилие кажется ему при всех условиях кратчайшим расстоянием между двумя точками. Здесь напрашивается аналогия. Русские террористы были, по сути дела, мелкобуржуазными демократами, но крайне решительными и смелыми. Марксисты не раз называли их "либералами с бомбой". Сталин был и остается политиком золотой середины, не останавливающимся, однако, перед самыми крайними средствами. Стратегически он — оппортунист; тактически — "революционер". В своем роде оппортунист с бомбой. Мы будем иметь достаточно случаев проверить эту формулу на дальнейшем протяжении его жизни.

Вскоре после выхода из семинарии Коба поступил чем-то

вроде бухгалтера в тифлисскую обсерваторию. Несмотря на "ничтожное жалование", должность, по словам Иремашвили, нравилась ему, так как оставляла много свободного времени для революционной работы. "О личном существовании он меньше всего заботился. Он не предъявлял никаких требований к жизни и считал такие требования несовместимыми с социалистическими принципами. Он был достаточно честен, чтобы приносить своей идее личные жертвы". Коба оставался верен тому обету бедности, который молчаливо и не размышляя давали все молодые люди, уходившие в революционное подполье; к тому же детство не приучило его к довольству, как многих других. "Я несколько раз посещал его в его маленькой, убогой, скудно обставленной комнате на Михайловской улице, — рассказывает незаменимый "второй Сосо". — Коба носил каждый день простую черную русскую блузу с характерным для всех социал-демократов красным галстуком. Зимою он надевал поверх старый коричневый плащ. В качестве головного убора он знал только русский картуз. Хотя Коба покинул семинарию отнюдь не в качестве друга всех молодых семинарских марксистов, все же все они время от времени складывались, чтобы при случае помочь ему в нужде". Барбюс сообщает, что в 1900 году, т.е. через год после ухода из семинарии, Иосиф оказался без всяких средств: "Товарищи давали ему возможность кормиться". Из полицейских документов вытекает, что Коба оставался на службе в обсерватории до марта 1901 года, когда вынужден был скрыться. Но служба, как мы слышали, едва обеспечивала его существование. "...Его доходы не давали ему возможности хорошо одеваться, — продолжает Иремашвили, — но правда и то, что у него не было стремления поддерживать свою одежду хотя бы в чистоте и порядке. Его никогда нельзя было видеть иначе, как в грязной блузе и нечищенных башмаках. Все, что напоминало буржуа, он ненавидел от глубины души". Грязная блуза, нечищенная обувь и нечесанные волосы были тоже общим признаком молодых революционеров, особенно в провинции.

Перейдя в марте 1901 года на нелегальное положение, Коба окончательно превратился в профессионального революционера. Отныне у него не было имени, потому что было много имен. В разные периоды, а иногда в одно и то же время он именовался

"Давид", "Коба", "Нижерадзе", "Чижиков", "Иванович", "Сталин". Параллельно жандармы наделяли его своими кличками; наиболее устойчивой была кличка "рябой", намекавшая на следы оспы на его лице. На легальное положение Коба переходил отныне только в тюрьме и ссылке, т.е. между двумя периодами подполья.

"Он никогда не разбрасывался, — пишет о молодом Сталине в своих исправленных воспоминаниях Енукидзе. — Все его действия, встречи, дружбы были направлены к определенной цели... Сталин никогда не искал личной популярности". Этот мотив, повторяющийся во многих официальных воспоминаниях, имеет своей целью объяснить, почему Сталин до самого прихода к власти оставался неизвестен народным массам, даже широким кругам партии. Неверно, однако, будто он не искал популярности. Он жадно искал ее, но не умел найти. Отсутствие популярности рано начало сверлить его душу. Именно неспособность завоевать славу лобовой атакой толкала эту сильную натуру на обходные и кривые пути.

Уже в молодости Коба искал власти над людьми, которые в большинстве своем казались ему слабее его. Но сам он не был ни умнее других, ни образованнее, ни красноречивее. В нем не было ни одного из тех качеств, которые привлекают симпатии. Зато он был богаче других холодной настойчивостью и практической сметкой. Он не повиновался импульсам, а умел подчинять их расчету. Эта черта успела сказаться уже на школьной скамье. "Обычно Иосиф отвечал на вопросы не торопясь, — пишет Глурджидзе. — Если у него был ответ всесторонне обоснованный, он отвечал; если же нет, он оттягивал ответ на более или менее короткий срок". Если оставить в стороне преувеличение насчет "всесторонне обоснованных"ответов, в этих словах дана весьма жизненная черта молодого Сталина, которая составляла важное преимущество в среде молодых революционеров, в большинстве своем великодушных, торопливых и наивных.

Уже в этот ранний период Коба не останавливается перед взаимным натравливанием своих сопреников, перед их опорочиванием и вообще перед интригой против каждого, кто превосходит его в каком-либо отношении или кажется ему помехой на его пути. Нравственная неразборчивость молодого Сталина создает вокруг него атмосферу подозрений и зловещих слухов. Ему начинают приписывать многое, в чем он не повинен. Социа-

лист-революционер Верещак, близко сталкивавшийся с Кобой в тюрьме, рассказал в 1928 году в эмигрантской печати, будто после исключения Иосифа Джугашвили из семинарии директор получил от него донос на всех его бывших товарищей по революционному кружку. Когда Иосифу пришлось давать по этому делу ответ перед тифлисской организацией, он не только признал себя автором доноса, но и вменил себе этот акт в заслугу: вместо того, чтоб превратиться в священников или учителей, исключенные должны будут стать, по его расчету, революционерами. Весь этот эпизод, подхваченный некоторыми легковерными биографами, несет на себе явственное клеймо измышления. Революционная организация может поддерживать свое существование только беспощадной строгостью ко всему, что хоть отдаленно пахнет доносом, првокацией или предательством. Малейшая снисходительность в этой области означает для нее начало гангрены. Если бы даже Сосо оказался способен на такой шаг, в котором на треть Макиавелли приходится две трети Иуды, совершенно невозможно допустить, чтобы партия потерпела его после этого в своих рядах. Иремашвили, входивший в тот же семинарский кружок, что и Коба, ничего не знает об этом эпизоде. Сам он благополучно закончил семинарию и стал учителем. Тем не менее совершенно не случайно, что злостная выдумка связана с именем Сталина. Ни о ком другом из старых революционеров не рассказывали подобных вещей.

Суварин, наиболее документированный из биографов Сталина, пытается вывести его нравственную личность из его принадлежности к зловещему ордену "профессиональных революционеров". В этом случае, как и во многих других, обобщения Суварина очень поверхностны. Профессиональный революционер есть человек, который полностью отдает себя рабочему движению в условиях нелегальной и вынужденной конспирации. На это способен не всякий и, во всяком случае, не худший. Рабочее движение цивилизованного мира знает многочисленных профессиональных чиновников и профессиональных политиков; в подавляющем большинстве своем этот слой отличается консерватизмом, эгоизмом и ограниченностью, живет не для движения, а за счет движения. По сравнению со средним рабочим бюрократом Европы или Америки средний профессиональный революционер России представлял несравненно более привлекательную фигуру.

Молодость революционного поколения совпадала с молодостью рабочего движения. Это было время людей от 18 до 30 лет. Революционеры свыше этого возраста насчитывались единицами и казались стариками. Движение еще совершенно не знало карьеризма, жило верой в будущее и духом самопожертвования. Не было рутины, условных формул, театральных жестов, готовых ораторских приемов. Молодой пафос борьбы был застенчивым и неловким. Самые слова "комитет", "партия" были еще новы, овеяны весенней свежестью и звучали в молодых ушах тревожной и заманчивой мелодией. Вступавший в организацию знал, что через несколько месяцев его ждут тюрьма, затем ссылка. Честолюбие состояло в том, чтоб продержаться как можно дольше на работе до ареста; твердо держать себя пред лицом жандармов; облегчить, сколько возможно, положение товарищей; прочитать в тюрьме как можно больше книг; бежать как можно скорее из ссылки за границу; набраться там мудрости и вернуться на революционную работу.

Профессиональные революционеры верили тому, чему учили; иных побуждений вступать на крестный путь у них быть не могло. Солидарность под преследованиями не была пустым словом и дополнялась презрением к малодушию и дезертирству. "Перебирая в своей памяти массу товарищей, с которыми приходилось сталкиваться, — пишет об одесском подполье за 1901–1907 годы Евгения Левицкая, — не припомню ни одного скверного, подлого поступка, обмана или лжи. Были трения, фракционные разногласия, но не больше. Все как-то нравственно подтягивались, делались лучше и мягче в этой дружеской семье". Одесса не составляла, конечно, исключения. Юноши и девушки, которые целиком отдавали себя движению, ничего не требуя взамен, не были худшими представителями своего поколения. Орден "профессиональных революционеров" мог без труда выдержать сравнение с любой другой группой общества.

Иосиф Джугашвили принадлежал к этому ордену и разделял многие его черты; многие, но не все. Цель своей жизни он видел в низвержении сильных мира сего. Ненависть к ним была неизмеримо активнее в его душе, чем симпатия к угнетенным. Тюрьма, ссылка, жертвы, лишения не страшили его. Он умел смотреть опасности в глаза. В то же время он остро ощущал такие свои черты, как медленность интеллекта, отсутствие таланта, общую

серость физического и нравственного облика. Его напряженное честолюбие было окрашено завистью и недоброжелательством. Его настойчивость шла об руку с мстительностью. Желтоватый отлив его глаз заставлял чутких людей настораживаться. Уже из школы он вынес способность подмечать слабые стороны людей и без жалости играть на них. Кавказская среда оказалась как нельзя более благоприятной для развития этих органических качеств его натуры. Не увлекаясь среди легко увлекающихся, не воспламеняясь среди воспламеняющихся, но и быстро остывающих, он рано понял выгоды холодной выдержки, осторожности и особенно хитрости, которая у него незаметно переходила в коварство. Нужны были только особые исторические обстоятельства, чтобы эти, по существу второстепенные качества получили первостепенное значение.

ПЕРВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Мы сделали выше предположение, что Коба примкнул к большевикам после ноябрьской конференции в Тифлисе, которая постановила принять участие в подготовке нового съезда. Мы приняли без сопротивления утверждение Берия, что в декабре Коба выехал в Баку для агитации за съезд. Это возможно: раскол налицо, большевистская фракция уже успела к этому времени обнаружить свои организационные преимущества, Кобе приходилось выбирать. Но если бы от нас потребовались доказательства того, что он действительно примкнул к большевикам в конце 1904 года, а не позже, мы оказались бы в затруднении. Берия приводит ряд большевистских прокламаций того периода, но нигде не говорит, что автором их был Коба. Это умолчание убедительнее всяких слов. Цитаты из написанных другими прокламаций имеют явной целью заполнить пробел в биографии Сталина.

Разногласия между меньшевиками и большевиками перешли, тем временем, из области устава партии в область революционной стратегии. Кампания земских и вообще либеральных банкетов, развернувшаяся осенью 1904 года при попустительстве растерянных властей, поставила вопрос ребром об отношении социал-демократии к оппозиционной буржуазии. План меньшевиков состоял в том, чтоб превратить рабочих в демократический хор при либеральных солистах, хор настолько тактичный и осторожный, чтобы "не отпугивать" либералов, наоборот, придать им веры в себя. Ленин немедленно перешел в наступление. Он высмеял самую идею плана: подменить революционную борьбу с царизмом дипломатической поддержкой бессильной оппозиции. Победа революции может быть обеспечена только натиском масс; поднять эти массы на ноги может только смелая социальная программа: но именно этого боятся либералы. "Мы были бы

глупцами, если бы сообразжались с их паникой". Небольшая брошюра Ленина, вышедшая в ноябре 1904 года, после длительного молчания, подняла дух его единомышленников и сыграла крупную роль в развитии тактических идей большевизма. Не эта ли брошюра привлекла Кобу? Мы не решаемся ответить утвердительно. Во всех тех случаях, где ему приходилось в позднейшие годы занимать самостоятельную позицию в вопросе о либералах, он неизменно сбивался на меньшевистскую идею "неотпугивания" (1917 г., Китай, Испания и пр.) . Вполне возможно, однако, что накануне первой революции плебейский демократ оказался искренно возмущен оппортунистическим планом, который вызвал большое недовольство даже среди рядовых меньшевиков. Нужно вообще сказать, что традиция презрительного отношения к либерализму не успела тогда еще выветриться в среде радикальной интеллигенции. Возможно, однако, что только Кровавое Воскресенье в Петербурге и последовавшая затем стачечная волна во всей стране толкнули осторожного и недоверчивого кавказца на путь большевизма. Веха этого поворота во всяком случае осталась неотмеченной в анналах истории.

Два старых большевика, Стопани и Леман, в тщательно разработанных воспоминаниях перечисляют тех революционеров, с которыми им приходилось иметь дело в конце 1904 и начале 1905 года в Баку и в Тифлисе: Кобы в этом списке нет. Леман приводит имена лиц, "стоящих во главе" Кавказского Союза: Коба в их число не входит. Стопани называет тех большевиков, которые совместно с меньшевиками руководили знаменитой бакинской стачкой в декабре 1904 года: имени Кобы снова нет. Между тем, Стопани должен знать, о чем пишет, ибо сам он входил в стачечный комитет. В комментариях к переписке Ленина и Крупской с кавказской организацией имя Сталина на протяжении 50 страниц ни разу не встречается. Нужно прибавить, что оба автора воспоминаний, напечатанных в официальном историческом журнале, принадлежат не к "врагам народа", а к сталинцам; но секрет в том, что работа их выполнена в 1925 году, когда фальсификации по заданной сверху программе не были возведены в систему. Таратута, бывший член большевистского ЦК, в статье, написанной в 1926 году и посвященной "кануну революции 1905 г. на Кавказе" — мы уже цитировали эту статью — также не называет имени Сталина. Ни в конце 1904 , ни в начале

1905 года нет никакой возможности открыть следы деятельности того, кого ныне изображают вождем кавказского большевизма.

Новейшие монотонные утверждения насчет непримиримой борьбы Сталина с меньшевиками в основе своей не противоречат нашему выводу. Передвинуть эту борьбу на два года вглубь не составляет большого труда, раз не приходится ссылаться на документы или опасаться опровержений. С другой стороны, можно считать несомненным, что раз сделав свой выбор Коба придал борьбе с меньшевиками наиболее резкий и грубый, ни перед чем не останавливающийся характер. Та склонность к закулисным ходам и интригам, в которой его обвиняли, когда он был участником семинарского кружка, пропагандистом тифлисского Комитета и членом батумской группы, нашла теперь более широкое и смелое выражение во фракционной борьбе.

Берия называет Тифлис, Батум, Чиатуры, Кутаис, Поти как те пункты, где Коба участвовал в прениях с Н. Жордания, И. Церетели, Н. Рамишвили и прочими вождями меньшевиков, а также анархистов и федералистов. Однако Берия тщательно и не случайно обходит вопрос о датах. Первое дискуссионное собрание, которое он определяет более точно, происходило в мае 1905 года. Точно так же обстоит дело и с печатными высказываниями Кобы. Первым большевистским произведением его является вышедшая в мае 1905 года маленькая брошюрка под странным заглавием "Вскользь о партийных разногласиях": Берия считает, что брошюрка была написана "в начале 1905 г.", и тем лишь ярче обнаруживает свое стремление сократить двухлетний пробел. Один из корреспондентов, видимо будущий Литвинов, не знавший по-грузински, сообщает за границу о выходе в Тифлисе брошюры, "которая произвела сенсацию". Объяснить "сенсацию" можно только тем, что грузинская аудитория слышала до сих пор только голос меньшевиков. По существу же брошюра представляет ученическое резюме работ Ленина. Не мудрено, если она никогда больше не перепечатывалась. Берия приводит из нее тщательно отобранные цитаты, которые легко объясняют, почему сам автор набросил на эту брошюру, как и на другие свои литературные работы того периода, покров забвения.

В августе 1905 года Сталин перелагает ту главу книги Ленина "Что делать?", которая пытается выяснить взаимоотношение

между стихийным рабочим движением и социалистическим сознанием. По изображению Ленина, рабочее движение, будучи предоставлено самому себе, неотвратимо влечется на путь оппортунизма; революционное сознание вносится в пролетариат извне марксистской интеллигенцией. Здесь не место для критики этой концепции, которая целиком относится к биографии Ленина, а не Сталина. Сам автор "Что делать?" впоследствии признал односторонность и тем самым неправильность своей теории, которую он эпизодически выдвинул как батарею в борьбе с "экономизмом" и его преклонением перед стихийностью рабочего движения. После разрыва с Лениным Плеханов выступил с запоздалой, но тем более суровой критикой "Что делать?". Вопрос о внесении в пролетариат революционного сознания "извне" снова приобрел актуальность. Центральный орган большевистской партии отметил в анонимной статье грузинской газеты "прекрасную постановку вопроса" о внесении сознания "извне". Эта похвала цитируется ныне как своего рода свидетельство теоретической зрелости Кобы. В действительности дело шло об одном из обычных поощрительных отзывов заграничного центра по адресу того или другого провинциального издания, когда оно вступалось за идеи или вождей своей фракции. О качестве статьи дает достаточное представление следующая цитата в переводе Берия: "Современная жизнь устроена капиталистически. Здесь существуют два больших класса: буржуазия и пролетариат, между ними борьба не на жизнь, а на смерть. Первого его жизненное положение вынуждает укреплять капиталистические порядки. Второго же то же положение вынуждает подорвать и уничтожить капиталистические порядки. Соответственно этим двум классам и сознание вырабатывается двоякое: буржуазное и социалистическое. Положению пролетариата соответствует сознание социалистическое... Но какое значение имеет одно социалистическое сознание, если оно не имеет распространения в пролетариате? Оно остается лишь пустой фразой и больше ничем! Совершенно подругому повернется дело, если это сознание найдет распространение в пролетариате: пролетариат осознает свое положение и ускоренным шагом устремится к социалистической жизни." и т.д. Подобные статьи спасены от заслуженного забвения только дальнейшей судьбой их автора. Но совершенно очевидно, что статьи сами по себе не объясняют этой судьбы, скорее делают ее более загадочной.

В течение всего 1905 года мы по-прежнему не находим Кобы в числе кавказских корреспондентов Ленина и Крупской. 8-го марта некто Тари сообщает им из Тифлиса отзыв некоторых кавказских меньшевиков: "Ленин понял время раньше других и лучше других". Тот же Тари пишет: "Ленина называют своего рода Базаровым среди этих Аркадиев Николаевичей". Дело идет о героях Тургенева: Базаров — тип практического реалиста, Аркадий Николаевич — идеалист и фразер. Под именем Тари редакция исторического журнала делает пометку: "автор неизвестен". Уже одна меткая литературная ссылка показывает, что Сталин не мог быть автором письма. За вторую половину 1905 года в статьях и письмах Ленина, опубликованных до сих пор, названо свыше 30 социал-демократов, работавших в России; из них 19 по возрасту ближе к Ленину, 12 — к Сталину. Самого Сталина в этой переписке нет, ни в качестве прямого участника, ни в качестве третьего лица. Мы можем, таким образом, твердо держаться уже сделанного нами заключения, что Сталин просто выдумал эпизод с получением им письма от Ленина в 1903 году.

После разрыва с редакцией "Искры" Ленин, которому было около 34 лет, пережил месяцы колебаний, вдвойне для него тяжелых, ибо несвойственных его характеру, прежде чем успел убедиться в сравнительной многочисленности своих приверженцев и в силе своего молодого авторитета. Успешная подготовка нового съезда обнаружила несомненный организационный перевес большевиков. Руководимый Красиным примиренческий Центральный Комитет капитулировал, в конце концов, перед "незаконным" Бюро комитетов большинства и примкнул к съезду, которого не сумел предотвратить. Так, собравшийся в апреле 1905 года в Лондоне Третий съезд, от которого меньшевики отстранились, ограничившись своей конференцией в Женеве, стал учредительным съездом большевизма. 24 делегата с решающими, 14 — с совещательными голосами, — все это были почти без исключения те большевики, которые пошли за Лениным с момента раскола на Втором съезде и сумели поднять комитеты партии против объединенного авторитета Плеханова, Аксельрода, Веры Засулич, Мартова и Потресова. На съезде был узаконен тот взгляд на движущие силы русской революции, который Ленин развил уже в прямой борьбе со своими бывши-

ми учителями и ближайшими сотрудниками по "Искре" и который получил отныне большее практическое значение, чем общая с меньшевиками официальная программа партии.

Несчастная и постыдная война с Японией ускоряла разложение режима. Поднявшись на первой могущественной волне стачек и манифестаций, Третий съезд отражал приближение революционной развязки. "Вся история последнего года показала, — говорил Ленин в своем докладе, — что мы недооценивали значение и неизбежность восстания". Съезд сделал решительный шаг вперед в аграрном вопросе, признав необходимость поддержки крестьянского движения, вплоть до конфискации помещичьих земель. Конкретнее установлена была общая перспектива борьбы и победы, в частности в вопросе о Временном Революционном Правительстве как организаторе гражданской войны. "Если мы бы даже завладели Петербургом и гильотинировали Николая, то имели бы перед собой несколько Вандей". Съезд смелее подошел к технической подготовке восстания. "По вопросу об образовнии особых боевых групп, — говорил Ленин, — я могу сказать, что считаю их необходимыми".

Но чем выше значение Третьего съезда, тем знаменательнее тот факт, что Коба на нем не присутствовал. К этому времени у него за спиной было около семи лет революционной работы, в том числе — тюрьма, ссылка, побег. Все это естественно должно было бы выдвинуть его кандидатуру в делегаты, если бы в рядах большевиков он действительно играл сколько-нибудь заметную роль. Коба оставался весь 1905 год на свободе; по утверждению Берия, он "принимал активнейшее участие в деле организации Третьего съезда большевиков". Если так, то он должен был бы непременно возглавить кавказскую делегацию. Почему же этого не произошло? Если бы болезнь или какая-нибудь другая исключительная причина помешала ему выехать за границу, официальные биографы, разумеется, не преминули бы сказать нам об этом. Их молчание может быть объяснено только тем, что в их распоряжении не оказалось никакого благовидного объяснения неучастия "вождя кавказских большевиков" в съезде исторической важности. Утверждение Берия об "активнейшем" участии Кобы в организации съезда есть одна из тех голых фраз, которыми полна официальная историография. В юбилейной статье, посвященной тридцатилетию Третьего съезда, хорошо

осведомленный О. Пятницкий решительно ничего не говорит об участии Сталина в подготовке съезда, а придворный историк Ярославский ограничивается пустой ссылкой на то, что работа Сталина на Кавказе "имела, несомненно, громадное значение" для съезда, но забывает указать, в чем именно это значение состояло. Между тем, из всего, что мы успели узнать до сих пор, положение выясняется полностью: после длительного выжидания Коба примкнул к большевизму лишь незадолго до съезда; он не принимал участия в кавказской ноябрьской конференции; не входил в созданное ею бюро и в качестве новичка, естественно, не мог претендовать на мандат. Делегация состояла из Каменева, Невского, Цхакая и Джапаридзе; они и возглавляли в тот период кавказский большевизм. Их дальнейшая судьба не безразлична для нашего повествования: Джапаридзе был расстрелян англичанами в 1918 году; Каменев расстрелян Сталиным; Невский им же объявлен "врагом народа" и исчез бесследно; уцелел лишь престарелый Цхакая, успевший пережить самого себя.

Централистические тенденции большевизма уже обнаружили на Третьем съезде и свою отрицательную сторону. В подполье успели сложиться "аппаратные" навыки. Наметился тип молодого бюрократа. Условия конспирации ставили, правда, формальной демократии (выборность, отчетность, контроль) весьма узкие пределы. Но несомненно, что комитетчики сужали эти пределы значительно больше, чем требовала необходимость, и предъявляли к революционным рабочим более строгие требования, чем к себе самим, предпочитая командовать и в тех случаях, когда нужно было внимательно прислушаться к массам. Крупская отмечает, что как в большевистских комитетах, так и на самом съезде, почти не было рабочих. Господствовали интеллигенты. "Комитетчик, — пишет Крупская, — был обычно человеком довольно самоуверенным; он видел, какое громадное влияние на массы имеет работа комитета; "комитетчик", как правило, никакого внутрипартийного демократизма не признавал; "комитетчик" всегда внутренне презирал немного "заграницу", которая с жиру бесится и склоки устраивает: "посадить бы их всех в русские условия"... Вместе с тем он не хотел новшеств. Приспособляться к быстро менявшимся условиям "комитетчик" не хотел и не умел". Эта осторожная, но очень мет-

кая характеристика Кобы, который был комитетчиком par excellence. Уже в 1901 году на заре своей революционной работы он отбивался в Тифлисе от притязания рабочих на участие в комитете. В качестве "практика", т.е. политического эмпирика, он безразлично, а позже презрительно относился к эмиграции, к "загранице". Лишенный, к тому же, личных качеств для непосредственного воздействия на массы он с удвоенной силой держался за аппарат. Осью мирозданья был для него комитет: тифлисский, бакинский, кавказский, прежде чем стал ею Центральный Комитет. Приверженность к партийной машине разовьется в нем впоследствии с чрезвычайной силой; комитетчик станет сверхаппаратчиком, "генеральным секретарем", персонификацией бюрократии и ее вождем.

Чрезвычайно соблазнительно сделать по этому поводу то заключение, что будущий сталинизм был уже заложен в большевистском централизме или, более общо, в подпольной иерархии профессиональных революционеров. Однако при прикосновении анализа этот вывод оказывается очень беден историческим содержанием. В строгом отборе передовых элементов и их сплочении в централизованную организацию есть, конечно, свои опасности, корни которых надо искать, однако, не в "принципе" централизма, а в неоднородности и отсталости трудящихся, т.е. в тех общих социальных условиях, которые как раз и делают необходимым централистическое руководство классом со стороны его авангарда. Ключ к динамической проблеме руководства – в детальных взаимоотношениях между аппаратом и партией, между авангардом и классом, между централизмом и демократией. Эти взаимоотношения не могут иметь априорно установленный и неизменный характер. Они зависят от конкретных исторических условий; их подвижное равновесие регулируется живой борьбой тенденций, которые, в лице крайних своих флангов, колеблются между аппаратным деспотизмом и импотентной расплывчатостью.

В брошюре "Наши политические задачи", написанной мною в 1904 г. и заключающей в себе немало незрелого и ошибочного в критике Ленина, есть, однако, страницы, дающие вполне правильную характеристику образа мыслей тогдашних "комитетчиков", которые "потеряли потребность опираться на рабочих после того, как нашли опору в "принципах" централизма". Та борьба, которую Ленину пришлось через год вести на съезде

против высокомерных "комитетчиков", целиком подтвердила правильность этой критики. "Дебаты принимают более страстный характер, — рассказывает Лядов, один из делегатов, —намечается определенная группировка на теоретиков и практиков, литераторов и комитетчиков... Особенно выдвигается во время этих споров сравнительно молодой еще работник Рыков, сумевший сгруппировать вокруг себя большинство комитетчиков". Симпатии Лядова на стороне последних. "Я не мог сидеть спокойно, — восклицает Ленин в заключительном слове, — когда говорили, что рабочих, годных в члены комитета, нет". Вспомним, как настойчиво Коба предлагал тифлисским рабочим признать, "положа руку на сердце", что среди них нет годных для посвящения в жреческое звание. "Вопрос оттягивается, — настаивал Ленин, — очевидно, в партии есть болезнь". Болезнь аппаратного высокомерия, начало бюрократизма.

Ленин лучше, чем кто-либо, понимал необходимость централизованной организации; но он видел в ней прежде всего рычаг для повышения активности передовых рабочих. Аппаратный фетишизм был ему не только чужд, но отвратителен. Он сразу подметил на съезде кастовую тенденцию комитетчиков и вступил с нею в страстную борьбу. "Горячился Владимир Ильич, — подтверждает Крупская, — горячились комитетчики". Победа осталась на этот раз за комитетчиками, вождем которых выступал Рыков, будущий преемник Ленина на посту председателя Совета Народных Комиссаров. Ленину так и не удалось провести резолюцию, обязывающую комитеты включать в свой состав большинство рабочих. Комитетчики решили, опять-таки против воли Ленина, подчинить заграничную редакцию контролю Центрального Комитета. Еще год тому назад Ленин скорее пошел бы на разрыв, чем согласился бы поставить направление партии в зависимость от подверженного провалам и потому неустойчивого по составу русского центра. Но сейчас он твердо рассчитывал на то, что последнее слово будет принадлежать ему. Окрепнув в борьбе против старых авторитетов, он чувствовал себя теперь гораздо увереннее, чем на Втором съезде, — и потому спокойнее. Если он, по словам Крупской, "нервничал" в прениях, вернее, проявлял горячность, то тем осторожнее он был в организационных шагах. Он не только молча принял поражение по двум чрезвычайно важным вопросам, но и содействовал вклю-

чению Рыкова в Центральный Комитет. Для него не могло быть сомнения в том, что революция, великая школа инициативы и самодеятельности масс, сумеет попутно и без труда разрушить молодой и неустойчивый еще консерватизм партийного аппарата.

В состав Центрального Комитета, кроме Ленина вошли: инженер Красин и естественник, врач и философ Богданов, оба ровесники Ленина; Постоловский, вскоре отошедший от партии, и Рыков. В качестве кандидатов были намечены: литератор Румянцев и два "практика": Гусев и Бур. Никто не подумал, разумеется, о включении Кобы в первый большевистский ЦК.

В 1934 г. съезд коммунистической партии Грузии возвестил, по докладу Берия, что "все, написанное до сих пор, не отражает подлинной , действительной роли т. Сталина, фактически руководившего на протяжении многих лет борьбой большевиков на Кавказе". Почему так случилось, съезд не объяснил. Но все прежние мемуаристы и историки подверглись осуждению; кое-кто из них попал позже под маузер. Решено было для исправления всех несправедливостей прошлого основать особый "Институт Сталина". С этого времени производится в широком масштабе чистка старых пергаментов, которые тут же покрываются новыми письменами. Никогда еще под небосводом не было такой грандиозной мануфактуры лжи. Тем не менее положение биографа не безнадежно. Истина вспыхивает не только из столкновения мнений, как говорят французы, но также из внутренних противоречий лжи.

"В период 1904–1907 г.г., — пишет Берия, — тов. Сталин, находясь у руля закавказских большевиков, ведет огромную теоретически-организационную работу". К сожалению, не так легко выяснить, в чем именно она состояла, и даже, где именно она развивалась. Выслушаем на этот счет прежде всего самого Сталина. "Я вспоминаю далее 1905–1907 г.г., — говорил он в своей уже цитированной автобиографической речи в Тифлисе в 1926 году, — когда я, по воле партии, был переброшен на работу в Баку. Два года революционной работы среди рабочих нефтяной промышленности закалили меня как практического борца и одного из практических руководителей... Там, в Баку, я получил, таким образом, второе свое боевое революционное крещение. Здесь я стал подмастерьем от революции"... Первое " боевое

крещение" он получил, как мы уже знаем, в Тифлисе, где он проходил стаж ученичества. "Мастером" ему предстоит стать в Петербурге в 1917 году.

Как нередко у Сталина, здесь ошибочна прежде всего хронология. По смыслу цитаты выходит, будто Коба провел годы первой революции в Баку, пролетарской крепости Кавказа. На самом деле это не так. Коба был арестован в Баку в марте 1908 г. Если принять слова Сталина на веру, то выходит, что он провел в Баку не два года, а свыше трех лет. Между тем в биографии, написанной одним из его собственных секретарей, сказано: "С 1907 г. начинается бакинский период революционной деятельности Сталина. Вернувшись с Лондонского съезда партии... Сталин оставляет Тифлис и обосновывается в Баку..." Лондонский съезд происходил в июне 1907 г.; Сталин мог, следовательно, перебраться в Баку не раньше июля-август, вернее всего, в связи со знаменитой тифлисской экспроприацией, о которой еще речь впереди. Если верить высокоофициальной биографии, то оказывается, что "бакинский период", который превратил Кобу из ученика в подмастерье, длился не три с лишним года, и даже не два, а всего шесть-семь месяцев. Противоречие на этот раз слишком велико. Попробуем проверить, какая из двух версий, исходящих из одного и того же источника, ближе к истине.

"Большевистские газеты того времени в Тифлисе, — говорит Енукидзе о периоде первой революции, — главным образом держались на Сталине". Коба не мог, следовательно, жить вне Тифлиса. 12-го июня 1905 г. он принимает участие в похоронах в местечке Хони уже знакомого нам революционера Цулукидзе, скончавшегося от туберкулеза в возрасте 29 лет. Берия сообщает, по этому случаю, что на похоронах присутствовало "свыше 10 000 человек" и что "тов. Сталин выступил с блестящей речью". Толпа была, вероятно, менее многочисленной, так как в Хони не насчитывалось и 3½ тысяч жителей. Не легко также представить себе Сталина произносящим "блестящую речь". Во всяком случае он находился в середине 1905 г. не в Баку, а в сердце Грузии. В воспоминаниях большевика Голубева упоминается, правда, что летом 1905 г. в Баку "приезжал член ЦК тов. Коба". Членом ЦК Коба стал на самом деле только через семь лет. Если упоминание об эпизодическом приезде правильно, то оно подтверждает, что Коба жил не в Баку. Официальная

биография прямо утверждает, что "Октябрьский манифест 1905 года застает Сталина в Тифлисе". Сам Берия свидетельствует, что в ноябре и декабре Коба редактировал в Тифлисе "Кавказский рабочий листок". В конце 1905 г. он писал прокламации для Тифлисского комитета. После декабрьского поражения он продолжал оставаться в Тифлисе. В апреле 1906 г. он представлял тифлисских большевиков на партийном съезде в Стокгольме. В июне и июле 1906 г. в Тифлисе снова возникает легальная газета на грузинском языке "под руководством т. Сталина". Орджоникидзе, будущий глава тяжелой промышленности, впервые познакомился со Сталиным в 1906 году в Тифлисе, в редакции большевистской газеты "Дро" (Время). Сомнениям нет места: период первой революции Коба полностью провел не в Баку, где рабочее движение переживало тем временем тяжелый кризис в результате армяно-татарской резни, а в Тифлисе, который Коба позже сам характеризовал как застойное меньшевистское болото.

Что же представляла собой в год революции тифлисская организация Кобы? На этот счет у нас есть непререкаемое свидетельство, одним ударом сметающее все легенды. В ленинском "Пролетарии" напечатан в августе официальный "отчет о деятельности большевиков Тифлиса в 1905 году". Цитируем дословно: "Тифлис, 1-го июля. Недель пять тому назад здесь совсем не было организации "большинства", были отдельные лица, кучки, но этим все и ограничивалось. Наконец, состоялось в начале июля общее собрание всех разрозненных элементов... Начался период собирания, в котором мы пока еще находимся. Отношение массы к нам переменилось. Из резко враждебного оно превратилось в колеблющееся... Комитет думает выпускать раз в неделю листки пропагандистского характера". Такова удручающая картина, нарисованная самими тифлисскими большевиками, может быть, даже при участии Кобы, который в июле 1905 г. не мог оставаться в стороне от начавшегося строительства большевистской организации.

Коба вернулся из ссылки в Тифлис в феврале 1904 г., причем неизменно и победоносно "руководил работой большевиков". За вычетом коротких отлучек он провел в Тифлисе большую часть 1904—5 годов. Рабочие говорили, по словам новейших воспоминаний: "Коба сдирает шкуру с меньшевиков". Между тем

оказывается, что грузинские меньшевики почти не пострадали от этой хирургической операции. Лишь во второй половине 1905 г. разрозненные тифлисские большевики вступили в "период собирания" и "думали" выпускать листки. В какой же организации участвовал Коба в 1904 г. и в первой половине 1905 г.? Если он не стоял вообще в стороне от рабочего движения, что невероятно, то он не мог, вопреки всему, что мы слышали от Берия, не принадлежать к организации меньшевиков. К началу 1906 г. число сторонников Ленина возросло в Тифлисе до 300. Меньшевиков насчитывалось около 3 000. Уже одно соотношение сил обрекало Кобу на литературную оппозицию в самый разгар революционных событий.

"Два года (1905—1907) революционной работы среди рабочих нефтяной промышленности, — заверял Сталин, — закалили меня". Совершенно невозможно допустить, что в тщательно проредактировнном изложении собственной речи оратор просто перепутал, где именно он провел год революционного крещения народа, как и следующий, 1906 год, когда вся страна еще содрогалась в конвульсиях и жила ожиданием развязки. Таких вещей не забывают! Нельзя отделаться от впечатления, что Сталин сознательно обошел первую революцию, о которой ему попросту нечего было сказать. Так как Баку создавал более героический фон, чем Тифлис, то он ретроспективно переселил себя в Баку на 2½ года раньше, чем следовало. Опасаться возражений со стороны советских историков ему не приходилось. Но все же остается во всей силе вопрос: что собственно делал Коба в 1905 г.?

Год революции открылся расстрелом петербургских рабочих, шедших с петицией к царю. Написанное Кобой воззвание по поводу событий 9-го января увенчивается призывом: "Протянем друг другу руки и сплотимся вокруг партийных комитетов. Мы не должны забывать ни на минуту, что только партийные комитеты могут достойным образом руководить нами, только они осветят нам путь в обетованную землю..." и пр. Какой убежденный голос "комитетчика"! В эти самые дни, а может, и часы, в далекой Женеве Ленин вписывал в статью одного из своих сотрудников следующий призыв к поднимающимся массам: "Дайте волю гневу и ненависти, которые накопились в ваших сердцах за столетия эксплуатации, страданий и горя!" В этой

фразе весь Ленин. Он ненавидит и восстает вместе с массами, чувствует революцию в своих костях и не требует от восставших, чтоб они действовали только с разрешения "комитетов". Нельзя в более лапидарной форме выразить контраст между двумя этими натурами в их отношении как раз к тому, что политически объединяло их, именно к революции!

Через пять месяцев после Третьего съезда, в котором для Кобы не нашлось места, началось строительство Советов. Инициатива принадлежала меньшевикам, которым, однако, и во сне не снилось, к чему приведет дело их рук. Меньшевистские фракции в советах господствовали. Революционные события увлекли рядовых меньшевиков; верхи растерянно наблюдали резкий загиб собственной фракции влево. Петербургский комитет большевиков испугался вначале такого новшества, как беспартийное представительство борющихся масс, и не нашел ничего лучшего, как предъявить Совету ультиматум: немедленно принять социал-демократическую программу или распуститься. Совет, включая и рабочих-большевиков, прошел мимо ультиматума, не моргнув глазом. Только после приезда Ленина, в ноябре, произошел радикальный поворот в политике "комитетчиков" по отношению к совету. Однако первоначальная ложная установка не могла не ослабить позицию большевиков. Провинция следовала и в этом вопросе за столицей. Глубокие разногласия в оценке исторического значения советов начались уже с этого времени. Меньшевики пытались видеть в них лишь эпизодическую форму рабочего представительства, "пролетарский парламент", "орган революционного самоуправления" и пр. Все это было крайне неопределенно. Ленин, наоборот, умел глубоко подслушать петербургские массы, которые называли совет "пролетарским правительством", и сразу оценил эту новую форму организации как рычаг борьбы за власть.

В скудных по форме и содержанию писаниях Кобы за 1905 г. мы решительно ничего не найдем о советах и не только потому, что в Грузии их не было: он вообще не понял их значения, не обратил на них внимания, прошел мимо них. Не поразительно ли? В качестве могущественного аппарата советы должны были бы, на первый взгляд, импонировать будущему "генеральному секретарю". Но это был в его глазах *чужой* аппарат, непосредственно представлявший загадочную массу. Совет не подчинялся

дисциплине комитета и требовал более сложных и гибких приемов руководства. Совет выступал, в известном смысле, могущественным конкурентом комитета. Так, в революции 1905 г. Коба стоял к советам спиной. В сущности он стоял спиной к самой революции, как бы обидевшись на нее.

Причина обиды была в том, что он не знал, как подойти к революции. Московские биографы и художники пытаются изобразить Кобу во главе манифестаций "как мишень", как пламенного оратора, как трибуна. Все это неправда. Сталин и в более поздние годы не стал оратором; "пламенных" речей от него никто не слыхал. В течение 1917 года, когда все агитаторы партии, начиная с Ленина, ходили с сорванными голосами, Сталин вообще не выступал на народных собраниях. Не иначе могло обстоять дело и в 1905 году. Коба не был оратором даже в том скромном масштабе, в каком ораторами были другие молодые кавказские революционеры, Кнунианц, Зубаров, Каменев, Церетели. Он мог не без успеха изложить в закрытом собрании партии мысли, которые он твердо усвоил. Но в нем не было ни одной жилки агитатора. Он с трудом выжимал из себя фразы без колорита, без теплоты, без ударения. Органическая слабость его натуры, оборотная сторона его силы, заключалась в полной неспособности зажечься, подняться над уровнем будней, создать живую связь между собой и аудиторией, пробудить в ней лучшую часть ее самой. Не загораясь сам, он не мог зажечь других. Холодной злобы недостаточно, чтоб овладеть душой масс.

1905-ый год всем развязал уста. Страна, которая молчала тысячу лет, впервые заговорила. Всякий, кто способен был членораздельно выразить свою ненависть к бюрократии и царю, находил неутомимых и благодарных слушателей. Пробовал себя, вероятно, и Коба. Но сравнение с другими импровизированными ораторами на глазах масс оказалось слишком невыгодно. Этого он не мог снести. Грубый в отношении к другим, Коба, в то же время, крайне обидчив и, как это ни неожиданно, капризен. Его реакции примитивны. Почувствовав себя обойденным, он склонен поворачиваться спиной к людям, как и к событиям, забиваться в угол, угрюмо сосать трубку и мечтать о реванше. Так, он в 1905 г. отошел с затаенной обидой в тень и стал чем-то вроде редактора.

Коба не был, однако, журналистом по натуре. Его мысль слишком медленна, ассоциации слишком однообразны, стиль

слишком неповоротлив и скуден. Недающуюся силу выражения он заменяет грубостью. Ни одна из его тогдашних статей не была бы принята сколько-нибудь внимательной и требовательной редакцией. Правда, в большинстве своем подпольные издания не отличались высокими литературными качествами, так как редактировались обычно людьми, бравшимися за перо не по призванию, а по необходимости. Коба, во всяком случае, не поднимался над этим уровнем. В его писаниях заметно, пожалуй, стремление к более систематическому изложению темы; но оно выражается главным образом в схоластическом расположении материала, в нумерации аргументов, в искусственных риторических вопросах и в тяжеловесных повторениях проповеднического типа. Отсутствие собственной мысли, оригинальной формы, живого образа отмечает каждую его стрку печатью банальности. Автор никогда не высказывает свободно свои мысли, он неуверенно перелагает чужие. Слово "неуверенно" может показаться неожиданным в применении к Сталину; тем не менее оно полностью характеризует его нащупывающую манеру как писателя, начиная с кавказского периода и до сегодняшнего дня.

Было бы, однако, неправильно думать, что подобные статьи не оказывали действия. Они были необходимы, ибо отвечали спросу. Их сила состояла в том, что они выражали идеи и лозунги революции; для массового читателя они были новы и свежи; из буржуазной печати этому научиться нельзя было. Но кратковременное действие их ограничивалось тем кругом, для которого они были написаны. Сейчас невозможно без чувства стеснения, досады, иногда непроизвольного смеха читать эти сухо, нескладно, не всегда грамотно построенные фразы, неожиданно украшенные бумажными цветами риторики. Никто в партии не считал Кобу журналистом. В первой легальной ежедневной большевистской газете "Новая Жизнь", возникшей в октябре 1905 г. в Петербурге под руководством Ленина, принимали участие все большевистские литераторы, большие и малые, столичные и провинциальные. Имени Сталина в их списке нет. С Кавказа для участия в газете вызван был не он, а Каменев. Коба не был рожден писателем и не стал им. Если он в 1905 г. более усердно взялся за перо, то только потому, что другой способ общения с массами был ему еще менее свойственен.

Период нескончаемых митингов, бурных стачек, уличных манифестаций сразу перерастает многих комитетчиков. Револю-

ционерам приходится говорить на площади, писать на колене, спешно принимать ответственные решения. Ни то, ни другое, ни третье не дано Сталину: его голос слаб, как и воображение; дар импровизации чужд его осторожной мысли, предпочитающей двигаться ощупью. Более яркие фигуры оттесняют его даже на кавказской арене. За революцией он следит с ревнивой тревогой и почти с неприязнью: это не его стихия. "Он все время, — пишет Енукидзе, — кроме собраний и занятий в ячейках, просиживал в маленькой комнате, заваленной книгами и газетами или в такой же "просторной" редакции большевистской газеты". Надо на минуту представить себе патетический водоворот "сумасшедшего года", чтоб оценить как следует этот образ одинокого молодого честолюбца, затаившегося в маленькой и, надо думать, не очень опрятной комнате, с пером в руках, в погоне за недающейся фразой, которая была бы хоть сколько-нибудь созвучна эпохе.

События нагромождались на события. Коба оставался в стороне, недовольный всеми и самим собой. Все видные большевики, в том числе и те из них, которые вели в те годы руководящую работу на Кавказе — Красин, Посталовский, Стопани, Леман, Гальперин, Каменев, Таратута и др. — прошли мимо Сталина, не упоминают о нем в своих воспоминаниях, и сам он ничего не говорит о них. Некоторые из них, как Курнатовский или Каменев, несомненно соприкасались с ним в работе. Другие, может быть, встречались, но не выделяли его из остальных "комитетчиков". Никто из них не отметил его словом признания или симпатии и не дал будущим официальным биографам возможности опереться на сочувственный отзыв.

Официальная комиссия по истории партии выпустила в 1926 г. переработанное, т.е. приспособленное к новым, послеленинским веяниям издание матералов, посвященных 1905 году. На сотню с лишним документов приходится около 30 статей Ленина; столько же примерно статей разных других авторов. Несмотря на то, что борьба с троцкизмом уже приблизалась к пароксизму, правоверная редакция не могла не включить в сборник четыре статьи Троцкого. Зато на протяжении 455 страниц нет ни одной строки Сталина. В алфавитном указателе, охватывающем несколько сот имен, в том числе всех сколько-нибудь видных участников революционного года, имя Сталина не названо ни разу; упомянуто лишь имя Ивановича как участ-

ника Таммерфорской конференции партии (декабрь 1905 г.). Замечательно, однако, что в 1926 г. редакция не знала еще, что Иванович и Сталин — одно и то же лицо. Эти нелицеприятные детали убедительнее всех ретроспективных панегириков.

Сталин остается как бы вне 1905 г. Его "ученичество" падает на предреволюционные годы, которые он провел в Тифлисе и Батуме, затем в тюрьме и ссылке. "Подмастерьем" он стал, по собственным словам, в Баку, т.е. в 1907—1908 г.г. Период первой революции совсем выпадает из процесса подготовки будущего "мастера". Рассказывая о себе, Сталин проходит, точно мимо пустого места, мимо того великого года, который выдвинул и сформировал всех наиболее выдающихся революционеров старшего поколения. Запомним твердо этот факт, он не случаен. 1917 год пойдет в эту биографию почти таким же туманным пятном, как и 1905. Мы снова застанем Кобу, уже ставшего Сталиным, в скромной редакции петербургской "Правды", где он будет не спеша писать тусклые комментарии к ярким событиям. Свойства этого революционера таковы, что подлинное восстание масс каждый раз выбивает его из колеи и оттесняет в сторону. Каждая новая революция в дальнейшем — в Германии, в Китае, в Испании — будет неизменно застигать его врасплох. Он рожден для аппарата, а не для руководства непосредственным творчеством масс. Между тем революция ломает привычные аппараты и воздвигает новые, гораздо менее покорные. Она основана на импровизации, смелой инициативе, вдохновении масс и требует тех же качеств от своих вождей. Все это недоступно Кобе. Он не был трибуном, стратегом или вождем восстания. Он был бюрократом революции и потому для обнаружения своих качеств осужден был полупассивно ждать, пока неистовые воды войдут в берега.

Разделение на "большинство" и "меньшинство" закрепилось на Третьем съезде, который объявил меньшевиков "отколовшейся частью партии". Революционные события осени 1905 г., застигшие партию в состоянии полного раскола, сразу смягчили своим благотворным давлением борьбу фракций. Готовясь в октябре к отъезду из Швейцарии в Россию, Ленин пишет Плеханову горячее примирительное письмо, в котором называет старшего противника "лучшей силой русских социал-демокра-

тов" и призывает его к совместной работе. "А тактические разногласия наши революция сама сметает с поразительной быстротой"... Это было верно, но ненадолго, ибо и сама революция продержалась недолго.

На первых порах меньшевики, несомненно, проявили больше находчивости в деле создания и использования массовых организаций; но как политическая партия они плыли по течению, захлебываясь в нем. Наоборот, большевики медленнее приспособлялись к размаху движения; зато они оплодотворяли его отчетливыми лозунгами, вытекавшими из реалистической оценки сил революции. В Советах преобладали меньшевики; но общее направление политики Советов шло, в общем, по линии большевизма. В качестве оппортунистов меньшевики сумели на время приспособиться даже к революционному подъему; но они не были способны ни руководить им, ни сохранить верность его задачам во время отлива.

После Октябрьской всеобщей стачки, которая вырвала у царя конституционный манифест и породила в рабочих кварталах атмосферу оптимизма и дерзания, объединительные тенденции приняли в обеих фракциях непреодолимую силу. На местах создаются федеративные или объединенные комитеты большевиков и меньшевиков. Вожди следуют за течением. Для подготовки полного слияния каждая фракция созывает свою предварительную конференцию. Меньшевистская заседает в конце ноября в Петербурге, где еще царят "свободы"; большевистская в декабре, когда реакция уже перешла в наступление, вынуждена собраться в Таммерфорсе, в Финляндии.

Первоначально большевистская конференция задумана была как экстренный съезд партии. Однако железнородожная забастовка, восстание в Москве и ряд экстраординарных событий в провинции задержали на месте многих делегатов, так что представительство оказалось крайне неполным. Прибыли от 26 организаций 41 делегат, выбранный примерно 4 тыс. голосов. Цифра кажется ничтожной для революционной партии, собиравшейся опрокинуть царизм и занять место в революционном правительстве. Но эти четыре тысячи уже научились выражать волю сотен тысяч. Решено было съезд, за малочисленностью, превратить в конференцию. Коба, под именем Ивановича, и рабочий Телия прибыли как представители закавказских большевистских орга-

низаций. Горячие события, которые разыгрывались в те дни в Тифлисе, не помешали Кобе покинуть свою редакцию.

Протоколы таммерфорских прений, развертывавшихся под канонаду в Москве, не найдены до сих пор. Память участников, придавленная грандиозностью тогдашних событий, удержала немногое. "Как жаль, что не сохранились протоколы этой конференции, — писала Крупская тридцать лет спустя. — С каким подъемом она прошла! Это был самый разгар революции, каждый товарищ был охвачен энтузиазмом к бою. В перерывах учились стрелять... Вряд ли кто из бывших на этой конференции делегатов забыл о ней. Там были Лозовский, Баранский, Ярославский, многие другие. Мне запомнились эти товарищи потому, что уж больно интересны были их доклады с мест". Ивановича Крупская не называет: он ей не запомнился. В воспоминаниях Горева, члена президиума конференции, читаем: "...в числе делегатов были Свердлов, Лозовский, Сталин, Невский и другие". Не лишен интереса порядок имен. Известно еще, что Иванович, выступавший за бойкот выборов в Государственную Думу, был выбран в комиссию, посвященную этому вопросу.

Волны прибоя били еще так высоко, что даже меньшевики, напуганные своими недавними оппортунистическими ошибками, не решались вступить обеими ногами на зыбкую доску парламентаризма. Они предлагали, в интересах агитации, участвовать лишь в первоначальной стадии выборов, но в Думу не входить. Среди большевиков преобладало насторение в пользу "активного бойкота". О позиции Ленина в те дни рассказал по-своему Сталин на скромном праздновании 50-тилетнего юбилея Ленина в 1920 г.: "Мне вспоминается, как Ленин, этот великан, дважды признался в промахах, им допущенных. Первый эпизод — в Финляндии в 1905 году, в декабре, на общероссийской большевистской конференции. Тогда стоял вопрос о бойкоте Виттевской думы... Открылись прения, повели атаку провинциалы, сибиряки, кавказцы, и каково же было наше удивление, когда в конце наших речей Ленин выступает и заявляет, что он был сторонником участия в выборах, но теперь он видит, что ошибался и примыкает к фракции. Мы были поражены. Это призвело впечатление электрического удара. Мы ему устроили грандиозную овацию". Ни у кого другого нет упоминания об этом "электрическом ударе", как и о "грандиозной овации",

устроенной 50-ю парами рук. Возможно, однако, что Сталин передает эпизод, в основном, правильно. "Твердокаменность" большевиков в те времена еще не сочеталась с тактической гибкостью, особенно у "практиков", лишенных подготовки и кругозора. Сам Ленин мог колебаться; напор провинции мог показаться ему напором самой революционной стихии. Так или иначе, конференция постановила: "Стремиться сорвать эту полицейскую Думу, отвергая всякое участие в ней". Странно только, что Сталин в 1920 г. продолжал видеть "промах" Ленина в его первоначальной готовности принять участие в выборах; сам Ленин давно уже успел к тому времени ошибкой признать свою уступку в пользу бойкота.

Об участии Ивановича в прениях по вопросу о Думе имеется красочный, но, видимо, целиком вымышленный рассказ некого Дмитриевского. "Сталин волновался вначале. В первый раз он выступал перед собранием руководящей группы партии. В первый раз он говорил перед Лениным. Но Ленин смотрел на него заинтересованными глазами, одобрительно покачивая головой Голос Сталина креп. Он кончил при всеобщем одобрении. Его точка зрения была принята". Откуда эти сведения у автора, который не имел к конференции никакого отношения? Дмитриевский — бывший советский дипломат, шовинист и антисемит, временно присоединившийся к сталинской фракции в период ее борьбы против троцкизма, затем перебежавший за границей на сторону правого крыла белой эмиграции. Замечательно, что и в качестве открытого фашиста Дмитриевский продолжает высоко ставить Сталина, ненавидеть его противников и повторять все кремлевские легенды. Послушаем, однако, его рассказ дальше. После заседания, посвященного бойкоту Думы, Ленин и Сталин "вышли вместе из Народного Дома, где происходила конференция. Было холодно. Дул резкий ветер. Но они долго ходили по улицам Таммерфорса. Ленина интересовал этот человек, о котором он уже слышал как об одном из самых решительных и твердых революционеров Закавказья. Он хотел присмотреться к нему ближе. Он долго и внимательно расспрашивал его о его работе, о жизни, о людях, с которыми он встречался, о книгах, какие он читал. Время от времени Ленин бросал короткие замечания... и их тон был довольный, удовлетворенный. Этот человек был именно того типа, что нужен ему". В Таммерфорсе Дмитриев-

ский не был, разговоров Ленина со Сталиным на улице ночью подслушать не мог, на самого Сталина, с которым он, как видно из книги, никогда не беседовал, не ссылается. Между тем в его рассказе чувствуется нечто живое и... знакомое. После некоторых усилий памяти я сообразил, что Дмитриевский просто приспособляет к финляндскому климату мой рассказ о первой моей встрече с Лениным и о прогулке с ним по улицам Лондона осенью 1902 года. Фольклор богат перенесением ярких эпизодов с одного мифологического лица на другое. Бюрократическое мифотворчество соблюдает те же приемы.

Кобе ровно 26 лет. Он впервые пробивает провинциальную скорлупу и вступает на арену партии. Его появление остается, правда, малозамеченным. Пройдет еще почти семь лет прежде, чем он будет включен в Центральный Комитет. Но все же Таммерфорская конференция составляет важную веху в его жизни. Он посещает Петербург, знакомится со штабом партии, присматривается к ее механизму, сравнивает себя с другими делегатами, участвует в прениях, избирается в комиссию и, как сказано в официальной биографии, "окончательно связывается с Лениным". К сожалению, обо всем этом мы знаем очень мало.

О первой встрече своей с Лениным Сталин сам рассказал, правда, 28 января 1924 г., через неделю после смерти Ленина, на траурном вечере красных юнкеров Кремля. Насквозь условный и ходульный рассказ его мало дает для освещения самой встречи. Но он настолько характерен для рассказчика, что должен быть приведен целиком. "Впервые я встретился с тов. Лениным в декабре 1905 г. на конференции большевиков в Таммерфорсе (в Финляндии), — так начал Сталин. — Я надеялся увидеть горного орла нашей партии, великого человека, великого не только политически, но, если угодно, и физически, ибо тов. Ленин рисовался в моем воображении в виде великана, статного и представительного. Каково же было мое разочарование, когда я увидел самого обыкновенного, ниже среднего роста, ничем, буквально ничем не отличающегося от обыкновенных смертных..." Прервем на минуту. За мнимой наивностью этих образов, которые "горного орла" рисуют в виде "великана", скрывалась хитрость на службе личного расчета. Сталин говорил будущим офицерам Красной армии: "Пусть вас не обманывает моя серая фигура; Ленин *тоже* не отличался ни ростом,

ни статностью, ни крастотой". Доверенные агенты среди курсантов расшифровывали затем с необходимой откровенностью эти намеки.

Сталин продолжал: "Принято, что "великий человек" обычно должен запаздывать на собрание с тем, чтобы члены собрания с замиранием сердца ждали его появления, причем перед появлением великого человека члены собрания предупреждают: "тсс... тише... он идет". Эта обрядность казалась мне не лишней, ибо она импонирует, внушает уважение. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что Ленин явился на собрание раньше делегатов и, забившись где-то в углу, по-простецки ведет беседу с самыми обыкновенными делегатами конференции. Не скрою, что это показалось мне тогда некоторым нарушением некоторых необходимых правил. Только впоследствии я понял, что эта простота и скромность тов. Ленина, это стремление остаться незаметным или, во всяком случае, не бросаться в глаза и не подчеркивать свое высокое положение, — эта черта представляет одну из самых сильных сторон тов. Ленина как нового вождя новых масс, простых и обыкновенных масс, глубочайших "низов человечества". Это вульгарное противопоставление построено на тщательно обдуманной неправде. Коба вряд ли имел много случаев изучить до 1905 г. правила встречи "великих людей" в Тифлисе или Батуме. В эпоху подпольного существования партии вообще не могло быть еще никаких эффектных появлений "вождей", трепетных возгласов и прочих торжественных обрядностей. Меньше всего мог ждать их Сталин на тесной конференции верхов партии. Когда он с показным добродушием кается в том, что торжественная обрядность "казалась ему не лишней", то он хочет просто этой мнимой чистосердечностью завоевать доверие слушателей к своему рассказу. Между тем явная фальшь состояла в том, что Сталин умышленно переносил в прошлое нравы новой, советской эпохи, когда овации по адресу популярных вождей — без всякой подготовки и без всякой "обрядности" — принимали нередко очень бурные формы. От таких приветствий не мог уклониться и Ленин; вернее сказать, Ленин весьма тяготившийся ими, мог уклониться от них меньше, чем кто-либо другой. Сталин еще совсем не знал в это время "оваций"; его появление на трибуне проходило совершенно незамеченным. И вовсе не потому, что он сам стремился "не

бросаться в глаза". Наоборот, как раз его речь о Ленине показывает, насколько он остро воспринимал свою чуждость массам. Именно поэтому он пытается в смешном виде изобразить популярность других советских вождей и, прячась за фигуру Ленина, отождествить отсутствие популярности с отсутствием интереса к ней. Если принять во внимание, что Сталин делал свой доклад военным курсантам Кремля, то нетрудно понять против кого, в первую голову, было направлено его словесное маневрированье.

"Замечательны были, — продолжает Сталин, — две речи тов. Ленина, произнесенные на этой конференции: о текущем моменте и об аграрном вопросе. Они, к сожалению, не сохранились. Это были вдохновенные речи, приведшие в бурный восторг всю конференцию. Необычайная сила убеждения, простота и ясность аргументации, короткие и всем понятные фразы, отсутствие рисовки, отсутствие головокружительных жестов и эффектных фраз, бьющих на впечатление, — все это выгодно отличало речи тов. Ленина от речей обычных "парламентских" ораторов. Но меня пленила тогда не эта сторона речей тов. Ленина. Меня пленила та непреодолимая сила логики в речах тов. Ленина, которая несколько сухо, но зато основательно овладевает аудиторией, постепенно электризует ее и потом берет ее в плен, как говорят, без остатка. Я помню, как говорили тогда многие из делегатов: "Логика в речах тов. Ленина — это какие-то всесильные щупальца, которые охватывают тебя со всех сторон клещами и из объятий которых нет мочи вырваться: либо сдавайся, либо решайся на полный провал". Я думаю, что эта особенность в речах тов. Ленина является самой сильной стороной его ораторского искусства". И здесь Сталин не столько говорит о Ленине, сколько пытается примирить аудиторию с собой самим как оратором. Он стремится внушить молодым слушателям, что хорошие ораторы годятся только для буржуазного парламента; тогда как высокая сила убеждения свойственна только тому, кто не умеет говорить. Замечательна в своем роде характеристика ленинского ораторского искусства: "вдохновенная речь", которая "несколько сухо" овладевает аудиторией, "электризует" ее и потом "берет в плен" при помощи "всесильных щупальцев, которые охватывают со всех сторон клещами"! Если эти тщательно обдуманные, повторяем, строки дают весьма отдаленное представление о Ленине как ораторе, зато они очень выразительно характеризуют человека и оратора Сталина.

Объединительный съезд удалось созвать только в апреле 1906 года в Стокгольме. К этому времени петербургский совет был арестован, московское восстание раздавлено, каток репрессий прошелся по всей стране. Меньшевики шарахнулись вправо. Плеханов выразил их настроение крылатой фразой: "Не надо было браться за оружие". Большевики продолжали держать курс на восстание. На костях революции царь созывал первую Думу, в которой уже с начала выборов явно обнаружилась победа либералов над откровенной монархической реакцией. Меньшевики, еще несколько недель тому назад стоявшие за полубойкот Думы, перенесли теперь свои надежды с революционной борьбы на конституционные завоевания. Поддержать либералов казалось им в момент Стокгольмского съезда важнейшей задачей социал-демократии. Большевики ждали дальнейшего развития крестьянских восстаний, которые должны были возродить наступательную борьбу пролетариата и смести царскую Думу. В противовес меньшевикам они продолжали стоять за бойкот. Как всегда после поражения, разногласия сразу приняли острый характер. Объединительный съезд открывался при дурных предзнаменованиях.

Делегатов с решающими голосами числилось на съезде 113, в том числе 62 меньшевика, 46 большевиков. Так как каждый делегат представлял, в принципе, 300 организованных социал-демократов, то на долю всей партии можно принять около 34 тысяч членов, в том числе 19 тысяч меньшевиков, 14 тысяч большевиков. Цифры эти в силу законов избирательной конкуренции несомненно преувеличены, притом значительно. Во всяком случае к моменту съезда партия уже не росла, а сжималась. Из 113 делегатов на долю Тифлиса приходилось одиннадцать. Из этих одиннадцати десять было меньшевиков, один — большевик. Этот единственный большевик был Коба, под псевдонимом Иванович. Соотношение сил говорит здесь точным языком арифметики. Берия утверждает, что "под руководством Сталина" кавказские большевики изолировали меньшевиков от масс. Цифры не подтверждают этого. Тесно сплоченные кавказские меньшевики играли крупнейшую роль в своей фракции.

Участие Ивановича в работах съезда было довольно активным и запечатлено в протоколах. Однако, если бы не знать, что Иванович есть Сталин, никто при чтении протоколов не обратил бы

внимания на его речи и реплики. Еще десять лет тому назад никто этих речей не цитировал, и даже партийные историки не отмечали того обстоятельства, что Иванович и генеральный секретарь партии — одно и то же лицо. Ивановича включили в одну из технических комиссий, которая должна была выяснить, как выбирались делегаты на съезд. При всей своей незначительности это избрание симптоматично: в сфере аппаратной механики Коба был вполне на месте. Попутно меньшевики дважды обвиняли его в ложной передаче фактов. Никто не поручится за беспристрастие самих обвинителей. Но нельзя не отметить снова, что подобные инциденты всегда вращаются вокруг имени Кобы.

В центре работ съезда стоял аграрный вопрос. Крестьянское движение застигло партию, в сущности, врасплох. Старая аграрная программа, почти не посягавшая на крупное землевладение, потерпела крушение. Конфискация помещичьих земель стала неизбежностью. Меньшевики отстаивали программу "муниципализации", т.е. передачи земли в руки демократических органов местного самоуправления. Ленин стоял за национализацию при условии полного перехода власти к народу. Плеханов, главный теоретик меньшевизма, рекомендовал не доверять будущей центральной власти и не вооружать ее земельным фондом страны. "Та республика, — говорил он, — о которой мечтает Ленин, будучи установлена, не сохранится вечно. Мы не можем рассчитывать, что в России в ближайшее время установится такой же демократический строй, как в Швейцарии, в Англии и Соединенных Штатах. При возможности реставрации национализация опасна..." Так осторожны и скромны были перспективы основоположника русского марксизма! Передача земли в руки государства была бы, по его мнению, допустима лишь в том случае , если само государство принадлежало рабочим. "...Захват власти обязателен для нас, — говорил Плеханов, — когда мы делаем пролетарскую революцию. А так как предстоящая нам теперь революция может быть только мелкобуржуазной, то мы обязаны отказаться от захвата власти". Вопрос о борьбе за власть Плеханов подчинял — и это была ахиллесова пята всей его доктринерской стратегии — априорному социологическому определению, вернее, наименованию революции, а не реальному соотношению ее внутренних сил.

Ленин отстаивал захват помещичьей земли революционными крестьянскими комитетами и санкцию этого захвата Учредитель-

ным Собранием посредством закона о национализации. "Моя аграрная программа, — писал и говорил он, — всецело является программой крестьянского восстания и полного завершения буржуазно-демократической революции". В основном пункте он оставался согласен с Плехановым: революция не только начнется, но и завершится как буржуазная. Вождь большевизма не только не считал, что Россия может самостоятельно построить социализм — ставить этот вопрос до 1924 г. никому вообще не приходило в голову — но даже не верил в возможность удержать будущие демократические завоевания в России без социалистической революции на Западе. Именно на Стокгольмском съезде он выразил эту свою точку зрения с чрезвычайной категоричностью. "Русская (буржуазно-демократическая) революция может своими собственными силами победить, — говорил он, — но она ни в коем случае не может своими руками удержать и укрепить своих завоеваний. Она не может достигнуть этого, если на Западе не будет социалистического переворота". Было бы ошибочно думать, что Ленин, согласно позднейшим толкованиям Сталина, имел в виду опасность военной интервенции извне. Нет, он говорил о неизбежности внутренней реставрации в результате того, что крестьянин как мелкий собственник повернется после земельного переворота против революции. "Реставрация неизбежна и при муниципализации, и при национализации, и при разделе , ибо мелкий хозяйчик при всех и всяческих формах владения и собственности будет опорой реставрации. После полной победы демократической революции, — настаивает Ленин, — мелкий хозяйчик неизбежно повернет против пролетариата, и тем скорее, чем скорее будут сброшены общие враги пролетариата и хозяйчика... У нашей демократической революции нет никакого резерва, кроме социалистического пролетариата на Западе".

Однако для Ленина, который ставил судьбу русской демократии в прямую зависимость от судьбы европейского социализма, так называемая "конечная цель" не отделялась от демократического переворота необозримой исторической эпохой. Уже в период борьбы за демократию он стремился заложить опорные пункты для скорейшего продвижения к социалистической цели. Смысл национализации земли в том, что она открывает окно в будущее. "В эпоху демократической революции и крестьянского восстания, — говорил он, — нельзя ограничиваться

одной конфискацией помещичьей земли. Надо итти дальше: нанести решительный удар частной собственности на землю, чтобы расчистить путь для дальнейшей борьбы за социализм".

В центральном вопросе революции Иванович разошелся с Лениным. Он решительно выступал на съезде против национализации, за раздел конфискованной земли между крестьянами. Об этом расхождении, полностью отраженном на страницах протоколов, мало кто знает в СССР и сейчас еще, ибо никому не позволено ни цитировать, ни комментировать выступление Ивановича в прениях по аграрной программе. Между тем оно заслуживает внимания. "Так как мы заключаем временный революционный союз с борющимся крестьянством, — говорил он, — так как мы не можем, стало быть, не считаться с требованиями этого крестьянства, то мы должны поддерживать эти требования, если они в общем и целом не противоречат тенденции экономического развития и ходу революции. Крестьяне требуют раздела; раздел не противоречит вышесказанным явлениям (?), значит, мы должны поддерживать полную конфискацию и раздел. С этой точки зрения и национализация и муниципализация одинаково неприемлемы". Кремлевским военным курсантам Сталин рассказывал, что в Таммерфорсе Ленин произнес непреодолимую речь по аграрному вопросу, вызвавшую общий энтузиазм. В Стокгольме обнаружилось, что речь эта отнюдь не охватила Ивановича своими "клещами": он не только выступал против аграрной программы Ленина, но и объявил ее "одинаково" неприемлемой, как и программу Плеханова.

Не может, прежде всего, не вызвать удивления самый факт, что молодой кавказец, совершенно не знавший России, решился столь непримиримо выступить против вождя своей фракции по аграрному вопросу, в области которого авторитет Ленина считался особенно незыблемым. Осторожный Коба не любил, вообще говоря, ни вступать на незнакомый лед, ни оставаться в меньшинстве. Он вообще ввязывался в прения только тогда, когда чувствовал за собой большинство или, как в позднейшие годы, когда аппарат обеспечивал ему победу независимо от большинства. Тем повелительнее должны были быть те мотивы, которые заставили его выступить на этот раз в защиту мало популярного раздела. Этих мотивов, насколько их можно разгадать через 30 с лишним лет, было два, и оба они очень характерны для Сталина.

Коба вошел в революцию как плебейский демократ, провинциал и эмпирик. Соображения Ленина насчет международной революции были ему далеки и чужды. Он искал более близких "гарантий". У грузинских крестьян, которые не знали общины, индивидуалистическое отношение к земле проявлялось резче и непосредственнее, чем у русских. Сын крестьянина из деревни Диди-Ладо считал, что самой надежной гарантией против контрреволюции будет наделение мелких собственников дополнительными клочками земли. "Разделизм" не был у него, следовательно, выводом из доктрины — от выводов доктрины он легко отказывался — это была его органическая программа, отвечавшая глубоким тенденциям натуры, среды и воспитания. Мы встретимся у него с рецидивом "разделизма" через 20 лет.

Другой мотив Кобы почти столь же несомненен. Декабрьское поражение не могло не понизить в его глазах авторитет Ленина: факту он всегда придавал большее значение, чем идее. Ленин был на съезде в меньшинстве. Победить с Лениным Коба не мог. Уже это одно чрезвычайно уменьшало его интерес к программе национализации. И большевики, и меньшевики считали раздел меньшим злом по сравнению с программой противной фракции. Коба мог надеяться, что на меньшем зле сойдется, в конце концов, большинство съезда. Так органическая тенденция радикального демократа совпадала с тактическим расчетом комбинатора. Коба просчитался: у меньшевиков было твердое большинство, и им незачем было выбирать меньшее зло, раз они предпочитали большее.

Важно отметить для будущего, что в период Стокгольмского съезда Сталин вслед за Лениным рассматривал союз пролетариата с крестьянством как "временный", т.е. ограниченный одними лишь демократическими задачами. Ему и в голову не приходило утверждать, что крестьянство как крестьянство может стать союзником пролетариата в деле социалистического переворота. Через двадцать лет это "неверие" в крестьянство будет объявлено главной ересью "троцкизма". Впрочем, многое будет выглядеть иначе через двадцать лет. Объявляя в 1906 г. аграрные программы меньшевиков и большевиков "одинаково неприемлемыми", Сталин считал, что раздел земли "не противоречит тенденции экономического развития". Он имел в виду тенденцию капиталистического развития. Что касается будущей социалистической революции, о которой ему не доводилось в то время еще

ни разу серьезно подумать, то он не сомневался в одном, именно, что до ее наступления протекут еще многие десятки лет, в течение которых законы капитализма произведут в сельском хозяйстве необходимую работу концентрации и пролетаризации. Недаром в своих прокламациях Коба называл далекую социалистическую цель библейским именем "обетованной земли".

Основной доклад от имени сторонников раздела принадлежал, разумеется, не малоизвестному Ивановичу, а более авторитетному большевику Суворову, который достаточно полно развил точку зрения своей группы. "Говорят, что эта мера — буржуазная; но само крестьянское движение мелкобуржуазно, — доказывал Суворов, — и если мы можем поддержать крестьян, то только в этом направлении. Самостоятельное хозяйство крестьян сравнительно с крепостным представляет шаг вперед, а потом оно будет оставлено позади дальнейшим развитием". Социалистическое преобразование общества сможет стать на очередь только тогда, когда капиталистическое развитие "оставит позади", то есть разорит и экспроприирует созданного буржуазной революцией самостоятельного фермера.

Действительным автором программы раздела был, однако, не Суворов, а радикальный историк Рожков, лишь незадолго до революции примкнувший к большевикам. Он не выступал докладчиком на съезде только потому, что сидел в тюрьме. По взгляду Рожкова, развитому в его полемике против автора этой книги, не только Россия, но и самые передовые страны далеко еще не подготовлены к социалистической революции. Капитализму еще предстоит во всем мире долгая эпоха прогрессивной работы, завершение которой теряется в тумане будущего. Чтоб низвергнуть препятствия на пути творческой работы русского капитализма, наиболее отсталого, пролетариату необходимо оплатить союз с крестьянством ценою раздела земли. Капитализм справится затем с иллюзией аграрной уравнительности, сосредоточив постепенно землю в руках наиболее сильных и прогрессивных хозяев. Сторонников этой программы, которая непосредственно означала ставку на буржуазного фермера, Ленин называл, по имени их вождя, "рожковистами". Не лишне отметить, что сам Рожков, который серьезно относился к вопросам доктрины, перешел в годы реакции на сторону меньшевиков.

При первом голосовании Ленин присоединился к сторонникам раздела, чтобы, по его собственному объяснению, "не раз-

бивать голосов против муниципализации". Программу раздела он считал меньшим злом, прибавляя, однако, что если раздел способен представить известный оплот против реставрации помещиков и царя, то он может зато создать базу для бонапартистской диктатуры. Сторонников раздела он обвинял в том, что они "односторонне рассматривают крестьянское движение только с точки зрения прошлого и настоящего, не принимая во внимание точку зрения будущего", т.е. социализма. Во взглядах крестьянина на землю как на "ничью" или "божью" много путаницы и немало прикрытого мистикой индивидуализма. Нужно уметь, однако, ухватиться за прогрессивную тенденцию в этих взглядах, чтобы направить ее против буржуазного общества. Этого не умеют сторонники раздела. "Практики... будут вульгаризировать теперешнюю программу... они сделают из маленькой ошибки большую... Они будут крестьянской толпе, кричащей, что земля ничья, божья, казенная, доказывать преимущества раздела, они будут этим позорить и опошлять марксизм". В устах Ленина слово "практик" означает в данном случае революционера с узким кругозором, пропагандиста коротеньких формул. Этот удар тем более попадает в цель, что Сталин в течение ближайшей четверти века будет сам величать себя не иначе, как "практиком", в противовес "литераторам" и "эмигрантам". Теоретиком он провозгласит себя лишь после того, как аппарат обеспечит ему практическую победу и оградит его от критики.

Плеханов был, конечно, прав, когда ставил аграрный вопрос в неразрывную связь с вопросом о власти. Но и Ленин понимал эту связь, притом глубже Плеханова. Чтобы стала возможной национализация земли, революция должна была установить, по его определению, "демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства", которую он строго отличал от социалистической диктатуры пролетариата. В противовес Плеханову, Ленин считал, что аграрная революция будет совершена не либеральными, а плебейскими руками или не будет совершена вовсе. Однако природа проповедывавшейся им "демократической диктатуры" оставалась неясной и противоречивой. Если бы в революционном правительстве получили господство представители хозяйчиков — что само по себе невероятно по отношению к буржуазной революции XX века — то само это правительство, согласно Ленину, грозило бы стать орудием реакции. Если же принять, что, благо-

даря размаху аграрной революции, властью завладевает пролетариат, то одним этим допущением устраняется перегородка между демократической революцией и социалистической: одна естественно переходит в другую, революция становится "перманентной". На это возражение Ленин не отвечал. Незачем и говорить, что в качестве "практика" и "разделиста" Коба относился к перспективам перманентной революции с суеверным презрением.

Защищая против меньшевиков революционные крестьянские комитеты как орудия захвата помещичьей земли, Иванович говорил: "Если освобождение пролетариата может быть делом самого пролетариата, то и освобождение крестьян может быть делом самих крестьян". На самом деле эта симметрическая формула представляет пародию на марксизм. Историческая миссия пролетариата вырастает в значительной мере именно из неспособности мелкой буржуазии освободить себя собственными силами. Крестьянская революция невозможна, конечно, без активного участия самих крестьян в форме вооруженных отрядов, местных комитетов и пр. Но судьба крестьянской революции решается не в деревне, а в городе. Бесформенный обломок средневековья в современном обществе, крестьянство не может иметь самостоятельной политики, оно нуждается в вожде со стороны. Два новых класса претендуют на руководство. Если крестьянство пойдет за либеральной буржуазией, революция остановится на полпути, чтоб откатиться затем назад. Если крестьянство найдет вождя в пролетариате, революция неизбежно перейдет за буржуазные пределы. Именно на этом особом соотношении между классами исторически запоздалого буржуазного общества и основывалась перспектива перманентной революции.

Никто, однако, не защищал на Стокгольмском съезде этой перспективы, которую автор настоящей книги снова пытался обосновать в те дни в камере петербургской тюрьмы. Восстание было уже отбито. Революция отступала. Меньшевики тяготели к блоку с либералами. Большевики были в меньшинстве, к тому же разъединены. Перспектива перманентной революции казалась скомпрометированной. Ей придется ждать реванша одиннадцать лет. Большинством 62 голосов против 42 при 7 воздержавшихся съезд принял меньшевистскую программу муниципализации. Она не играла никакой роли в дальнешем ходе событий. Кре-

стьяне приняли национализацию земли, как они приняли советскую власть и руководство большевиков.

Два других выступления Ивановича на съезде представляли простую перифразу речей и статей Ленина. По вопросу об общем политическом положении, он справедливо нападал на стремление меньшевиков принизить движение масс, приспособив его к политическому курсу либеральной буржуазии. "Или гегемония пролетариата, — повторял он распространенную формулу, — или гегемония демократической буржуазии, — вот как стоит вопрос в партии, вот в чем наши разногласия". Оратор был, однако, очень далек от пониманья всех исторических последствий этой альтернативы. "Гегемония пролетариата" означает его политическое верховодство над всеми революционными силами страны, прежде всего — над крестьянством. При полной победе революции "гегемония" должна, естественно, привести к диктатуре пролетариата со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но Иванович твердо держался того взгляда, что русская революция способна лишь расчистить путь буржуазному режиму. Идею гегемонии пролетариата он непостижимыми путями соединял с идеей независимой политики крестьянства, которое само освобождает себя посредством раздела земли на мелкие участки.

Съезду было присвоено название "Объединительного". Формальное единство двух фракций, как и национальных организаций (польской социал-демократии, латышской и еврейского Бунда), действительно было достигнуто. Но реальное значение съезда состояло, по словам Ленина, в том, что он "помог более отчетливой размежевке правого и левого крыла социал-демократии". Если раскол на Втором съезде явился лишь "антиципацией" и оказался преодолен, то "объединение" на Стокгольмском съезде стало простым этапом на пути полного и окончательного раскола, который наступил через шесть лет. В дни съезда сам Ленин был, однако, еще далек от мысли о неизбежности раскола. Опыт горячих месяцев 1905 г., когда меньшевики сделали резкий поворот влево, был слишком свеж. Хотя после того они, как пишет Крупская, "уже достаточно выявили свое лицо", однако, Ленин продолжал еще, по ее свидетельству, надеяться, "что новый подъем революции, в котором он не сомневался, захватит их и примирит с большевистской линией". Однако новый подъем революции не наступил.

Немедленно после съезда Ленин написал воззвание к партии со сдержанной, но недвусмысленной критикой принятых решений. Воззвание было подписано делегатами из состава "бывшей фракции большевиков" (на бумаге фракции считались распущенными). Но замечательное дело: из 42 большевистских участников съезда под воззванием подписалось только 26. Подписи Ивановича нет, как нет и подписи вождя его группы Суворова. Сторонники раздела считали, видимо, разногласие настолько важным, что отказались выступить перед партией совместно с группой Ленина, несмотря на очень осторожную формулировку воззвания в вопросе о земле. Тщетно стали бы мы искать комментариев этого факта в официальных изданиях партии. С другой стороны, Ленин в обширном печатном докладе о Стокгольмском съезде, подробно излагая прения и перечисляя важнейших ораторов как большевиков, так и меньшевиков, ни разу не упоминает о выступлениях Ивановича: очевидно, они не показались ему столь существенными, как их пытаются представить тридцать лет спустя. Положение Сталина внутри партии внешним образом, во всяком случае, не изменилось. Никто не предложил его в состав Центрального Комитета, который был сформирован из 7 меньшевиков и 3 большевиков: Красина, Рыкова и Десницкого. После Стокгольмского съезда, как и до него, Коба остается работником "кавказского масштаба".

В последние два месяца революционного года Кавказ кипел котлом. В декабре стачечный комитет, захватив в свои руки управление Закавказской железной дороги и телеграфа, стал регулировать транспортное движение и экономическую жизнь Тифлиса. Пригороды оказались в руках вооруженных рабочих, однако, не надолго: военные власти быстро оттеснили врага. Тифлисская губерния была объявлена на военном положении. Вооруженная борьба велась в Кутаисе, Чиатурах и других пунктах. Западная Грузия была охвачена крестьянским восстанием. 10-го декабря начальник полиции на Кавказе, Ширинкин, доносил в Петербург директору своего департамента: "Кутаисская губерния в особом положении... жандармов обезоружили, завладели западным участком дороги и сами продают билеты и наблюдают за порядком... Донесений из Кутаиса не получаю, жандармы с линии сняты и сосредоточены в Тифлисе. Посылае-

мые нарочные с донесениями обыскиваются революционерами, и бумаги отбираются; положение там невозможное... Наместник болен нервым переутомлением..." Все эти события не совершались сами собой. Коллективная инициатива пробужденных масс имела, конечно, главное значение; но она на каждом шагу нуждалась в индивидуальных агентах, организаторах, руководителях. Коба не был в их числе. Он не спеша комментировал события задним числом. Только это и позволило ему в самое горячее время отлучиться в Таммерфорс. Никто не заметил его отсутствия и не отметил его возвращения.

Подавление восстания в Москве при пассивности петербургских рабочих, истощенных предшествующими боями и локаутами; подавление восстаний в Закавказье, в Прибалтийском крае, в Сибири создали перелом. Реакция вступила в свои права. Большевики тем менее спешили признать это, что общий отлив пересекался еще запоздалыми волнами прибоя. Все революционные партии хотели верить, что девятый вал впереди. Когда более скептические единомышленники говорили Ленину, что реакция, может быть, уже началась, он отвечал: "Я признаю это последним". Пульс русской революции отчетливее всего выражался в стачках, которые составляли основную форму мобилизации масс. В 1905 году насчитывалось 2¾ миллиона стачечников; в 1906 г. — около миллиона: огромная сама по себе цифра эта означала, однако, резкий упадок.

По объяснению Кобы, пролетариат потерпел эпизодическое поражение "прежде всего потому, что у него не было, либо было слишком мало оружия, — как бы вы сознательны ни были, голыми руками вам против пуль не устоять!" Объяснение явно упрощало вопрос. "Устоять" голыми руками против пуль, конечно, трудно. Но были и более глубокие причины поражения. Крестьянство не поднялось всей массой; в центре меньше, чем на окраинах. Армия была захвачена лишь частично. Пролетариат еще не знал по-настоящему ни своей силы, ни силы противника. 1905 г. вошел в историю — и в этом его неизмеримое значение — как "генеральная репетиция". Но такое определение Ленин мог дать лишь задним числом. В 1906 г. он сам ждал близкой развязки. В январе Коба, упрощенно как всегда пересказывая Ленина, писал: "Мы должны раз навсегда отвергнуть всякие колебания, отбросить прочь всякую неопределенность и

бесповоротно стать на точку зрения нападения... Единая партия, партией организованное вооруженное восстание и политика нападения — вот чего требует от нас победа восстания". Даже меньшевики еще не решались сказать вслух, что революция закончилась. На съезде в Стокгольме Иванович имел возможность заявить, не опасаясь возражений: "Итак, мы накануне нового взрыва... В этом все мы сходимся". На самом деле в это время "взрыв" был уже позади. "Политика нападения" все больше становилась политикой партизанских стычек и отдельных ударов. Широко разлились по стране так называемые "экспроприации", т.е. вооруженные набеги на банки, казначейства и другие хранилища денег.

Разложение революции передавало инициативу наступления в руки правительства, которое успело тем временем справиться со своими нервами. Осенью и зимой революционные партии вышли из подполья. Борьба велась с открытым забралом. Царская полиция распознала своих врагов в лицо, всех вместе и каждого в отдельности. Расправа началась 3 декабря арестом Петербургского Совета. Все скомпрометированные постепенно арестовывались, если не успевали скрыться. Победа адмирала Дубасова над московскими дружинниками придала репрессиям особую свирепость. С января 1905 г. до созыва первой Государственной Думы 27-го апреля 1906 г. царским правительством по приблизительным расчетам убито более 14 000 человек, казнено более 1 000, ранено 20 000, арестовано, сослано, заточено — около 70 000. Главное число жертв пришлось на декабрь 1905 и первые месяцы 1906 г. Коба не подставлялся "как мишень". Он не был ни ранен, ни сослан, ни арестован. Ему не пришлось и скрываться. Он оставался по-прежнему в Тифлисе. Этого никак нельзя объяснить личной умелостью или счастливым случаем. Конспративно, т.е. украдкой можно было уехать на Таммерфорскую конференцию. Но украдкой нельзя было руководить массовым движением 1905 г. Для активного революционера в маленьком Тифлисе не могло быть и "счастливого случая". На самом деле Коба настолько оставался в стороне от больших событий, что полиция не уделила ему внимания. В середине 1906 г. он продолжал заседать в редакции легальной большевистской газеты.

Ленин укрывался тем временем в Финляндии, в Куоккала, в постоянной связи с Петербургом и всей страной. Здесь же были

и другие члены большевистского центра. Отсюда связывались порванные нити нелегальной организации. "Со всех концов России, — пишет Крупская, — приезжали товарищи, с которыми сговаривались о работе". Крупская называет ряд имен, в частности Свердлова, который на Урале "пользовался громадным влиянием", упоминает вскользь Ворошилова и других. Но, несмотря на грозные оклики официальной критики, она ни разу не называет в этот период Сталина. Не потому, что она избегает его имени: наоборот, везде, где у нее есть хоть малейшая опора в фактах, она старается выдвинуть его. Она просто не находит его в своей памяти.

Первая Дума была распущена 8 июля 1906 г. Стачка протеста, к которой призвали левые партии, не удалась: рабочие научились понимать, что одной стачки мало, а на большее не было сил. Попытка революционеров сорвать рекрутский набор плачевно провалилась. Восстание в Свеаборгской крепости при участии большевиков оказалось изолированной вспышкой и было подавлено. Реакция крепчала. Партия забиралась глубже в подполье. "Ильич из Куоккала руководил, — пишет Крупская, — фактически всей работой большевиков". Опять ряд имен и эпизодов. Сталин не назван. То же повторяется в связи с ноябрьской конференцией партии в Терриоках, где решался вопрос о выборах во Вторую Думу. Коба не приезжал в Куоккола. Не сохранилось ни малейших следов переписки между ним и Лениным за 1906 г. Несмотря на встречу в Таммерфорсе, личной связи не создалось. Новая встреча в Стокгольме также не дала сближения. Крупская рассказывает о прогулке по шведской столице с участием Ленина, Рыкова, Строева, Алексинского и других; Сталина она не называет. Возможно и то, что отношения, едва возникнув, натянулись в связи с разногласием по аграрному вопросу: Иванович не подписал воззвания, Ленин не упомянул Ивановича в отчете.

В согласии с решением в Таммерфорсе и Стокгольме кавказские большевики объединились с меньшевиками. В состав объединенного областного Комитета Коба не входил. Зато он стал, если верить Берия, членом кавказского большевистского Бюро, которое секретно существовало в 1906 г., параллельно с официальным Комитетом партии. О деятельности этого Бюро и о роли в нем Кобы никаких данных нет. Одно несомненно: ор-

ганизационные взгляды "комитетчика" времени тифлисско-батумского периода потерпели изменение, если не в существе своем, то в формах выражения. Сейчас Коба не отважился бы приглашать рабочих покаяться в том, что они не доросли до комитетов. Советы и профессиональные союзы выдвинули рабочих революционеров на первый план, и они обычно оказывались более подготовлены для руководства массами, чем большинство подпольных интеллигентов. "Комитетчикам" пришлось, как и предвидел Ленин, наспех пересмотреть свои взгляды или, по крайней мере, свою аргументацию. Коба защищал теперь в печати необходимость партийной демократии, притом такой, когда "масса сама решает вопросы и сама действует". Одного лишь избирательного демократизма недостаточно: "Наполеона III избрали всеобщим голосованием, но кто не знает, что этот избранный император был величайшим поработителем народа". Если бы Бесошвили (тогдашний псевдоним Кобы) мог предвидеть собственное будущее, он воздержался бы от ссылки на бонапартистские плебесциты. Но он многого не предвидел. Дар предвиденья был ему отпущен только для коротких дистанций. И в этом, как увидим, состояла не только его слабая, но и его сильная сторона, по крайней мере, для известной эпохи.

Поражения пролетариата оттесняли марксизм на оборонительные позиции. Враги и противники, притихшие в бурные месяцы, теперь поднимали головы. Материализм и диалектика призывались справа и слева к ответу за разгул реакции. Справа — со стороны либералов, демократов, народников; слева — со стороны анархистов. В движении 1905 г. анархизм не играл никакой роли. В Петербургском Совете существовали только три фракции: меньшевики, большевики и социалисты-революционеры. Но ликвидация Советов и атмосфера разочарования создали для анархистов более благоприятный резонанс. Волна отлива дала себя знать и на отсталом Кавказе, где условия для анархизма были, во многих отношениях, более благоприятны, чем в других частях страны. Приняв участие в защите атакуемых позиций марксизма, Коба написал на грузинском языке серию газетных статей на тему: "Анархизм и социализм". Эти статьи, свидетельствующие о лучших намерениях автора, не поддаются изложению, потому что сами являются изложением чужих работ. Их трудно также и цитировать, так как общая серая окраска за-

трудняет выбор сколько-нибудь индивидуальных формулировок. Достаточно сказать, что эта работа никогда не переиздавалась.

Направо от грузинских меньшевиков, продолжавших считать себя марксистами, встала партия федералистов, местная пародия отчасти на русских социалистов-революционеров, отчасти — на кадетов. Бесошвили вполне справедливо обличал склонность этой партии к трусливым маневрам и компромиссам, но пользовался при этом рискованными образами. "Как известно, — писал он, — всякое животное имеет свою определенную окраску; но природа хамелеона не мирится с этим; со львом он принимает окраску льва, с волком — волка, с лягушкой — лягушки, в зависимости от того, когда какая окраска ему более выгодна..." Зоолог, вероятно, протестовал бы против клеветы на хамелеона. Но так как, по сути дела, большевистский критик был прав, то можно простить ему его стиль несостоявшегося сельского священника.

Вот и все, что можно сообщить о работе Кобы—Ивановича—Бесошвили за время первой революции. Это немного, даже и в чисто количественном отношении. Между тем автор старался не упустить ничего, сколько-нибудь достойного внимания. Дело в том, что интеллект Кобы, лишенный воображения и бескорыстия, малопроизводителен. К тому же этот упорный, желчный, требовательный характер, вопреки созданной за последние годы легенде, совсем не трудолюбив. Культура умственного труда ему несвойственна. Все, кто ближе соприкасался с ним в более поздние периоды, знали, что Сталин не любит работать. "Коба — лентяй", — говорили не раз с полуснисходительной усмешкой Бухарин, Крестинский, Серебряков и другие. На то же интимное качество осторожно намекал иногда и Ленин. В склонности к угрюмому ничегонеделанию сказывалось, с одной стороны, ориентальное происхождение, с другой — неудовлетворенное честолюбие. Нужна была каждый раз властная личная причина, чтобы побудить Кобу к длительному и систематическому усилию. В революции, которая оттесняла его, он такой побудительной причины не находил. Оттого его вклады в революцию кажутся такими мизерными по сравнению с тем вкладом, какой революция внесла в его личную жизнь.

ПЕРИОД РЕАКЦИИ

Личная жизнь подпольных революционеров была отодвинута на задний план и придушена, но она существовала. Как пальмы на пейзажах Диего Ривера, любовь из-под тяжелых камней прокладывала себе дорогу к солнцу. Чаще всего, почти всегда, она была связана с революцией. Единство идей, борьбы, опасностей, близость в изолированности от остального мира создавали крепкие связи. Пары соединялись в подполье, разъединялись тюрьмою и снова находили друг друга в ссылке. О личной жизни молодого Сталина мы знаем мало, но тем более ценно это малое для характеристики человека.

"В 1903 г. он женился, — рассказывает Иремашвили. — Его брак был, как он понимал его, счастливым. Правда, равноправия полов, которое он выдвигал как основную форму брака в новом государстве, в его собственном доме нельзя было найти. Да это и не отвечало совсем его натуре — чувствовать себя равноправным с кем-нибудь. Брак был счастливым потому, что его жена, которая не могла следовать за ним, глядела на него как на полубога, и потому, что она, как грузинка, выросла в священной традиции, обязывающей женщину служить". Сам Иремашвили, хотя и считавший себя социал-демократом, сохранил в почти незатронутом виде культ традиционной грузинской женщины, по существу, семейной рабыни. Жену Кобы он рисует теми же чертами, что и его мать, Кеке. "Эта истинно грузинская женщина... всей душой заботилась о судьбе своего мужа. Проводя неисчислимые ночи в горячих молитвах, ждала своего Сосо, когда он участвовал в тайных собраниях. Она молилась о том, чтобы Коба отвернулся от своих богопротивных идей ради мирной семейной жизни в труде и довольстве".

Не без изумления узнаем мы из этих строк, что у Кобы, который сам уже в 13 лет отвернулся от религии, была наивно и

глубоко верующая жена. Это обстоятельство может показаться заурядным в устойчивой буржуазной среде, где муж считает себя агностиком или развлекается франк-масонским ритуалом, в то время как жена, после очередного адюльтера, исповедуется у католического священника. В среде русских революционеров эти вопросы стояли неизмеримо острее. Не анемичный агностицизм, а воинствующий атеизм составлял необходимый элемент их революционной философии. И где им было взять личной терпимости к религии, неразрывно связанной со всем тем, против чего они боролись среди постоянных опасностей? В рабочей среде при ранних браках можно было встретить, правда, немало случаев, когда муж, уже после женитьбы, становился революционером, а жена упорно сохраняла старые верования. Однако это вело обычно к драматическим коллизиям. Муж скрывал от жены свою новую жизнь и отходил от нее все дальше. В других случаях муж отвоевывал жену на свою сторону от ее родни. Молодые рабочие часто жаловались, что трудно найти девушек, свободных от старых суеверий. В среде учащейся молодежи выбор подруги был гораздо легче. Почти не было примеров, чтоб революционный интеллигент женился на верующей. Не то чтобы на этот счет существовали какие-либо правила. Но это просто не отвечало нравам, взглядам, чувствам среды. Коба представлял несомненно редкое исключение.

Из различия взглядов не возникло, видимо, никакой драмы. "Внутренне столь беспокойный человек, который на каждом шагу и при каждом действии чувствовал себя наблюдаемым и преследуемым царской тайной полицией, мог находить любовь только в убогом очаге своей семьи. Из того презрения, которое он источал по отношению ко всем людям, он исключал только свою жену, свое дитя и свою мать". Идиллическая семейная картина, которую рисует Иремашвили, как бы подсказывает вывод о мягкой терпимости Кобы к верованиям близкого ему существа. Но это слишком мало вяжется с тиранической натурой этого человека. На самом деле терпимостью выглядит здесь нравственное безразличие. Коба не искал в жене друга, способного разделить его взгляды или хотя бы амбиции. Он удовлетворялся покорной и преданной женщиной. По взглядам он был марксистом; по чувствам и духовным потребностям — сыном осетина Бесо из Диди-Лило. Он не требовал от жены больше того, что его отец нашел в безропотной Кеке.

Хронология Иремашвили, не безупречная вообще, в делах личного характера надежнее, чем в области политики. Возбуждает, однако, сомнение дата женитьбы: 1903 год. Коба был арестован в апреле 1902 г. и вернулся из ссылки в феврале 1904 г. Возможно, что венчание состоялось в тюрьме — такие случаи были нередки. Но возможно и то, что женитьба произошла лишь после побега из ссылки, в начале 1904 г. Церковное венчание в этом случае представляло, правда, для "нелегального" трудности; но при первобытных нравах того времени, особенно на Кавказе, полицейские препятствия можно было обойти. Если женитьба произошла после ссылки, то это отчасти может объяснить политическую пассивность Кобы в течение 1904 г.

Жена Кобы — мы не знаем даже ее имени — умерла в 1907 г., по некоторым сведениям, от воспаления легких. К этому времени отношения между двумя Сосо успели утратить дружеский характер. "Его резкая борьба, — жалуется Иремашвили,— направлялась отныне против нас, его прежних друзей. Он нападал на нас во всех собраниях, дискуссиях самым ожесточенным и неизменным образом и пытался всюду сеять против нас яд и ненависть. Если б у него была возможность, он бы нас искоренил огнем и мечом... Но подавляющее большинство грузинских марксистов оставалось с нами. Этот факт еще больше усиливал его злобу". Политическая отчужденность не помешала Иремашвили посетить Кобу по случаю смерти жены, чтоб принести ему слова утешения: такую силу сохраняли еще традиционные грузинские нравы. "Он был очень опечален и встретил меня, как некогда, по-дружески. Бледное лицо отражало душевное страдание, которое причинила смерть верной жизненной подруги этому столь черствому человеку. Его душевное потрясение... должно было быть очень сильным и длительным, так как он не способен был более скрывать его перед людьми".

Умершую похоронили по всем правилам православного ритуала. На этом настаивали родственники жены, и Коба не сопротивлялся. "Когда скромная процессия достигла входа на кладбище, — рассказывает Иремашвили, — Коба крепко пожал мою руку, показал на гроб и сказал: "Сосо, это существо смягчало мое каменное сердце; она умерла, и вместе с ней — последние теплые чувства к людям". Он положил правую руку на грудь: "здесь внутри все так опустошено, так непередаваемо пусто!" Эти

слова могут показаться театрально-патетическими и неестественными; но они вполне похожи на правду, и не только потому, что дело идет о молодом человеке, которого постиг первый личный удар: мы и в дальнейшем встретим у Сталина склонность к сухой патетике, нередкой у черствых натур. Угловатую стилистику для выражения своих чувств он почерпал из внушений семинарской гомилетики.

Жена оставила Кобе мальчика с мелкими и нежными чертами лица. В 1919—20 годах он учился в тифлисской гимназии, где Иремашвили состоял преподавателем. Вскоре отец перевел Яшу в Москву. Мы еще встретимся с ним в Кремле. Вот и все, что мы знаем об этом браке, который во времени (1903—1907) довольно точно укладывается в рамки первой революции. Такое совпадение неслучайно: ритмы личной жизни революционеров слишком тесно бывали связаны с ритмами больших событий. "Начиная с того дня, когда он похоронил свою жену, — настаивает Иремашвили, — он утратил последний остаток человеческих чувств. Его сердце наполнилось невыразимо злобной ненавистью, которую уже его безжалостный отец начал сеять в детской душе сына. Он подавлял сарказмом все более редко подымавшиеся моральные сдержки. Беспощадный по отношению к самому себе, он стал беспощадным по отношению ко всем людям". Таким он вступил в период реакции, которая надвинулась тем временем на страну.

Начало массовых стачек во второй половине 90-х годов означало приближение революции. Среднее число стачечников не составляло, однако, еще и 50 тысяч в год. В 1905 г. это число сразу поднялось до 2¾ миллиона; в 1906 г. оно снижается до 1 миллиона; в 1907 г. — до ¾ миллиона, считая, конечно, и повторные стачки. Таковы цифры революционного трехлетия: мир не знал еще подобной стачечной волны! В 1908 г. открывается период реакции: число стачечников сразу падает до 174 тысяч, в 1909 г. — до 64 тысяч, в 1910 г. — до 50 тысяч. Но в то время, как пролетариат столь быстро свертывает свои ряды, разбуженные им крестьяне еще продолжают и даже усиливают свое наступление. В месяцы первой Думы особенно широко развернулись разгромы помещичьих гнезд. Прокатился ряд солдатских волнений. После подавления попыток Свеаборгского и

Кронштадтского восстаний (июль 1906 г.) монархия делается смелее, вводит военно-полевые суды, фальсифицирует при помощи сената выборное право, но не достигает на этом пути нужных результатов: вторая Дума оказывается радикальнее первой.

Политическое положение в стране Ленин характеризует в феврале 1907 г. следующими словами: "Самый дикий, самый бесстыдный произвол... Самый реакционный избирательный закон в Европе. Самый революционный в Европе состав народного представительства в самой отсталой стране!" отсюда вывод: "впереди – новый, еще более грозный... революционный кризис". Вывод оказался ошибочным. Революция была еще достаточно сильна, чтобы дать знать о себе на арене царского псевдопарламента. Но она была уже разбита. Ее конвульсии становились все слабее.

Параллельный процесс происходил и в социал-демократической партии. По числу членов она еще продолжала расти. Но ее влияние на массы падало. Сто социал-демократов уже не способны вывести на улицу столько рабочих, сколько год назад выводили десять социал-демократов. Различные стороны революционного движения, – как исторического процесса в целом, как живого развития вообще – не равномерны и не гармоничны. Рабочие и даже мелкие буржуа пытались за поражение в открытом бою мстить царизму левым голосованием; но на новое восстание они уже не были способны. Лишившись аппарата советов и непосредственной связи с массами, быстро впадавшими в мрачную апатию, более активные рабочие почувствовали потребность в революционной партии. Так, полевение Думы и рост социал-демократии оказались на этот раз симптомами не подъема, а упадка революции.

Ленин, несомненно, и в те дни уже допускал такую возможность. Но пока окончательная проверка не была дана опытом, он продолжал строить политику на революционном прогнозе. Таково было основное правило этого стратега. "Революционная социал-демократия, – писал он в октябре 1906 г. ,– первой должна становиться на путь наиболее решительной и наиболее прямой борьбы и последней принимать более обходные способы борьбы". Под прямой борьбой надо понимать: забастовки, демонстрации, всеобщую стачку, схватки с полицией, восстание. Под общими способами: использование легальных возможностей, в

частности парламентаризма, для собирания сил. Эта стратегия неизбежно заключала в себе опасность применения боевых методов в такой момент, когда объективные условия для них уже исчезли. Но на весах революционной партии этот тактический риск весил неизмеримо менее стратегической опасности: отстать от событий и упустить революционную ситуацию.

Пятый съезд партии, заседавший в Лондоне в мае 1907 г., отличался чрезвычайным многолюдством: в зале "социалистической" церкви насчитывалось 302 делегата с решающими голосами (один делегат на 500 членов партии), около полусотни – с совещательными и немало гостей. Большевиков было 90, меньшевиков – 85. Национальные делегации располагались между флангами как "центр". На прошлом съезде, как мы помним, представлены были 13 000 большевиков и 18 000 меньшевиков (один делегат на 300 членов партии). За двенадцать месяцев между Стокгольмским и Лондонским съездами русская часть партии возросла с 31 000 до 77 000 членов, т. е. в два с половиной раза. Обострение фракционной борьбы неизбежно вздувало цифры. Но остается неоспоримым, что передовые рабочие за последний год продолжали притекать в партию. Значительно быстрее усиливалось при этом левое крыло. В Советах 1905 г. меньшевики преобладали; большевики составляли скромное меньшинство. В начале 1906 г. силы обоих течений в Петербурге приблизительно сравнялись. В период между первой и второй Думой большевики стали брать верх. Во время второй Думы они уже завоевали полное преобладание среди передовых рабочих. Стокгольмский съезд по характеру принятых решений был меньшевистским, Лондонский – большевистским.

Власти внимательно следили за этим сдвигом влево. Незадолго до съезда департамент полиции разъяснял своим отделениям на местах, что "меньшевистские группы по настроению их в настоящий момент не представляют столь серьезной опасности, как большевики". В очередном докладе о ходе съезда, представленном департаменту полиции его заграничным агентом, заключается следующая оценка: "Из ораторов в дискуссии выступали в защиту крайней революционной точки зрения Станислав (большевик), Троцкий, Покровский (большевик), Тышко (польский национал-демократ); в защиту же оппортунистической точки зрения Мартов, Плеханов" (вожди меньшевиков). "Ясно

намечается, — продолжает охранник, — поворот социал-демократов к революционным методам борьбы... Меньшевизм, расцветший благодаря Думе, с течением времени, когда Дума показала свою импотентность, вымирает и снова дает простор большевистским или, вернее, крайне революционным течениям". На самом деле, как уже сказано, внутренние сдвиги в пролетариате были сложнее и противоречивее: передовой слой, под влиянием опыта, сдвинулся влево; массы, под влиянием поражений, сдвинулись вправо. Дыхание реакции уже носилось над съездом. "Наша революция переживает трудные времена, — говорил Ленин на заседании 12 мая. — нужна вся сила воли, вся выдержанность и стойкость сплоченной пролетарской партии, чтобы уметь противостоять настроениям неверия, упадка сил, равнодушия, отказа от борьбы".

"В Лондоне, — пишет французский биограф, — Сталин в первый раз видел Троцкого, но последний вряд ли заметил его; вождь Петербургского Совета не был человеком, который легко завязывает знакомства и сближается с кем-либо без действительного духовного сродства". Верно ли это или нет, но факт таков, что только из книги Суварина я узнал о присутствии Кобы на Лондонском съезде и нашел затем подтверждение этого в официальных протоколах. Как и в Стокгольме, Иванович принимал участие не в числе 302 делегатов с решающим голосом, а в числе 42 с совещательным. Так слаб оставался большевизм в Грузии, что Коба не мог собрать в Тифлисе 500 голосов! "Даже в родном городе Кобы и моем, в Гори, — пишет Иремашвили, — не было ни одного большевика". Полное господство меньшевиков на Кавказе засвидетельствовал в прениях съезда Шаумян, один из руководящих кавказских большевиков, соперник Кобы и будущий член ЦК. "Кавказские меньшевики, — жаловался он, — пользуясь своим подавляющим численным перевесом и официальным господством на Кавказе, принимают все меры к тому, чтобы не дать быть избранными большевикам". В заявлении, подписанном тем же Шаумяном и Ивановичем, читаем: "Кавказские меньшевистские организации состоят почти сплошь из городской и сельской мелкой буржуазии". Из 18 000 кавказских членов партии насчитывалось не более 6 000 рабочих; но и те в подавляющем числе шли за меньшевиками.

Наделение Ивановича совещательным голосом сопровожда-

лось не лишенным интереса инцидентом. В качестве очередного председателя съезда Ленин предложил без прений утвердить предложение мандатной комиссии о предоставлении совещательного голоса четырем делегатам, в том числе Ивановичу. Неутомимый Мартов крикнул с места: "Я просил бы выяснить, кому дается совещательный голос, кто эти лица, откуда и т. д.". Ленин: "*Действительно, это неизвестно*, но съезд может довериться единогласному мнению мандатной комиссии". Весьма вероятно, что у Мартова были уже какие-либо закулисные сведения о специфическом характере работы Ивановича, — об этом вскоре будет речь, — и что именно поэтому Ленин поспешил отвести опасный намек ссылкой на единогласие мандатной комиссии. Во всяком случае, Мартов считал возможным характеризовать "этих лиц" как неизвестных: "кто они, откуда и т. д."; со своей стороны, Ленин не только не оспорил, но подтвердил эту характеристику. В 1907 г. Сталин оставался совершенно еще неизвестной фигурой не только для широких кругов партии, но и для делегатов съезда. Предложение комиссии было принято при значительном числе воздержавшихся.

Однако самое замечательное состоит в том, что Иванович ни разу не воспользовался предоставленным ему совещательным голосом. Съезд длился почти три недели, прения были крайне обильны. Но в списке многочисленных ораторов мы ни разу не встречаем имени Ивановича. Только под двумя короткими письменными заявлениями, внесенными кавказскими большевиками по поводу их домашних конфликтов с меньшевиками, значится на третьем месте его подпись. Других следов его присутствия на съезде нет. Чтоб понять значение этого обстоятельства, надо знать закулисную механику съезда. Каждая из фракций и национальных организаций собиралась в перерывах между официальными заседаниями особо для выработки своей линии поведения и назначения ораторов. Таким образом, в течение трехнедельных дебатов, в которых выступали все сколько-нибудь заметные члены партии, большевистская фракция не нашла нужным поручить ни одного выступления Ивановичу.

Под конец одного из последних заседаний съезда говорил молодой петербургский делегат. Все спешили покинуть места, почти никто не слушал. Оратор оказался вынужден встать на стул, чтоб обратить на себя внимание. Несмотря на крайне невыгод-

ную обстановку, ему удалось добиться того, что вокруг него стали сосредоточиваться делегаты, и зал притих. Эта речь сделала дебютанта членом Центрального Комитета. Обреченный на молчание Иванович отметил успех молодого незнакомца, — Зиновьеву было всего 25 лет — вероятно, без сочувствия, но вряд ли без зависти. Решительно никто не замечал честолюбивого кавказца с совещательным голосом. Один из рядовых участников съезда, большевик Гандурин, рассказывал в своих воспоминаниях: "Во время перерывов мы обычно окружали одного или другого из крупных работников, забрасывая вопросами". Гандурин упоминает в числе делегатов Литвинова, Ворошилова, Томского и других сравнительно малоизвестных тогда большевиков; но ни разу не называет Сталина. А между тем воспоминания написаны в 1931 г., когда Сталина было уже гораздо труднее забыть, чем вспомнить.

В число членов нового Центрального Комитета от большевиков были выбраны: Мешковский, Рожков, Теодорович и Ногин; в качестве кандидатов: Ленин, Богданов, Красин, Зиновьев, Рыков, Шанцер, Саммер, Лейтайзен, Таратута, А. Смирнов. Наиболее видные руководители фракции попали в число кандидатов по той причине, что на передний план были выдвинуты лица, которые могли работать в России. Но ни в число членов, ни в число кандидатов Иванович не попал. Было бы неправильно искать причины этого в кознях меньшевиков: на самом деле каждая фракция сама выбирала своих кандидатов. Из числа болшевистских членов ЦК некоторые, как Зиновьев, Рыков, Таратута, А. Смирнов, по возрасту принадлежали к тому же поколению, что Иванович, и были даже моложе его.

На последнем заседании большевистской фракции, уже после закрытия съезда, был избран тайный большевистский центр, так называемый "БЦ" в составе 15 членов. В их числе мы находим тогдашних и будущих теоретиков и литераторов: Ленина, Богданова, Покровского, Рожкова, Зиновьева, Каменева, как и наиболее выдающихся организаторов: Красина, Рыкова, Дубровинского, Ногина и других. Ивановича и в этой коллегии нет. Значение этого факта слишком очевидно. Сталин мог не войти в ЦК, не будучи известен *всей* партии или — допустим на минуту — вследствие особенно острой вражды к нему кавказских меньшевиков. Но если б он имел вес и влияние внутри собствен-

ной фракции, он непременно вошел бы в состав большевистского центра, который нуждался в авторитетном представителе Кавказа. Сам Иванович не мог не мечтать о месте в "БЦ". Но такого места для него не нашлось.

Зачем же вообще Коба приезжал при таких условиях в Лондон? Он не мог поднимать руку как делегат. Он оказался не нужен как оратор. Он явно не играл никакой роли на закрытых заседаниях большевистской фракции. Невероятно, чтоб он приехал только для того, чтоб послушать и посмотреть. У него были, очевидно, иные задачи. Какие именно?

Съезд закончился 19 мая. Уже 1 июня премьер Столыпин предъявил Думе требование немедленно исключить 55 социал-демократов и дать согласие на арест 16 из них. Не дожидаясь согласия, полиция приступила в ночь на 2-е июня к арестам. 3-го июня Дума уже объявлена распущенной, и, в порядке государственного переворота, опубликован новый избирательный закон. Повсеместно произведены заранее подготовленные массовые аресты, в частности, среди железнодорожников — в предупреждение всеобщей забастовки. Попытки восстания в Черноморском флоте и в одном из киевских полков закончились неудачей. Монархия торжествовала. Когда Столыпин гляделся в зеркало, он находил там Георгия Победоносца, поразившего насмерть дракона.

Очевидный упадок революции вызвал ряд новых кризисов в партии и в самой большевистской фракции, которая повально становится на бойкотистскую позицию. Это была почти инстинктивная реакция против насилия правительства, и вместе с тем попытка прикрыть радикальным жестом собственную слабость. Отдыхая после съезда в Финляндии, Ленин всесторонне обдумал положение и решительно выступил против бойкота. Его положение в собственной фракции оказалось нелегким, ибо нелегок вообще переход от революционных праздников к мрачным будням. "За исключением Ленина и Рожкова, — писал Мартов, — все видные представители большевистской фракции (Богданов, Каменев, Луначарский, Вольский и др.) высказались за бойкот". Цитата интересна, в частности, тем, что, включая в число "видных представителей" не только Луначарского, но и давно забытого Вольского, не упоминает Сталина. В 1924 г., когда официальный исторический журнал в Москве воспроизвел свидетельство

Мартова, редакции не пришло еще в голову поинтересоваться тем, как голосовал Сталин.

Между тем Коба был в числе бойкотистов. Помимо прямых свидетельств на этот счет, правда, исходящих от меньшевиков, имеется одно косвенное, но наиболее убедительное: ни один из нынешних официальных историков не упоминает ни одним словом о позиции Сталина по отношению к выборам в III Государственную Думу. В вышедшей вскоре после переворота брошюре "О бойкоте III Думы", где Ленин защищал участие в выборах, точку зрения бойкотистов представлял Каменев. Кобе тем лучше удалось сохранить свое инкогнито, что никому не могло в 1907 г. придти в голову предложить ему выступить со статьей. Старый большевик Пирейко вспоминает, как бойкотисты "громили товарища Ленина за его меньшевизм". Можно не сомневаться, что и Коба в тесном кругу не скупился на крепкие грузинские и русские слова. Со своей стороны, Ленин требовал от своей фракции готовности и способности глядеть действительности в глаза. "Бойкот есть объявление прямой войны старой власти, прямая атака на нее. Вне широкого революционного подъема не может быть и речи об успехе бойкота". Много позже, в 1920 г., Ленин писал: "Ошибкой... был уже бойкот большевиками Думы в 1906г." Ошибкой он был потому, что после декабрьского поражения нельзя было ожидать близкого революционного штурма; неразумно было поэтому отказываться от думской трибуны для собирания революционных рядов.

На партийной конференции, собравшейся в июле в Финляндии, оказалось, что из 9 делегатов-большевиков все, кроме Ленина, стояли за бойкот. Иванович на конференции не участвовал. Бойкотисты выставили докладчиком Богданова. Положительное разрешение вопроса об участии в выборах прошло соединенными голосами "меньшевиков, бундистов, поляков, одного из латышей и одного большевика", — пишет Дан. Этим "одинм большевиком" был Ленин. "В маленькой дачке горячо защищал свою позицию Ильич, — вспоминает Крупская. — Подъехал на велосипеде Красин и постоял у окна, внимательно слушая Ильича. Потом, не входя в дачу, задумчиво пошел прочь..." Красин отошел от окна больше, чем на десять лет. Он вернулся в партию лишь после Октябрьской революции, да и то далеко не сразу. Постепенно, под влиянием новых уроков, большевики переходили на

позицию Ленина, хотя, как увидим, не все. Бесшумно отказался от бойкотизма и Коба. Его кавказские статьи и речи в пользу бойкота великодушно преданы забвению.

1-го ноября начала свою бесславную деятельность III Государственная Дума, в которой за помещиками и крупной буржуазией было заранее обеспечено большинство. Открылась самая мрачная полоса в жизни "обновленной" России. Рабочие организации подверглись разгрому, революционная печать была задушена, в хвосте карательных экспедиций шли военно-полевые суды. Но страшнее внешних ударов была внутренняя реакция. Дезертирство приняло повальный характер. Интеллигенция уходила от политики в науку, искусство, религию, эротическую мистику. Эпидемия самоубийств дополняла картину. Переоценка ценностей направлялась прежде всего против революционных партий и их вождей. Резкая смена настроений нашла яркое отражение в архивах департамента полиции, где тщательно перлюстрировали подозрительные письма, сохраняя наиболее интересные для истории.

Из Петербурга писали Ленину в Женеву: "Тихо наверху и внизу, но внизу тишина отравленная. Под покровом тишины зреет такое озлобление, от которого взвоют кому выть надлежит. Но пока от этого озлобления плохо приходится и нам". Некий Захаров писал своему приятелю в Одессу: "Абсолютно утеряна вера в тех, кого раньше так высоко ставили... Помилуйте, в конце 1905 г. Троцкий всерьез говорил, что вот-де закончился полным успехом политический переворот, и за ним сейчас же начнется переворот социальный... А чудесная тактика вооруженного восстания, с которой большевики носились... Да, изверился я окончательно в наших вождях и вообще в так называемой революционной интеллигенции". Либеральная и радикальная пресса не щадила, с своей стороны, сарказма по адресу побежденных.

Корреспонденция местных организаций в Центральном Органе партии, пренесенном снова за границу, не менее красноречиво отражали процесс разложения революции. "В последнее время, за отсутствием интеллигентных работников, окружная организация умерла", — пишут из центрального промышленного района. "Наши идейные силы тают, как снег", — жалуются с Урала. "Элементы... примкнувшие к партии лишь в момент подъема... поки-

нули наши партийные организации". И все в том же роде. Даже в каторжных тюрьмах герои и героини восстаний и террористических актов враждебно отворачивались от собственного вчерашнего дня и употребляли такие слова, как "партия", "товарищ", "социализм", не иначе, как в ироническом смысле.

Дезертировали не только интеллигенты, не только "рыцари на час", временно примкнувшие к движению, но и передовые рабочие, годами связанные с партией. "В партийных комитетах стало пусто, безлюдно", — вспоминал Войтинский, ушедший позже от большевиков к меньшевикам. Среди отсталых слоев рабочего класса усилились, с одной стороны, религиозность, с другой — алкоголизм, карточные игры и т.д. В верхнем слое стали задавать тон рабочие-индивидуалисты, стремившиеся в стороне от масс к повышению личного культурного и бытового уровня. На эту тоненькую прослойку аристократии, главным образом металлистов и печатников, опирались меньшевики. Рабочие среднего слоя, которых революция приучила к чтению газеты, проявляли большую устойчивость. Но, войдя в политическую жизнь под руководством интеллигентов и сразу предоставленные самим себе, они оказались парализованы и выжидали.

Не все дезертировали. Но революционеры, не желавшие сдаваться, наталкивались на непреодолимые трудности. Для нелегальной организации нужны сочувствующая среда и постоянно обновляющиеся резервы. В обстановке упадочных настроений было трудно, почти невозможно соблюдать необходимые меры конспирации и поддерживать революционные связи. "Подпольная работа шла вяло. В течение 1909 г. были арестованы партийные типографии в Ростове-на-Дону, Москве, Тюмени, Петербурге..." и пр. и пр.; "склады прокламаций в Петербурге, Белостоке, Москве; архив Центрального Комитета в Петербурге. При всех этих арестах партия теряла хороших работников". Так, почти в тоне огорчения повествует отставной жандармский генерал Спиридович.

"Людей у нас вообще нет, — пишет Крупская химическими чернилами в Одессу в начале 1909 г., — все по тюрьмам и ссылкам". Жандармы проявили невидимый текст письма и — увеличили население тюрем. Малочисленность революционных рядов неизбежно влекла за собой снижение уровня комитетов. Недостаток выбора открывал возможность секретным агентам

подниматься по ступеням подпольной иерархии. Одним движением пальца провокатор обрекал на арест революционера, который становился на его пути. Попытка очистить организации от сомнительных элементов немедленно приводила к массовым арестам. Атмосфера взаимного недоверия и подозрительности душила всякую инициативу. После ряда хорошо рассчитанных арестов во главе Московской Окружной организации становится в начале 1910 г. провокатор Кукушкин. "Осуществляется идеал Охранного Отделения, — пишет активный участник движения, — во главе всех московских организаций стоят секретные сотрудники". Немногим лучше обстояло дело в Петербурге. "Верхи оказались разгромленными, казалось, не было возможности их восстановить, провокация разъедала, организации разваливались..." В 1909 г. в России оставалось еще пять-шесть действующих организаций, но они быстро замирали. Число членов в Московской Окружной организации достигало к концу 1908 г. 500, в середине следующего года оно упало до 250, еще через полгода — до 150; в 1910 г. организация перестала существовать.

Бывший думский депутат Самойлов рассказывает, что распалась к началу 1910 г. Иваново-Вознесенская организация, недавно еще столь внушительная и активная. Вслед за ней зачахли и профессиональные союзы. Зато подняли голову черносотенные банды. На текстильных фабриках постепенно.восстанавливались дореволюционные порядки: пониженная плата, суровые штрафы, увольнения и пр. "Рабочий молчал и терпел". И все же возврата к старому уже не могло быть. Ленин ссылался за границей на письма рабочих, которые, рассказывая о возобновившихся притеснениях и издевательствах фабрикантов, прибавляли: "Погодите, придет опять 1905 год !"

Террор сверху дополнялся террором снизу. Разгромленное восстание еще долго продолжало конвульсивно биться в виде отдельных локальных вспышек, партизанских набегов, групповых и индивидуальных террористических актов. Статистика террора замечательно ярко характеризует кривую революции. В 1905 г. было убито 233 человека; в 1906 г. — 768; в 1907 г. — 1 231. Число раненых изменялось в несколько иной пропорции, так как террористы научились более метко стрелять. Кульминации своей террористическая волна достигла в 1907 г. "Бывали дни, — писал либеральный обозреватель, — когда несколько

крупных случаев террора сопровождались положительно десятками мелких покушений и убийств среди низших чинов администрации... Мастерские бомб открываются во всех городах, бомбы рвут самих мастеров по неосторожности..." и пр. Алхимия Красина сильно демократизировалась. Взятое в целом, трехлетие 1905—1907 годов резко выделяется как в отношении террористических актов, так и в отношении стачек. Но различие между этими двумя рядами цифр бросается в глаза: в то время как число стачечников из года в год быстро падает, число террористических актов, наоборот, столь же быстро поднимается. Вывод ясен: индивидуальный террор нарастает по мере ослабления массового движения. Однако усиление террора не могло итти без конца. Толчок, данный революцией, должен был неизбежно израсходоваться и в этой области. Если в 1907 г. убитых — 1 231, то в 1908 — около 400, в 1909 г. — около100. Возросший процент раненых показывает, что стреляют теперь случайные люди, преимущественно зеленая молодежь.

На Кавказе, где еще очень живы были романитческие традиции разбоя и кровной мести, партизанская война нашла бесстрашные кадры исполнителей. За годы первой революции в одном Закавказье совершено было свыше тысячи террористических актов всякого рода. Большой размах действия боевых дружин получили также на Урале под руководством большевиков и в Польше под знаменем ППС ("Польской Социалистической Партии"). 2-го августа 1906 г. на улицах Варшавы и других городов края были убиты и ранены десятки полицейских и солдат. Эти атаки имели задачей, по объяснению вождей, "поддержать революционное настроение пролетариата". Вождем этих вождей был Иосиф Пилсудский, будущий "освободитель" Польши и ее угнетатель. В связи с событиями в Варшаве, Ленин писал: "Мы советуем всем многочисленным боевым группам нашей партии прекратить свою бездеятельность и предпринять ряд партизанских действий..." "И эти призывы большевистских лидеров, — замечает генерал Спиридович, — несмотря на противодействие Центрального Комитета (меньшевистского), не оставались безрезультатными".

Большую роль в кровавых схватках боевиков с полицией играл вопрос о деньгах, нерве всякой войны, в том числе и гражданской. До конституционного манифеста 1905 г. револю-

ционное движение финансировалось главным образом либеральной буржуазией и радикальной интеллигенцией. Это относится также и к большевикам, на которых либеральная оппозиция глядела тогда лишь как на более смелых революционных демократов. Перенеся свои надежды на будущую Думу, буржуазия стала видеть в революционерах помеху на пути соглашения с монархией. Эта перемена фронта резко ударила по финансам революции. Локауты и безработица приостановили приток денег со стороны рабочих. Между тем революционные организации успели развернуть большой аппарат со своими типографиями, издательствами, кадрами агитаторов и, наконец, боевыми отрядами, которые требовали вооружения. Насильственный захват денежных средств казался в этих условиях единственным средством дальнейшего финансирования революции. Инициатива, как почти всегда, пришла снизу. Первые экспроприации производились довольно мирным путем, нередко при молчаливом соглашении между "экспроприаторами" и служащими экспроприируемого учреждения. Рассказывали случаи, когда чиновники страхового общества "Надежда" успокаивали бледных боевиков словами: "Не волнуйтесь, товарищи!" Однако идиллический период длился недолго. Вслед за буржуазией отходит от революции интеллигенция, включая и банковских чиновников. Полицейские меры усиливаются. Растет число жертв с обеих сторон. Лишенные поддержки и сочувствия, "боевые организации" быстро сгорают или столь же быстро загнивают.

Типическую картину разложения даже наиболее дисциплинированных дружин дает в своих воспоминаниях уже цитированный выше Самойлов, бывший депутат Думы от Иваново-Вознесенских ткачей. Дружина, действовавшая первоначально "по директивам партийного центра", во второй половине 1906 г. начала "пошаливать". Когда дружина предложила партии часть ограбленных ею на фабрике денег (кассир был при этом убит), Комитет наотрез оказался и призвал дружинников к порядку. Но они уже быстро катились вниз и скоро докатились до "разбойных нападений обыкновенного уголовного типа". Имея постоянно крупные деньги, боевики начали заниматься кутежами, причем часто попадались во время кутежей в руки полиции. Так вся дружина нашла себе постепенно бесславный конец. "Надо, однако, признать, — пишет Самойлов, — что в ее рядах было не-

мало... беззаветно преданных делу революции товарищей, иногда с кристально чистой душой".

Первоначальное назначение боевых организаций состояло в том, чтобы встать во главе восставших масс, помогая им овладевать оружием и наносить врагу удары в наиболее чувствительные места. Главным, если не единственным теоретиком в этой области был Ленин. После поражения декабрьского восстания возник вопрос: что делать боевым организациям? На Стокгольмский съезд Ленин явился с проектом резолюции, которая, признавая партизанские действия неизбежным продолжением декабрьского восстания и подготовкой новой большой битвы с царизмом, допускала так называемые экспроприации денежных средств "под контролем партии". Большевики сняли, однако, свою резолюцию под влиянием разногласий в собственной среде. Большинством 64 голосов против 4 при 20 воздержавшихся принята была резолюция меньшевиков, которая совершенно запрещала "экспроприации" у частных лиц и учреждений и допускала захват государственных средств только в случае образования органов революционной власти в данной местности, т. е. в непосредственной связи с народным восстанием. 24 делегата, которые воздержались или голосовали против, составляли ленинскую, непримиримую половину большевистской фракции.

В обширном печатном докладе о Стокгольмском съезде Ленин совершенно обходит резолюцию о боевых выступлениях, ссылаясь на то, что он не присутствовал на прениях: "Да и вопрос этот, конечно, не принципиальный". Вряд ли отсутствие Ленина было случайным: он попросту не хотел связывать себе рук. Точно так же и через год, на Лондонском съезде, Ленин, вынужденный в качестве председателя присутствовать на прениях по поводу экспроприаций, уклонился от участия в голосовании, несмотря на яростные возгласы с меньшевистских скамей. Лондонская резолюция категорически воспрещала экспроприации и постановила распустить "боевые организации" партии.

Дело шло, разумеется, не об абстрактной морали. Все классы и все партии подходят к вопросу об убийстве не с точки зрения библейской заповеди, а с точки зрения тех исторических интересов, какие они представляют. Папа и его кардиналы благословляли оружие Франко, и никто из консервативных государственных людей не предлагал посадить его в тюрьму за подстрека-

тельство к убийствам. Официальные моралисты отрицают насилие тогда, когда дело идет о революционном насилии. Наоборот, кто борется против классового гнета, тот не может не признавать революцию. Кто признает революцию, признает гражданскую войну. Наконец, "партизанская борьба есть неизбежная форма борьбы... когда наступают более или менее крупные промежутки между большими сражениями в гражданской войне" (Ленин). С точки зрения общих принципов классовой борьбы, все это было совершенно неоспоримо. Разногласия начинались с оценки конкретных исторических обстоятельств. Когда две большие битвы гражданской войны отделены друг от друга двумя-тремя месяцами, этот интервал неизбежно будет заполнен партизанскими ударами по врагу. Но там, где "перерыв" затягивается на годы, партизанская война перестает быть подготовкой новой битвы, а является простыми конвульсиями после поражения. Определить момент перелома, разумеется, нелегко.

Вопросы о бойкотизме и о партизанских действиях оказываются тесно связаны между собой. Бойкотировать представительные учреждения можно лишь в том случае, если массовое движение достаточно могущественно, чтоб опрокинуть их или пройти мимо них. Наоборот, когда массы отступают, тактика бойкота теряет революционный смысл. Ленин понял и объяснил это лучше других. Уже в 1906 г. он отказался от бойкота Думы. После переворота 3-го июня 1907 г. он повел решительную борьбу против бойкотистов именно потому, что прилив явно сменился отливом. Но совершенно очевидно, что в тех условиях, когда приходилось пользоваться ареной царского "парламентаризма" для подготовительной мобилизации масс, партизанские действия стали анархизмом. В разгар гражданской войны они дополняли и питали движение масс; в период реакции они пытались заменить его, а на деле лишь компрометировали и разлагали партию. Ольминский, один из заметных соратников Ленина, критически освещал тот период уже в советские дни: "Немало хорошей молодежи, — писал он, — успело погибнуть на виселицах; другие развратились; третьи разочаровались в революции. А население стало смешивать революционеров с уголовными грабителями. Позже, когда началось возрождение революционного рабочего движения, это возрождение всего медленнее шло в тех городах, где было больше всего увлечения "эксами".

Содержание революционной работы Кобы в годы первой революции выступает столь незначительным, что невольно порождает вопрос: неужели это все? В вихре событий, которые проходили мимо него, Коба не мог не искать таких средств действия, которые позволяли бы ему показать, чего он стоит. Участие Кобы в террористических актах и экспроприациях несомненно. Однако определить характер этого участия не легко.

"Главным вдохновителем и генеральным руководителем... боевой работы, — пишет Спиридович, — был сам Ленин, которому помогали близкие, доверенные люди". Кто они были? Бывший большевик Алексинский, который со времени войны стал специалистом по разоблачению большевиков, рассказывал в заграничной печати, что в составе Центрального Комитета был еще "малый комитет, существование которого было скрыто не только от глаз царской полиции, но также и от членов партии. Этот малый комитет, в который входили Ленин, Красин и еще третье лицо... особенно занимался финансами партии". Под занятием финансами Алексинский понимает руководство экспроприациями. Неназванное "третье лицо" — уже знакомый нам естественник, врач, экономист и философ Богданов. У Алексинского не могло быть никаких побуждений умалчивать об участии Сталина в боевых операциях. Если он ничего не рассказал на этот счет, значит, он ничего не знает. Между тем Алексинский не только стоял в те годы близко к большевистскому центру, но и встречался со Сталиным. По общему правилу этот разоблачитель рассказывает больше, чем знает.

О Красине в примечаниях к "Сочинениям" Ленина сказано: "Руководил боевым техническим бюро при ЦК". "Партийцы знают теперь, — пишет, в свою очередь, Крупская, — ту большую работу, которую нес Красин во время революции "Пятого года" по вооружению боевиков, по руководству подготовкой боевых отрядов и пр. Делалось все это конспиративно, без шума, но вкладывалась в это дело масса энергии. Владимир Ильич больше, чем кто-либо, знал эту работу Красина и с тех пор всегда очень ценил его". Войтинский, бывший во время первой революции видным большевиком, пишет: "У меня осталось отчетливое впечатление, что Никитич (Красин) был в большевистской организации единственным человеком, к которому Ленин относился с настоящим уважением и с полным доверием". Прав-

да, Красин сосредоточивал свои усилия главным образом в Петербурге. Но если бы Коба руководил на Кавказе операциями того же типа, Красин, Ленин и Крупская не могли бы не знать об этом. Между тем Крупская, которая для доказательства своей благонадежности, старается называть Сталина как можно чаще, совершенно не упоминает о его роли в боевой работе партии.

3-го июля 1938 г. московская "Правда" неожиданно упомянула, что "небывало могучий размах революционного движения на Кавказе" в 1905 г. связан с "руководством впервые созданных здесь непосредственно тов. Сталиным наиболее боевых организаций нашей партии". Но единственное официальное признание причастности Сталина к "наиболее боевым организациям" относится к началу 1905 г., когда вопрос об экспроприациях еще не возникал; оно не дает никаких сведений насчет действительной работы Кобы; наконец, оно сомнительно по существу, ибо в Тифлисе большевистская организация возникла лишь во второй половине 1905 г.

Попробуем выслушать Иремашвили. Говоря с негодованием о террористических актах, эксах и пр., он заявляет: "Коба был инициатором совершенных большевиками в Грузии преступлений, которые служили реакции". После смерти жены, когда Коба утратил "последний остаток человеческих чувств", он стал "ревностным защитником и организатором... злонамеренного, систематического убийства князей, священников и буржуа". Мы уже имели случаи убедиться, что показания Иремашвили становятся тем менее надежными, чем более отходят от личной жизни к политике, и от детства и юношества — к более зрелым годам. Политическая связь между друзьями юности прекратилась уже в начале первой революции. Только случайно 17-го октября, в день опубликования конституционного манифеста, Иремашвили видел на улице в Тифлисе, — только видел, но не слышал, — как Коба с железного фонаря говорил толпе речь (в этот день все взбирались на фонари). Будучи меньшевиком, Иремашвили мог узнавать о террористической деятельности Кобы только из вторых и третьих уст. Его показания поэтому явно ненадежны. Иремашвили приводит два примера: знаменитую тифлисскую экспроприацию 1907 года, о которой нам придется еще говорить, и убийство грузинского национального писателя князя Чавчавадзе. По поводу экспроприации, кото-

рую он ошибочно относит к 1905 г., Иремашвили замечает: "Полицию Кобе удалось обмануть и на этот раз; у нее не было даже достаточных данных, чтобы заподозрить его инициативу в этом жестоком покушении. Социал-демократическая партия Грузии исключила, однако, Кобу отныне уже и официально..." Ни малейших доказательств причастности Сталина к убийству князя Чавчавадзе Иремашвили не приводит, ограничиваясь ничего не говорящим замечанием: "Косвенно также и Коба стоял за убийство; он был подстрекателем ко всем преступлениям, этот исполненный ненависти агитатор". Воспоминания Иремашвили в этой части интересны лишь постольку, поскольку освещают репутацию Кобы в рядах политических противников.

Осведомленный автор статьи в немецкой газете (Volksstimme Mannheim, 2 сентября 1932 г.), вероятно, грузинский меньшевик, подчеркивает, что друзья и враги чрезвычайно преувеличивают террористические приключения Кобы. "Правильно, что Сталин обладал исключительной способностью и склонностью к организации нападений названного рода... Однако в таких делах он обычно выполнял работу организатора, вдохновителя, руководителя, но не прямого участника". Совершенно неверно поэтому, когда некоторые биографы изображают его "бегающим с бомбами и револьверами и выполняющим самые сумасшедшие авантюры". Подобный же выдумкой является рассказ о прямом якобы участии Кобы в убийстве тифлисского военного диктатора генерала Грязнова 17 января 1906 г. "Это дело было выполнено согласно постановлению социал-демократической партии Грузии (меньшевиков) через специально назначенных для этого партийных террористов. Сталин, как и большевики вообще, не имел никакого влияния в Грузии и не принимал в этом деле ни прямого, ни косвенного участия". Свидетельство анонимного автора заслуживает внимания. Однако же в положительной своей части оно почти лишено содержания: признавая за Сталиным "исключительную способность и склонность" к экспроприациям и убийствам, оно не подтверждает этой характеристики никакими данными.

Старый грузинский большевик-террорист Катэ Цинцадзе, серьезный и надежный свидетель, рассказывает, что Сталин, недовольный медлительностью меньшевиков в деле покушения на генерала Грязнова, предложил ему, Катэ, составить для этой

цели собственную дружину. Однако меньшевики вскоре сами успешно справились с задачей. Тот же Катэ вспоминает, как он в 1906 г. пришел к мысли создать боевую дружину из одних большевиков для нападения на казначейства. "Наши передовые товарищи, в особенности Коба-Сталин, одобрили мою инициативу". Это свидетельство интересно вдвойне: во-первых, оно показывает, что Цинцадзе смотрел на Кобу как на "передового товарища", т.е. как на местного вождя; во-вторых, оно позволяет сделать вывод, что Коба не шел в этих вопросах далее одобрения инициативы других. Отметим вскользь, что в 1930 г. Катэ умер в ссылке у "передового товарища Кобы-Сталина".

При прямом сопротивлении меньшевистского ЦК, но зато при активном содействии Ленина, боевым группам партии удалось в ноябре 1906 г. созвать в Таммерфорсе собственную конференцию, среди руководящих участников которой мы встречаем имена революционеров, игравших впоследствии крупную или заметную роль в партии: Красин, Ярославский, Землячка, Лалаянц, Трилиссер и др. Сталина в их числе нет, хотя он находился в то время на свободе в Тифлисе. Можно допустить, что он предпочитал не рисковать появлением на конференции по конспиративным соображениям. Однако же Красин, действительно стоявший во главе боевой работы и ввиду своей известности подвергавшийся большему, чем кто-либо, риску, играл на конференции руководящую роль.

18-го марта 1918 г., т. е. через несколько месяцев после установления советского режима, вождь меньшевиков Мартов писал в своей московской газете: "Что кавказские большевики примазывались к разного рода удалым предприятиям экспроприаторского рода, хорошо известно хотя бы тому же г. Сталину, который в свое время был исключен из партийной организации за прикосновенность к экспроприациям". Сталин счел нужным привлечь Мартова к суду революционного трибунала. "Никогда в жизни, — говорил он пред судом при переполненном зале, — я не судился в партийной организации и не исключался — это гнусная клевета". Об экспроприациях Сталин, однако, не упомянул. "С такими обвинениями, с какими выступил Мартов, можно выступать лишь с документами в руках, а обливать грязью на основании слухов, не имея фактов — бесчестно". В чем, собственно, политический источник негодования Сталина?

Что большевики вообще были причастны к экспроприациям, не составляло тайны: Ленин открыто защищал экспроприации в печати. С другой стороны, исключение из меньшевистской организации вряд ли могло восприниматься большевиком как позорящее обстоятельство, тем более через десять лет. У Сталина не могло быть, следовательно, побудительных мотивов отрицать "обвинения" Мартова, если б они соответствовали действительности. Да и вызывать при таких условиях умного и находчивого противника в суд, значило бы рисковать доставить ему торжество. Значит ли это, что обвинения Мартова ложны? Увлекаемый темпераментом публициста и ненавистью к большевикам Мартов, вообще говоря, не раз переходил ту черту, у которой должно было бы удержать его неоспоримое благородство его натуры. Однако же на этот раз идет дело о суде. Мартов остается в своих утверждениях крайне категоричным. Он требует вызова свидетелей: "Это, во-первых, известный грузинский социал-демократический деятель Исидор Рамишвили, состоявший председателем революционного суда, установившего причастность Сталина к экспроприации парохода "Николай I" в Баку, Ной Жордания, большевик Шаумян и другие члены Закавказского Областного Комитета 1907–1908 гг. Во-вторых, группа свидетелей во главе с Гуковским, нынешним комиссаром финансов, под председательством которого рассматривалось дело о покушении на убийство рабочего Жаринова, изобличавшего перед партийной организацией бакинский Комитет и его руководителя Сталина в причастности к экспроприации". В своей реплике Сталин ничего не говорит ни об экспроприации парохода, ни о покушении на Жаринова, зато продолжает настаивать: "Никогда я не судился; если Мартов утверждает это, то он гнусный клеветник".

"Исключить" экспроприаторов, в юридическом смысле слова, нельзя было, так как они предусмотрительно сами заранее вышли из партии. Зато можно было постановить об их непринятии в организацию. Прямое исключение могло обрушиться лишь на тех вдохновителей, которые оставались в рядах партии. Но против Кобы, видимо, не было прямых улик. Возможно поэтому, что прав был до известной степени Мартов, когда утверждал, что Сталин был исключен; "в принципе" это было так. Но прав был и Сталин: индивидуально он не был судим. Разобраться во

всем этом трибуналу было нелегко, особенно при отсутствии свидетелей. Против их вызова возражал Сталин, ссылаясь на трудность и ненадежность сношений с Кавказом в те критические дни. Революционный трибунал не вошел в рассмотрение дела по существу, признав, что клевета в печати ему неподсудна, но приговорил Мартова к "общественному порицанию" за оскорбление советского правительства ("правительства Ленина — Троцкого", как иронически гласит отчет о суде в меньшевистском издании). Нельзя не остановиться в тревоге перед упоминанием о покушении на жизнь рабочего Жаринова за его протест против экспроприаций. Хотя мы ничего больше не знаем об этом эпизоде, однако, он бросает от себя зловещий свет в будущее.

В 1925 г. меньшевик Дан писал, что такие экспроприаторы, как Орджоникидзе и Сталин на Кавказе, снабжали средствами большевистскую фракцию; но это лишь повторение того, что говорил Мартов и несомненно на основании тех же источников. Никто не сообщает ничего конкретного. Между тем недостатка в попытках приподнять завесу над романическим периодом в жизни Кобы не было. Со свойственной ему почтительной развязностью Эмиль Людвиг попросил Сталина во время их беседы в Кремле рассказать ему "что-нибудь" из похождений своей молодости, вроде, например, ограбления банка. Сталин в ответ вручил любознательному собеседнику брошюрку со своей биографией, где будто бы "все" сказано; на самом деле об ограблениях там не сказано ничего.

Сам Сталин нигде и никогда не обмолвился о своих боевых похождениях ни словом. Трудно сказать, почему. Автобиографической скромностью он не отличался. Что он считает неудобным рассказывать сам, то делают по его заданию другие. Со времени своего головокружительного возвышения он мог, правда, руководствоваться соображениями государственного "престижа". Но в первые годы после Октябрьского переворота такие заботы были ему совершенно чужды. И со стороны бывших боевиков ничего не проникло на этот счет в печать в тот период, когда Сталин еще не вдохновлял и не контролировал исторические воспоминания. Репутация его как организатора боевых действий не находит себе подкрепления ни в каких других документах: ни в полицейских актах, ни в показаниях предателей

и перебежчиков. Правда, полицейские документы Сталин твердо держит в своих руках. Но если бы жандармские архивы заключали в себе какие-либо конкретные данные о Джугашвили как экспроприаторе кары, которым он подвергался, имели бы несравненно более суровый характер.

Из всех гипотез сохраняет правдоподобие только одна. "Сталин не возвращается и никому не позволяет возвращаться к террористическим актам, так или иначе связанным с его именем, — пишет Суварин, — иначе обнаружилось бы неизбежно, что в актах участвовали другие, он руководил ими только издалека". Весьма возможно к тому же , — это вполне в натуре Кобы, — что при помощи умолчаний и подчеркиваний он, где нужно было, осторожно приписывал себе те заслуги, которых на самом деле не имел. Проверить его в условиях подпольной конспирации было невозможно. Отсюда отсутствие у него в дальнейшем интереса к раскрытию деталей. С другой стороны, действительные участники экспроприаций и близкие к ним люди не упоминают в своих воспоминаниях о Кобе только потому, что им нечего сказать. Сражались другие, Сталин руководил ими издалека.

"Из меньшевистских резолюций, — писал Иванович в нелегальной бакинской газете по поводу Лондонского съезда, — прошла только резолюция о партизанских выступлениях, и то совершенно случайно: большевики на этот раз не приняли боя, вернее, не захотели довести до конца, просто из желания дать хоть раз порадоваться меньшевикам". Объяснение поражает своей несуразностью. "Дать порадоваться меньшевикам" — такого рода человеколюбивая заботливость не была в политических нравах Ленина. Большевики "уклонились от боя" на самом деле потому, что против них были в этом вопросе не только меньшевики, бундовцы, латыши, но и ближайшие союзники, поляки. А главное, среди самих большевиков имелись острые разногласия насчет экспроприаций. Было бы, однако, ошибочно предполагать, что автор статьи просто сболтнул для красного словца, без какого-либо умысла. На самом деле ему необходимо было скомпрометировать стеснительное решение съезда в глазах боевиков. Это, конечно, не делает само объяснение менее бессмысленным. Но такова уж манера Сталина: когда ему нужно прикрыть свою цель, он не колеблется прибегать к самым грубым уловкам. И как раз своей нарочитой грубостью доводы его нередко

достигают цели, освобождая от необходимости доискиваться более глубоких мотивов. Серьезный член партии мог только с досадой пожать плечами, прочитав, как Ленин уклонился от боя, чтоб доставить маленькую радость меньшевикам. Но примитивный боевик охотно соглашался с тем, что "совершенно случайное" запрещение экспроприаций не нужно брать всерьез. Для ближайшей боевой операции этого было достаточно.

12-го июня в 10 ч. 45 минут утра в Тифлисе, на Эриванской площади совершено было исключительное по дерзости вооруженное нападение на казачий конвой, сопровождавший экипаж с мешком денег. Ход операции был рассчитан с точностью часового механизма. В определенном порядке брошено было несколько бомб исключительной силы. Не было недостатка в револьверных выстрелах. Мешок с деньгами (241 000 рублей) исчез вместе с революционерами. Ни один из боевиков не был задержан полицией. На месте остались трое убитых из конвоя; около 50 человек были ранены, в большинстве легко. Главный организатор предприятия, защищенный формой офицера, прогуливался по площади, наблюдая за всеми движениями конвоя и боевиков и в то же время ловкими замечаниями устраняя с места предстоящей операции публику, чтоб избегнуть лишних жертв. В критическую минуту, когда могло показаться, что все потеряно, мнимый офицер с поразительным самобладанием завладел денежным мешком и временно скрыл его в диване у директора обсерватории, той самой, где юный Коба служил одно время бухгалтером. Об этом начальнике, армянском боевике Петросяне, носившем кличку *Камо*, необходимо здесь вкратце рассказать.

Приехав в конце прошлого столетия в Тифлис, он попал в руки пропагандистов, в том числе Кобы. Почти не владевший русским языком, Петросян однажды переспросил Кобу: "Камо (вместо: кому) отнести?" Коба стал издеваться на ним: "Эх ты, — камо, камо!.." Из этой неделикатной шутки родилось революционное прозвище, которое вошло в историю. Так рассказывает Медведева, вдова Камо. Больше ничего об отношениях этих двух людей она не сообщает. Зато говорит о трогательной привязанности Камо к Ленину, которого он впервые навестил в 1906 г. в Финляндии. "Этот отчаянной смелости, непоколебимой силы воли, бесстрашный боевик, — пишет Крупская, — был в то же время каким-то чрезвычайно цельным человеком, немного

наивным и нежным товарищем. Он страстно был привязан к Ильичу, Красину и Богданову... Подружился он с моей матерью, рассказывал ей о тетке, о сестрах. Камо часто ездил из Финляндии в Питер, всегда брал с собой оружие, и мама каждый раз особенно заботливо увязывала ему револьверы на спине". Отметим, что мать Крупской была вдовой царского чиновника и рассталась с религией только на старости лет.

Незадолго до тифлисской экспроприации Камо снова посетил финляндский штаб. Медведева пишет: "Под видом офицера, Камо съездил в Финляндию, был у Ленина и с оружием и взрывчатыми веществами вернулся в Тифлис". Поездка совершена была либо накануне Лондонского съезда, либо сейчас же после него. Бомбы были получены из лаборатории Красина. Химик по образованию, Леонид еще будучи студентом мечтал о бомбах размером в орех. 1905 год дал ему возможность развернуть свои изыскания в этом направлении. Правда, он не достиг идеальных размеров ореха, но в лабораториях, действоваших под его руководством, изготовлялись бомбы большой сокрушительной силы. Боевики не в первый раз проверили их на площади Тифлиса.

После экспроприации Камо вынырнул в Берлине. Здесь его арестовали по доносу провокатора Житомирского, занимавшего видное место в заграничной организации большевиков. При аресте прусская полиция захватила чемодан, в котором, как полагается, находились бомбы и револьверы. По сведениям меньшевиков (расследование вел будущий дипломат Чичерин), динамит Камо предназначался будто бы для нападения на банкирскую контору Мендельсона в Берлине. "Неверно, — утверждает осведомленный большевик Пятницкий, — динамит был приготовлен для Кавказа". Оставим назначение динамита под знаком вопроса. Камо просидел в немецкой тюрьме более 1,5 лет, симулируя все время, по совету Красина, буйное помешательство. В качестве неизлечимого больного он был выдан России и просидел в Тифлисе, в Метехском замке, еще около полутора лет, подвергаясь самым тяжким испытаниям. Окончательно признанный безнадежно помешанным, Камо был переведен в психиатрическую больницу, откуда бежал. "Потом нелегально, прячась в трюме, поехал в Париж потолковать с Ильичем". Это было уже в 1911 г. Камо страшно мучился тем, что произошел раскол между Лениным, с одной стороны, Богдановым и Краси-

ным — с другой. "Он был горячо привязан ко всем троим", — повторяет Крупская. Далее следует идиллия: Камо попросил купить ему миндалю; сидел в кухне, заменявшей гостиную, ел миндаль, как на родном Кавказе, и рассказывал о страшных годах, о том, как притворялся сумасшедшим, о том,как в тюрьме приручил воробья. "Ильич слушал и остро-жалко ему было этого беззаветно смелого человека, детски наивного, с горячим сердцем, готового на великие подвиги и не знающего после побега, за какую работу взяться".

Снова арестованный в России Камо был приговорен к смерти. Манифест по поводу трехсотления династии (1913) принес неожиданную замену виселицы бессрочной каторгой. Через четыре года Февральская революция принесла неожиданное освобождение. Октябрьская революция принесла большевикам власть, но выбила Камо из колеи. Он походил на мощную рыбу, выброшенную на берег. Во время гражданской войны я пытался привлечь его к партизанской борьбе в тылу неприятеля. Но работа в поле, видимо, не была его призванием. К тому же и прожитые страшные годы не прошли бесследно. Камо задыхался. Он не для того рисковал своей и чужой жизнью десятки раз, чтоб стать благополучным чиновником. Катэ Цинцадзе, другая легендарная фигура, погиб в ссылке у Сталина от туберкулеза. Сходный конец выпал бы, наверняка, и на долю Камо, если б он не был случайно убит летом 1922 г. при столкновении с автомобилем на одной из улиц Тифлиса. В автомобиле сидел, надо думать, кто-нибудь из новой бюрократии. Камо передвигался в темноте на скромном велосипеде: он не сделал карьеры. Самая гибель его имеет символический характер.

По поводу фигуры Камо Суварин с мало оправдываемым высокомерием пишет об "анахронистическом мистицизме", несовместимом с рационализмом передовых стран. На самом деле в Камо получили лишь предельное выражение некоторые из черт революционного типа, который вовсе не сошел еще с порядка дня и в странах "западной цивилизации". Недостаток революционного духа в рабочем движении Европы привел уже в ряде стран к торжеству фашизма, в котором "анахронистический мистицизм" — вот где это слово уместно! — находит свое наиболее отвратительное выражение. Борьба против железной тирании фашизма непременно воспитает в революционных борцах Запада

все те черты, которые поражают скептического филистера в фигуре Камо. В своей "Железной пяте" Джек Лондон предсказывал целую эпоху американских Камо на службе социализма. Исторический процесс сложнее, чем хотелось бы думать поверхностному рационализму.

Личное участие Кобы в тифлисской экспроприации издавна считалось в партийных кругах несомненным. Бывший советский дипломат Беседовский, наслушавшийся разных историй в бюрократических салонах второго и третьего класса, рассказывает, что Сталин, "согласно инструкции Ленина", непосредственного участия в экспроприации не принимал, но что он сам будто бы "впоследствии хвастал, что это именно он разработал план действий до мельчайших подробностей и что первую бомбу бросил он же с крыши дома князя Сумбатова". Хвастал ли действительно Сталин когда-либо своим участием, или же Беседовский хвастает осведомленностью, решить трудно. Во всяком случае, в советскую эпоху Сталин не подтверждал этих слухов, но и не опровергал их. Он, видимо, не имел ничего против того, что трагическая романтика экспроприаций связывается в сознании молодежи с его именем. Еще в 1932 г. я лично не сомневался в руководящем участии Сталина в вооруженном нападении на Эриванской площади и упомянул об этом мимоходом в одной из статей. Более внимательное изучение обстоятельств того времени заставляет, однако, пересмотреть традиционную версию.

В хронике, приложенной к XII тому "Сочинений" Ленина, под датой: 12 июня 1907 г. читаем: "Тифлисская экспроприация (341 000 руб.), организованная Камо-Петросяном". И только. В посвященном Красину сборнике, где много говорится о знаменитой нелегальной типографии на Кавказе и о боевой работе партии, Сталин ни разу не назван. Старый боевик, хорошо осведомленный в делах того периода, пишет: "Планы всех организованных последним (Камо) экспроприаций в Квирильском и Душетском казначействах и на Эриванской площади подготовлялись и обсуждались им совместно с Никитичем (Красиным)". О Сталине ни слова. Другой бывший боевик утверждает: "Такие экспроприации, как тифлисская и другие, происходили под непосредственным руководством Леонида Борисовича (Красина)". О Сталине опять ничего. В книге Бибинеишвили, где рассказаны все подробности подготовки и выполнения экспроприации, имя

Сталина не упомянуто ни разу. Из этих умолчаний вытекает неоспоримо, что Коба не входил в непосредственные сношения с членами дружины, не инструктировал их, не был, следовательно, организатором дела в подлинном смысле слова, не говоря уже о прямом участии.

Съезд в Лондоне закончился 27 апреля. Экспроприация в Тифлисе произведена 12 июня, через полтора месяца. У Сталина оставалось слишком мало времени между возвращением из-за границы и днем экспроприации, чтобы руководить подготовкой столь сложного предприятия. Вернее всего, боевики успели уже подобраться и спеться в ряде предшествующих опасных дел. Они могли ждать решения съезда. У некоторых могли быть сомнения, как посмотрит теперь на экспроприацию Ленин. Боевики ждали сигнала. Сталин мог привезти им сигнал. Шло ли его участие дальше этого? Об отношениях Камо и Кобы мы не знаем почти ничего. Камо умел привязываться к людям. Между тем никто не говорит об его привязанности к Кобе. Умолчание об их отношениях заставляет думать, что привязанности не было, что были, скорее, конфликты. Источником их могли быть попытки Кобы командовать Камо или приписывать себе то, что ему не принадлежало. В своей книге о Камо Бибинеишвили рассказывает следующий факт. В Грузии, уже в советский период, появился "таинственный незнакомец", который под фальшивым предлогом завладел корреспонденцией Камо и другими ценными материалами. Кому они нужны были и для чего? Документы, как и похититель канули в бездну. Будет ли слишком поспешно допустить, что Сталин через своего агента вырвал из рук Камо те материалы, которые почему-либо тревожили его? Это не значит, однако, что между ними не могло быть тесного сотрудничества в июне 1907 г. Ничто не мешает допустить, что отношения испортились после тифлисского "дела" и что Коба мог быть советником Камо при выработке последних деталей. Советник мог создать за границей преувеличенное представление о своей роли. Приписать себе руководство экспроприацией легче, чем — руководство Октябрьским переворотом. Сталин не остановился, однако, и перед этим.

Барбюс рассказывает, что в 1907 г. Коба отправился в Берлин и оставался там некоторое время "для бесед с Лениным". Для каких именно, автор не знает. Текст книги Барбюса состоит,

главным образом, из ошибок. Но ссылка на поездку в Берлин заставляет тем более прислушаться, что в диалоге с Людвигом Сталин упомянул о своем пребывании в Берлине в 1907 г. Если Ленин специально приезжал для этого свидания в столицу Германии, то уж во всяком случае не ради теоретических "бесед". Свидание могло произойти либо непосредственно перед, либо, вернее, сейчас же после съезда и почти несомненно посвящено было предстоящей экспроприации, способам доставки денег и пр. Почему переговоры велись в Берлине, а не в Лондоне? Весьма вероятно, что Ленин считал неосторожным встечаться с Ивановичем в Лондоне, на виду у других делегатов и многочисленных царских и иных шпионов, привлеченных съездом. Возможно также, что в совещаниях должны были принимать участие третьи лица, непричастные к съезду. Из Берлина Коба возвращается в Тифлис, но уже через короткое время переселяется в Баку, откуда, по словам Барбюса, "снова едет за границу на свидание с Лениным". Кто-либо из близко посвященных кавказцев (Барбюс был на Кавказе и записывал там немало рассказов, аранжированных Берия) упомянул, очевидно, о двух свиданиях Сталина с Лениным за границей, чтоб подчеркнуть их близость. Хронология этих свиданий очень многозначительна: одно предшествует экспроприации, другое непосредственно следует за ней. Этим достаточно определяется их цель. Второе свидание было, по всей вероятности, посвящено вопросу: продолжать или прекратить?

Иремашвили пишет: "Дружба Кобы-Сталина с Лениным с этого началась". Слово "дружба" здесь явно не подходит. Дистанция, отделявшая этих двух людей, исключала личную дружбу. Но сближение действительно началось, видимо, с того времени. Если верно предположение, что Ленин заранее сговаривался с Кобой о проекте экспроприации в Тифлисе, то совершенно естественно, что он должен был проникнуться чувством восторга к тому, в ком видел ее организатора. Прочитав телеграмму о захвате добычи без единой жертвы со стороны революционеров, Ленин вероятно воскликнул про себя, а может быть, и сказал Крупской: "Чудесный грузин!" Слова, которые мы встретим позже в одном из его писем Горькому. Увлечение людьми, проявившими решительность или просто удачно проведшими порученную им операцию, свойственно было Ленину в высшей степе-

ни до конца его жизни. Особенно он ценил людей действия. На опыте кавказских экспроприаций он, видимо, оценил Кобу как человека, способного итти или вести других до конца. Он решил, что "чудесный грузин" пригодится.

Тифлисская добыча не принесла добра. Вся захваченная сумма состояла из билетов в 500 рублей. Столь крупные купюры невозможно было пускать в оборот. После огласки, какую получила трагическая схватка на Эриванской площади, попытаться разменять билеты в русских банках было немыслимо. Операция была перенесена за границу. Но участие в организации размена принимал провокатор Житомирский, который своевременно предупредил полицию. Будущий народный комиссар по иностранным делам Литвинов был арестован при попытке размена в Париже. Ольга Равич, ставшая позже женой Зиновьева, попала в руки полиции в Стокгольме. Будущий народный комиссар здравоохранения, Семашко, оказался арестован в Женеве, видимо, случайно. "Я был из тех большевиков, — пишет он, — которые тогда приниципиально стояли против экспроприаций". История с разменом чрезвычайно увеличила число таких большевиков. "Швейцарские обыватели, — рассказывает Крупская, — были перепуганы насмерть. Только и разговоров было, что о русских экспроприаторах. Об этом с ужасом говорили за столом и в том пансионе, куда мы с Ильичем ходили обедать". Отметим, что Ольга Равич, как и Семашко исчезли в последних советских "чистках".

Тифлисская экспроприация ни в каком случае не могла рассматриваться как партизанская стычка между двумя сражениями гражданской войны. Ленин не мог не видеть, что восстание отодвинулось в неопределенное будущее. Задача состояла для него на этот раз просто в том, чтоб попытаться обеспечить партию денежными средствами за счет врага на надвигающийся черный период. Ленин не удержался от искушения, понадеялся на благоприятный случай, на счастливое "исключение". В этом смысле, надо прямо сказать, идея тифлисской экспроприации заключала в себе добрый элемент авантюризма, столь чуждого вообще политике Ленина. Другое дело Сталин. Широкие исторические соображения имели мало цены в его глазах. Резолюция Лондонского съезда была только неприятным клочком бумаги, который можно опровергнуть при помощи грубой уловки.

Риск будет оправдан успехом. Суварин возражает на это, что неправильно переносить ответственность с вождя фракции на второстепенную фигуру. О перенесении ответственности нет и речи. Но во фракции большевиков большинство в этот период было уже в вопросе об экспроприациях против Ленина. Большевики, которые непосредственно соприкасались с боевыми дружинами, имели слишком убедительные наблюдения, которых Ленин, снова отброшенный в эмиграцию, был лишен. Без поправок снизу самый гениальный вождь будет неизбежно делать грубые ошибки. Остается фактом, что Сталин не был в числе тех, которые своевременно поняли недопустимость партизанских действий в обстановке революционного упадка. И это не случайность. Партия была для него прежде всего аппаратом. Аппарат требует денежных средств для существования. Денежные средства можно добыть при помощи другого аппарата, независимого от жизни и борьбы масс. Сталин был здесь на своем месте.

Последствия трагической авантюры, закончившей целую полосу в жизни партии, были достаточно тяжелы. Борьба вокруг тифлисской экспроприации надолго отравила отношения в партии и внутри самой большевистской фракции. С этого времени Ленин меняет фронт и все решительнее выступает против тактики экспроприаций, которая остается еще на известное время достоянием "левого" крыла большевиков. В последний раз тифлисское "дело" официально разбиралось в ЦК партии в январе 1910 г. по настоянию меньшевиков. Резолюция строго осудила экспроприации как недопустимые нарушения партийной дисциплины, но признавала, что в намерения участников не входило причинение ущерба рабочему движению и что ими "руководили лишь неправильно понятые интересы партии". Никто не был исключен. Никто не был назван по имени. В числе других был и Коба, таким образом, амнистирован в качестве лица, руководившегося "неправильно понятыми интересами партии".

Тем временем разложение революционных организаций шло полным ходом. Еще в октябре 1907 г. литератор-меньшевик Потресов писал Аксельроду: "У нас полный распад и совершенная деморализация... Нет не то, что организации, но даже и элементов для нее. И это небытие возводится еще в принцип..." Возведение распада в принцип стало вскоре уделом большинства вождей меньшевизма , в том числе и Потресова. Они объявили

нелегальную партию раз навсегда ликвидированной и стремление восстановить ее — реакционной утопией. Мартов утверждал, что именно "скандальные истории, вроде размена тифлисских кредиток", вынуждали "наиболее преданные партии и наиболее активные элементы рабочего класса" сторониться от всякого соприкосновения с нелегальным аппаратом. В ужасающем развитии провокации меньшевики, получившие теперь кличку *ликвидаторов*, находили другой убедительный довод в пользу "необходимости" покинуть зачумленное подполье. Окапываясь в профессиональных союзах, образовательных клубах, страховых обществах, они вели работу не как революционеры, а как культурные пропагандисты. Чтоб сохранить свои посты в легальных организациях, чиновники из рабочих начали прибегать к покровительственной окраске. Они избегали стачечной борьбы, чтоб не компрометировать еле терпимые профессиональные союзы. Легальность во что бы то ни стало означала на практике отказ от революционных методов вообще.

В самые глухие годы ликвидаторы занимали авансцену. "Они меньше страдали от полицейских преследований, — пишет Ольминский. — У них было много литературных, отчасти, лекторских и вообще интеллигентских сил. Они считали себя господами положения". Попытки большевистской фракции, ряды которой редели не по дням, а по часам, сохранить свой нелегальный аппарат, разбивались не каждом шагу о враждебные условия. Большевизм казался окончательно осужденным. "Все теперешнее развитие... — писал Мартов, — делает образование сколько-нибудь прочной партии-секты жалкой реакционной утопией". В этом основном прогнозе Мартов и с ним вместе русский меньшевизм жестоко ошиблись. Реакционной утопией оказались перспективы и лозунги "ликвидаторов". Для открытой рабочей партии в режиме 3-го июня не могло быть места. Даже партия либералов встретила отказ в регистрации. "Ликвидаторы стряхнули с себя нелегальную партию, — писал Ленин, — но и не выполнили обязательства основать легальную". Именно потому, что большевизм сохранял верность задачам революции в период ее упадка и унижения, он подготовил свой небывалый расцвет в годы ее нового подъема.

На противоположном от ликвидаторов полюсе, именно на левом фланге большевистской фракции, сложилась тем време-

нем экстремистская группировка, которая упорно не хотела признавать изменившуюся обстановку и продолжала отстаивать тактику прямого действия. Разногласия, возникшие по вопросу о бойкоте Думы, привели после выборов к созданию фракции "отзовистов", которая требовала отозвания социал-демократических депутатов из Думы. Отзовисты были несомненно симметричным дополнением ликвидаторства. В то время, как меньшевики всегда и везде, даже в обстановке непреодолимого напора революции, считали необходимым участвовать во всяком, чисто эпизодическом "парламенте", откроированном царем, отзовисты думали, что бойкотируя парламент, установившийся в результате поражения революции, они смогут вызвать новый напор масс. Так как электрические разряды сопровождаются треском, то "непримиримые" пытались посредством искусственного треска вызвать электрические разряды.

Период динамитных лабораторий еще властно тяготел над Красиным: этот умный и проницательный человек примкнул на время к секте отзовистов, чтоб затем на ряд лет отойти от революции. Отошел влево и другой ближайший сотрудник Ленина по секретной большевистской "тройке", Богданов. Вместе с тайным триумвиратом распаласть старая верхушка большевизма. Но Ленин не дрогнул. Летом 1907 г. большинство фракции стояло за бойкот. Весной 1908 г. "отзовисты" оказались уже в меньшинстве в Петербурге и Москве. Перевес Ленина обнаруживался с несомненностью. Коба своевременно учел это. Опыт с аграрной программой, когда он открыто выступил против Ленина, сделал его осторожнее. Он отошел от своих единомышленников-бойкотистов незаметно и молча. Оставаться на поворотах в тени и менять позицию без шума стало основным приемом его поведения.

Продолжающееся дробление партии на мелкие группы, ведшие жестокую борьбу в почти безвоздушном пространстве, породило в разных фракциях тенденцию к примирению, соглашению, единству во что бы то ни стало. Именно в этот период на первый план выдвинулась другая сторона "троцкизма": не теория перманентной революции, а партийное "примиренчество". Об этом необходимо вкратце сказать здесь в интересах понимания позднейшей борьбы между сталинизмом и троцкизмом. С 1904 г., т. е. с момента возникновения разногласий в оценке либеральной буржуазии, я порвал с меньшинством Второго съезда и в

течение последующих тринадцати лет оставался вне фракций. Моя позиция в отношении внутрипартийной борьбы сводилась к следующему: поскольку у большевиков, как и у меньшевиков, господство принадлежит революционной интеллигенции и поскольку обе фракции не идут дальше буржуазно-демократической революции, раскол между ними ничем не оправдывается; в новой революции обе фракции под давлением рабочих масс все равно вынуждены будут, как и в 1905 г., занять одну и ту же революционную позицию. Некоторые критики большевизма и сейчас считают мое старое примиренчество голосом мудрости. Между тем глубокая ошибочность его давно вскрыта теорией и опытом. Простое примирение фракций возможно лишь на какой-либо "средней" линии. Но где же гарантия, что эта искусственно выведенная диагональ совпадет с потребностями объективного развития? Задача научной политики состоит в том, чтобы вывести программу и тактику из анализа борьбы классов, а не из параллелограма таких второстепенных и преходящих сил, как политические фракции. Обстановка реакции вводила, правда, политическую деятельность всей партии в очень узкие пределы. Под углом зрения момента могло казаться, что разногласия имеют второстепенный характер и искусственно раздуваются эмигрантскими вождями. Но именно в период реакции революционная партия не могла воспитывать свои кадры без большой перспективы. Подготовка к завтрашнему дню входила важнейшим элементом в политику сегодняшнего дня. Примиренчество питалось надеждой на то, что ход событий сам подскажет необходимую тактику. Но этот фаталистический оптимизм означал на деле отказ не только от фракционной борьбы, но и от самой идеи партии. Ибо если "ход событий" способен непосредственно продиктовать массам правильную политику, к чему особое объединение пролетарского авангарда, выработка программы, отбор руководства, воспитание в духе дисциплины?

Мелкая и кропотливая — по масштабам, смелая — по размаху мысли, работа Ленина в годы реакции навсегда останется великой школой революционного воспитания. "Мы научились во время революции, — писал Ленин в июле 1909 г., — "говорить по-французски", т. е. ... поднимать энергию и размах непосредственной массовой борьбы. Мы должны теперь, во время застоя, реакции, распада, научиться "говорить по-немецки", т. е. действо-

вать медленно... завоевывая вершок за вершком". Вождь меньшевиков Мартов писал в 1911 г.: "То, что 2—3 года назад деятелями открытого движения (т. е. ликвидаторами) признавалось лишь принципиально — необходимость строить партию "по-немецки"... теперь повсюду признается как задача, к практическому решению которой можно уже приступать". Хотя оба, и Ленин, и Мартов как будто заговорили "по-немецки", но на самом деле они говорили на разных языках. Для Мартова говорить "по-немецки" значило приспособляться к русскому полуабсолютизму в надежде постепенно "европеизировать" его. Для Ленина то же выражение означало: при помощи нелегальной партии использовать скудные легальные возможности для подготовки революции. Как показало дальнейшее оппортунистическое вырождение германской социал-демократии, меньшевики вернее отражали дух "немецкого языка" в политике. Но Ленин неизмеримо правильнее понимал объективный ход развития России, как и самой Германии: эпохе мирных реформ шла на смену эпоха катастроф.

Что касается Кобы, то он не знал ни французского, ни немецкого языка. Но все свойства его натуры толкали его на сторону ленинского решения. Коба не гонялся за открытой ареной, как ораторы и журналисты меньшевизма, ибо на открытой арене обнаруживались больше его слабые, чем сильные стороны. Но в условиях контрреволюционного режима этот аппарат мог быть только нелегальным. Если Кобе не хватало исторического кругозора, зато он в избытке был наделен упорством. В годы реакции он принадлежал не к тем десяткам тысяч, которые покидали партию, а к тем немногим сотням, которые, несмотря ни на что, сохраняли верность ей.

Вскоре после Лондонского съезда молодой Зиновьев, выбранный в ЦК, превратился в эмигранта, как и Каменев, включенный в Большевистский центр. Коба оставался в России. Впоследствии он вменял себе это в исключительную заслугу. В действительности, дело обстояло иначе. Выбор места и характера работы только в небольшой мере зависел от заинтересованного. Если б ЦК видел в Кобе молодого теоретика или публициста, способного за границей подняться на более высокую ступень, его несомненно оставили бы в эмиграции и у него не было бы ни возможности, ни желания отказаться. Но никто не звал его

за границу. С тех пор, как на верхах партии вообще узнали о нем, его рассматривали как "практика", т. е. рядового революционера, пригодного преимущественно для местной организационной работы. Да и самого Кобу, смерившего свои силы на съездах в Таммерфорсе, Стокгольме и Лондоне, вряд ли тянуло в эмиграцию, где он был бы обречен на третьи роли. Позже, после смерти Ленина, нужда была превращена в добродетель, и самое слово "эмигрант" стало в устах новой бюрократии звучать почти так же, как звучало некогда в устах консерваторов царской эпохи.

Ленин ушел в новое изгнанье, по собственным словам, точно ложился в гроб. "Мы здесь страшно оторваны теперь... — писал он из Парижа осенью 1909 г. — Годы действительно адски трудные..." В русской буржуазной печати стали появляться уничижительные статьи об эмиграции, в которой как бы воплощалась разбитая и отвергнутая образованным обществом революция. В 1912 г. Ленин ответил на эти пасквили в петебрургской газете большевиков: "Да, много тяжелого в эмигрантской среде... В этой среде больше нужды и нищеты, чем в другой. В ней особенно велик процент самоубийств..." Однако "в ней и только в ней ставились в годы безвременья и затишья важнейшие принципиальные вопросы всей русской демократии". В тягостных и изнуряющих боях эмигрантских групп подготовлялись руководящие идеи революции 1917 г. В этой работе Коба не принимал никакого участия.

С осени 1907 г. до марта 1908 г. Коба ведет революционную работу в Баку. Установить дату его переселения сюда невозможно. Весьма вероятно, что он выехал из Тифлиса в тот момент, когда Камо заряжал последнюю бомбу: осторожность входила в мужество Кобы преобладающей чертой. Разноплеменный Баку, насчитывавший уже в начале столетия свыше 100 тысяч жителей, продолжал быстро расти, всасывая в нефтяную промышленность массы азербайджанских татар. На революционное движение 1905 г. царские власти не без успеха ответили натравливанием татар на более передовых армян. Однако революция захватила и отсталых азербайджанцев. С запозданием по отношению ко всей стране они массами участвуют в стачках 1907 г.

Коба провел в Черном городе около восьми месяцев, из которых нужно вычесть время на поездку в Берлин. "Под руковод-

ством тов. Сталина, — пишет малоизобретательный Берия, — выросла, укрепилась и закалилась в борьбе с меньшевиками бакинская большевистская организация". Коба отправляется в те районы, где противники были особенно сильны. "Под руководством тов. Сталина большевики сломили влияние меньшевиков и эсеров" и т.д. Немногим больше мы узнаем от Аллилуева. Собирание большевистских сил после полицейского разгрома совершилось, по его словам, "под непосредственным руководством и при активном участии тов. Сталина... Его организаторские способности, подлинный революционный энтузиазм, неистощимая энергия, твердая воля и большевистское упорство..." и т. д. К сожалению, воспоминания тестя Сталина написаны в 1937 г. Формула: "под непосредственным руководством и при активном участии" безошибочно выдает мануфактуру Берия. Социалист-революционер Верещак, ведший тогда же работу в Баку и наблюдавший Кобу глазами противника, признает за ним исключительные организаторские способности, но совершенно отрицает личное влияние на рабочих. "Его внешность, — пишет он, — на свежего человека производила плохое впечатление. Коба и это учитывал. Он никогда не выступал открыто на массовых собраниях... Появление Кобы в том или ином рабочем районе всегда было законспирировано, и о нем можно было догадаться только по оживившейся работе большевиков". Это больше похоже на правду. С Верещаком мы еще встретимся.

Воспоминания большевиков, написанные до тоталитарной эры, отводят первое место в бакинской организации не Кобе, а Шаумяну и Джапаридзе, двум выдающимся революционерам, расстрелянным англичанами во время оккупации Закавказья 20 сентября 1918 г. "Из старых товарищей в Баку работали тогда, — пишет Каринян, биограф Шаумяна, — товарищи А. Енукидзе, Коба (Сталин), Тимофей (Спандарян), Алеша (Джапаридзе). Большевистская организация... имела широкую базу для работы в лице профессионального союза нефтепромышленных рабочих. Секретарем и фактическим организатором всей союзной работы был Алеша (Дзапаридзе)". Енукидзе назван раньше Кобы, главная роль отведена Джапаридзе. И дальше: "Оба они (Шаумян и Джапаридзе) были любимейшими вождями бакинского пролетариата". Кариняну, писавшему в 1924 г., еще не приходит в голову причислить Кобу к "любимейшим вождям".

Бакинский большевик Стопани рассказывает, как он в 1907 г. ушел с головой в профессиональную работу, "самую злободневную для Баку того времени. Профессиональный союз находился под руководством большевиков. В союзе видную роль играли неизменный Алеша Джапаридзе и, меньшую, тов. Коба (Джугашвили), больше отдававший силы преимущественно партийной работе, которой он руководил..." В чем состояла "партийная работа", за вычетом "самой злободневной" работы по руководству профессиональным союзом, Стопани не уточняет. Зато он бросает очень интересное замечание о разногласиях среди бакинских большевиков. Все они стояли за необходимость организационного "закрепления" влияния партии на союз. Но "относительно степени и форм этого закрепления были разногласия и внутри нас самих: была уже своя "левая" (Коба-Сталин) и "правая" (Алеша Джапаридзе и др., в том числе и я); разногласие было не по существу, а в отношении тактики или способов осуществления этой связи". Намеренно туманные слова Стопани — Сталин уже был очень силен — позволяют безошибочно представить себе действительную расстановку фигур. Благодаря запоздалой волне стачечного движения, профессиональный союз выдвинулся на передний план. Вождями союза естественно оказались те, кто умел разговаривать с массами и вести их: Джапаридзе и Шаумян. Отодвинутый снова на второй план, Коба окопался в подпольном Комитете. Борьба за влияние партии на профессиональный союз означала для него подчинение вождей массы, Джапаридзе и Шаумяна, его собственному командованию. В борьбе за такого рода "закрепление" личной власти Коба, как видно из слов Стопани, восстановил против себя всех руководящих большевиков. Активность масс не благоприятствовала планам закулисного комбинатора.

Особенно острый характер приобрело соперничество Кобы с Шаумяном. Дело дошло до того, что после ареста Шаумяна рабочие, по свидетельству грузинских меньшевиков, заподозрили Кобу в доносе на своего соперника полиции и требовали над ним партийного суда. Кампания была прервана только арестом Кобы. Вряд ли у обвинителей были твердые доказательства. Но подозрение могло сложиться на основании ряда совпадающих обстоятельств. Достаточно, однако, и того, что товарищи по партии считали Кобу способным на донос по мотивам раздраженного честолюбия. Ни о ком другом не рассказывали подобных вещей!

Относительно финансирования бакинского Комитета во время участия в нем Кобы есть совпадающие, но отнюдь не бесспорные показания насчет "экспроприаций" с оружием в руках; денежных контрибуций, налагавшихся на промышленников под угрозой смерти или поджога нефтяных источников ; фабрикации и сбыта фальшивых ассигнаций и пр. Приписывались ли все эти деяния, сами по себе несомненные, инициативе Кобы уже в те отдаленные годы, или же большую их часть связали с его именем лишь значительно позже, решить трудно. Во всяком случае, участие Кобы в столь рискованных предприятиях не могло быть прямым, иначе оно неизбежно обнаружилось бы. По всей видимости, боевыми операциями он руководил так же, как пытался руководить профессиональным союзом: из-за кулис. Достойно внимания, с этой точки зрения, что о бакинском периоде жизни Кобы известно очень мало. Регистрируются самые ничтожные эпизоды, если они служат к славе "вождя". Но о содержании его революционной работы нам сообщают лишь общие фразы. Фигура умолчания вряд ли имеет случайный характер.

"Социалист-революционер" Верещак еще совсем молодым попал в 1909 г. в бакинскую, так называемую баиловскую тюрьму, где провел 3,5 года. Арестованный 25 марта Коба просидел в той же тюрьме полгода, покинул ее для ссылки, провел там девять месяцев, вернулся нелегально в Баку, был снова арестован в марте 1910 г. и снова оставался, бок о бок с Верещаком, около 6 месяцев в заключении. В 1912 г. товарищи по тюрьме столкнулись в Нарыме, в Сибири. Наконец, после Февральской революции Верещак в качестве делегата от тифлисского гарнизона встретил старого знакомца на Первом съезде Советов в Петрограде. После политического возвышения Сталина Верещак подробно рассказал в эмигрантской газете о совместной жизни в тюрьме. Не все, может быть, в его повествовании достоверно, и не все его суждения убедительны. Так, Верещак утверждает, несомненно с чужих слов, будто Коба сам признавался в том, что "с революционными целями" выдал своих товарищей по семинарии; неправдоподобие этого рассказа было уже показано выше. Рассуждения народнического автора о марксизме Кобы крайне наивны. Но Верещак имел неоценимое преимущество наблюдать Кобу в такой обстановке, где поневоле отпадают навыки и условности культурного общежития. Рассчитанная

на 400 заключенных бакинская торьма содержала их в то время более 1 500. Арестанты спали в переполненных камерах, в коридорах, на ступеньках лестниц. При такой скученности не могло быть и речи об изоляции. Все двери, кроме дверей карцера, стояли настеж. Уголовные и политические свободно передвигались по камерам, корпусам и двору. "Невозможно было ни сесть, ни лечь без того, чтобы другого не задеть". В этих условиях все наблюдали друг друга, а многие — и самих себя с совершенно неожиданных сторон. Даже сдержанные и холодные люди раскрывали такие черты своего характера, которые в обычных условиях удается держать под спудом.

"Развит был Коба крайне односторонне, — пишет Верещак, — был лишен общих принципов, достаточной общеобразовательной подготовки. По натуре своей всегда был малокультурным, грубым человеком. Все это в нем сплеталось с особенно выработанной хитростью, за которой и самый проницательный человек сначала не мог бы заметить остальных скрывающихся черт". Под "общими принципами" автор понимает, видимо, принципы морали: сам он, в качестве народника, принадлежал к школе "этического" социализма. Удивление Верещака вызвала выдержка Кобы. В тюрьме существовала жестокая игра, которая ставила задачей довести противника какими угодно мерами до умоисступления: это называлось "загнать в пузырь". "Кобу никогда не удавалось вывести из равновесия, — утверждает Верещак. — Ничто не могло его задеть..." Эта игра была совсем невинной по сравнению с другой игрой, которую вели власти. Среди заключенных находились лица, которые вчера или сегодня были приговорены к смерти и с часу на час ждали окончательного решения своей судьбы. "Смертники" ели и спали вместе со всеми остальными. На глазах арестантов их выводили ночью и вешали в тюремном дворе, так что в камерах были "слышны крики и стоны казненных". Всех заключенных трепала нервная лихорадка. "Коба крепко спал, — говорит Верещак, — или спокойно зубрил эсперанто (он находил, что эсперанто — это будущий язык интернационала)". Нелепо было бы думать, что Коба оставался безразличен к казням. Но у него были крепкие нервы. Он не переживал за других, как за себя. Такие нервы сами по себе представляли уже важный капитал.

Несмотря на хаос, казни, партийные и личные стычки, бакин-

ская тюрьма была большой революционной школой. Среди марксистских руководителей выделялся Коба. В личных спорах он участия не принимал, предпочитая публичную дискуссию: верный признак того, что своим развитием и опытом Коба возвышался над большинством заключенных. "Внешность Кобы и его полемическая грубость делали его выступления всегда неприятными. Его речи были лишены остроумия и носили форму сухого изложения". Верещак вспоминает об одной "аграрной дискуссии", когда Орджоникидзе, сподвижник Кобы, "хватил по физиономии содокладчика, эсера Илью Карцевадзе, за что был жестоко эсерами избит". Это не выдумано: склонность к физическим аргументам не в меру горячий Орджоникидзе сохранил и тогда, когда стал советским сановником. Ленин даже предлагал исключить его за это из партии.

Верещак поражается "механизированной памятью" Кобы, маленькая голова которого "с неразвитым лбом" включала в себя будто бы весь "Капитал" Маркса. "Марксизм был его стихией, в нем он был непобедим... Под всякое явление он умел подвести соответствующую формулу по Марксу. На непросвещенных в политике молодых партийцев такой человек производил сильное впечатление". К числу "непросвещенных" относился и сам Верещак. Молодому народнику, воспитавшемуся на истинно русской беллетристической социологии, марксистский багаж Кобы мог казаться чрезвычайно солидным. На самом деле, он был достаточно скромен. У Кобы не было ни действительных теоретических запросов, ни усидчивости, ни дисциплины мысли. Вряд ли правильно говорить об его "механизированной памяти". Она узка, эмпирична, утилитарна, но, несмотря на семинарскую тренировку, совсем не механизирована. Это мужицкая память, лишенная размаха и синтеза, но крепкая и упорная, особенно в злопамятстве. Совсем неверно, будто голова Кобы была набита готовыми цитатами на все случаи жизни. Начетчиком и схоластом Коба не был. Из марксизма он усвоил, через Плеханова и Ленина, наиболее элементарные положения о борьбе классов и о подчиненном значении идей по отношению к материальным факторам. Крайне упрощая эти положения, он мог, тем не менее, с успехом применять их против народников, как человек с револьвером, хотя бы и примитивным, успешно сражается против человека с бумеран-

гом. Но Коба оставался по существу безразличен к марксистской доктрине в целом.

Во время заключения в тюрьмах Батума и Кутаиса Коба, как мы помним, пытался проникнуть в тайны немецкого языка: влияние германской социал-демократии на русскую было тогда чрезвычайно велико. Однако совладать с языком Маркса Кобе удалось еще меньше, чем с доктриной. В бакинской тюрьме он принялся за эсперанто как за язык "будущего". Этот штрих очень наглядно раскрывает интеллектуальный диапазон Кобы, который в сфере познанья всегда искал линии наименьшего сопротивления. Несмотря на восемь лет, проведенных им в тюрьмах и ссылке, ему так и не удалось овладеть ни одним иностранным языком, не исключая и злополучного эсперато.

По общему правилу, политические заключенные старались не общаться с уголовными. Кобу, наоборот, "можно было всегда видеть в обществе головорезов, шантажистов, среди грабителей-маузеристов". Он чувствовал себя с ними на равной ноге. "Ему всегда импонировали люди реального "дела". И на политику он смотрел, как на "дело", которое надо уметь и "сделать" и "обделать". Это очень правильно подмечено. Но именно это наблюдение лучше всего опровергает слова насчет механизированной памяти, начиненной готовыми цитатами. Коба тяготился обществом людей с более высокими умственными интересами. В Политбюро в годы Ленина он почти всегда сидел молчаливым, угрюмым и раздраженным. Наоборот, он становился общительнее, ровнее и человечнее в кругу людей первобытного склада и не связанных никакими предрассудками. Во время гражданской войны, когда некоторые, преимущественно кавалерийские, части разнуздывались и позволяли себе насилия и бесчинства, Ленин иногда говорил: "Не послать ли нам туда Сталина он умеет с такими людьми разговаривать".

Зачинщиком тюремных протестов и демонстраций Коба не был, но всегда поддерживал зачинщиков. "Это делало его в глазах тюремной публики хорошим товарищем". И это наблюдение правильно. Инициатором Коба не был ни в чем, нигде и никогда. Но он был весьма способен воспользоваться инициативой других, подтолкнуть иницаторов вперед и оставить за собой свободу выбора. Это не значит, что Коба был лишен мужества, но он предпочитал расходовать его экономно. Режим в тюрьме пред-

ставлял сочетание распущенности с жестокостью. Заключенные пользовались значительной свободой внутри тюремных стен. Но когда какая-то трудно уловимая черта оказывалась перейденной, администрация прибегала к воинской силе. Верещак рассказывает, как в 1909 г. (очевидно, в 1908 г.), на первый день пасхи, рота Сальянского полка избивала всех без исключения политических, пропуская их сквозь строй, "Коба шел, не сгибая головы, под ударами прикладов, с книжкой в руках. И когда началась стихийная обструкция, Коба парашей высаживал двери своей камеры, несмотря на угрозы штыками". Этот сдержанный человек умел, в редких, правда, случаях доходить до крайнего бешенства.

Московский "историк" Ярославский пересказывает Верещака: "Сталин проходил сквозь строй солдат, читая Маркса". Имя Маркса здесь привлечено по той же причине, по которой в руке Богородицы оказывается роза. Вся советская историография состоит из таких роз. Коба с "Марксом" под прикладами стал предметом советской науки, прозы и поэзии. Между тем такое поведение не имело в себе ничего исключительного. Тюремные избиения, как и тюремный героизм, стояли в порядке дня.

Пятницкий рассказывает, как после его ареста в Вильно в 1902 г. полицейский предложил отправить арестованного, тогда еще совсем молодого рабочего, к становому приставу, известному своими побоями, чтоб вынудить у него показания. Но старший полицейский ответил: "Он и там ничего не скажет, он принадлежит к искровской организации". Уже в те ранние годы революционеры школы Ленина имели репутацию несгибаемых. Чтоб установить у Камо мнимую утрату чувствительности, врачи втыкали ему иглы под ногти. И только благодаря тому, что Камо стойко переносил такие испытания в течение нескольких лет, его признали в конце концов безнадеждо помешанным. Что значат по сравнению с этим несколько ударов прикладом? Нет основания преуменьшать мужество Кобы, но нужно ввести его в пределы места и времени.

Благодаря условиям тюрьмы, Верещак без труда подметил ту черту Сталина, благодаря которой он долгое время мог оставаться неизвестным: "...это способность втихомолку подстрекнуть других, а самому остаться в стороне". Дальше следуют два примера. Однажды в коридоре "политического" корпуса жестоко

избивали молодого грузина. По коридору проносилось зловещее слово "провокатор". Только подоспевшие солдаты прекратили избиение. Снесли на носилках в тюремную больницу окровавленное тело. Провокатор ли? И если провокатор, то почему не убили? "Обыкновенно провокаторов, в доказанных случаях, в баиловской тюрьме убивали", – отмечает мимоходом Верещак. "Никто ничего не знал и не понимал. И лишь спустя много времени выяснилось, что слух исходил от Кобы". Был ли избитый действительно провокатором, установить не удалось. Может быть, это был просто один из тех рабочих, которые выступали против экспроприаций или обвиняли Кобу в доносе на Шаумяна? Другой случай. На ступеньках лестницы, ведущей в политический корпус, некий заключенный, по прозвищу Грек, убил ножом молодого рабочего, только доставленного в тюрьму. Сам Грек считал убитого шпионом, хотя лично никогда раньше не встречал его. Кровавое происшествие, естественно взволновавшее тюрьму, долго оставалось невыясненным. Наконец, Грек стал проговариваться в том смысле, что его, видимо, зря "навели". Наводка же исходила от Кобы.

Кавказцы легко воспламеняются и прибегают к ножу. Холодному и расчетливому Кобе, знавшему язык и нравы, нетрудно было натравить одного на другого. В обоих случаях дело шло, несомненно, о мести. Подстрекателю не нужно было, чтобы жертвы знали, кто виновник их несчастья. Коба не склонен делиться чувствами, в том числе и радостью удовлетворенной мести. Он предпочитает наслаждаться один, про себя. Оба эпизода, как ни жутки они, не кажутся невероятными; позднейшие события придают им внутреннюю убедительность... В баиловской тюрьме идет подготовка к будущим событиям. Коба набирается опыта, Коба крепнет, Коба растет. Серая фигура бывшего семинариста с рябинками на лице отбрасывает от себя все более зловещую тень.

Верещак называет далее, но уже явно с чужих слов, различные рискованные предприятия Кобы во время его работы в Баку: организацию фальшивомонетчиков, ограбление казначейства и пр. "Никогда он по этим делам в судебном порядке не привлекался, хотя и фальшивомонетчики и эксисты сидели вместе с ним". Если б они знали о его роли, кто-нибудь неизбежно выдал бы его. "Способность втихомолку бить чужими руками

по цели, и в то же время оставаться незамеченным сделала Кобу хитрым комбинатором, не брезгующим никакими средствами и уклоняющимся от публичных отчетов и ответственности".

О жизни Кобы в тюрьме мы знаем, таким образом, больше, чем о его деятельности на воле. Но там и здесь он оставался верен себе. Меж дискуссий с народниками и бесед с грабителями он не забывал о революционной организации. Берия сообщает, что Кобе удалось из тюрьмы наладить правильные связи с бакинским Комитетом. Это вполне возможно: где нет изоляции политических от уголовных и политических — друг от друга, там невозможна и изоляция от внешнего мира. Один из номеров нелегальной газеты был полностью изготовлен в тюрьме. Хоть и ослабленный, пульс революции продолжал биться. Если тюрьма не повысила теоретических интересов Кобы, зато она не сломила его готовности к борьбе.

20 сентября Коба был выслан на север Вологодской губернии, в Сольвычегодск. Это была очень льготная ссылка: всего на два года, не в Сибири, а в Европейской России, не в селе, а в городке с двумя тысячами жителей, при легкой возможности побега. Ясно, что у жандармов не было против Кобы сколько-нибудь серьезных улик. При крайней дешевизне жизни на этих далеких окраинах ссыльные умудрялись проживать на те несколько рублей в месяц, которые выдавало правительство; на экстренные нужды получалась помощь от друзей и революционного Красного Креста. Как провел Коба девять месяцев в Сольвычегодске, что делал, что изучал, мы не знаем. Никаких документов не опубликовано: ни литературных работ, ни дневников, ни писем. В местном полицейском "деле об Иосифе Джугашвили", под рубрикой "поведение" значится: "груб, дерзок, с начальством непочтителен". Если "непочтительность" была общей чертой революционеров, то грубость была чертой индивидуальной.

Весной 1909 г. Аллилуев, живший уже в Петербурге, получил от Кобы письмо в места ссылки с просьбой сообщить ему свой адрес. "А в конце лета того же года Сталин бежал из ссылки в Питер, где мы встретились с ним случайно на одной из улиц Литейной части". Случилось так, что Сталин не застал Аллилуева ни на квартире, ни на службе и вынужден был долгое время бродить по улицам без приюта. "Когда мы с ним случайно на

улице встретились, то он уже изнемогал от усталости". Аллилуев устроил Кобу у сочувствующего революционерам дворника одного из гвардейских полков. "Здесь Сталин несколько времени спокойно отдыхал, повидался кое с кем из членов большевистской фракции III Думы, а затем уже двинулся на юг, в Баку".

Опять в Баку! Вряд ли его влек туда местный патриотизм. Вернее предположить, что в Петербурге не знали Кобы, депутаты Думы не проявили к нему интереса, никто не приглашал его оставаться и не предлагал столь необходимого нелегальному содействия. "Возвратившись в Баку, вновь энергично взялся за дальнейшее укрепление большевистских организаций... В октябре 1909 г. приезжает в Тифлис, организует и направляет борьбу большевистской организации против меньшевиков-ликвидаторов". Читатель узнает стиль Берия. В нелегальной печати Коба публикует несколько статей, интересных разве только в том отношении, что они написаны будущим Сталиным. Ввиду отсутствия сколько-нибудь ярких фактов, за которые можно было бы уцепиться, исключительное значение придается ныне корреспонденции, написанной Кобой в декабре 1909 г. для заграничной газеты партии. Противопоставляя активный промышленный центр, Баку, застойному Тифлису чиновников, лавочников и ремесленников, "Письмо с Кавказа" совершенно правильно объясняет социальной структурой Тифлиса господство в нем меньшевиков. Дальше следует полемика против неизменного лидера грузинской социал-демократии Жордания, который еще раз провозгласил необходимость "объединения сил буржуазии и пролетариата". Рабочие должны отказаться от непримиримой политики, ибо, уверяет Жордания, "чем слабее классовая борьба между пролетариатом и буржуазией, тем победоноснее буржуазная революция". Коба противопоставлял этому прямо противоположное положение: "победа революции будет тем полнее, чем больше обопрется революция на классовую борьбу пролетариата, ведущего за собой деревенскую бедноту против помещиков и либеральных буржуа". Все это было вполне правильно по существу, но не содержало ни одного нового слова: с весны 1905 г. подобная полемика повторялась несчетное число раз. Если корреспонденция была ценна для Ленина, то не ученическим пересказом его собственных мыслей, а как живой голос

из России в такой момент, когда большинство этих голосов замерло. Однако в 1937 г. "Письмо с Кавказа" объявлено "классическим образцом ленинско-сталинской тактики". "В нашей литературе и во всем нашем преподавании, — пишет один из панегиристов, — все еще недостаточно освещена эта исключительная по глубине, богатству содержания и историческому значению статья". Не остается ничего, как пройти мимо.

"В марте — апреле 1910 г. удается, наконец, — сообщает тот же историк (некий Рабичев), — создать российскую коллегию ЦК. В состав этой коллегии входит и Сталин. Однако эта коллегия не успела развернуть работы: вся она была арестована". Если это верно, то Коба, по крайне мере формально, вошел с 1910 г. в состав ЦК. Важная веха в его биографии! Однако это не верно. За пятнадцать лет до Рабичева старый большевик Германов (Фрумкин) рассказал следующее: "На совещании пишущего эти строки с Ногиным было решено предложить ЦК утвердить следующий список пятерки — русской части ЦК: Ногин, Дубровинский, Малиновский, Сталин и Милютин". Дело шло, таким образом, не о решении ЦК, а лишь о проекте двух большевиков. "Сталин был нам обоим лично известен, — продолжает Германов, — как один из лучших и более активных бакинских работников. Ногин поехал в Баку договориться с ним, но по ряду причин Сталин не мог взять на себя обязанности члена ЦК". В чем именно состояла помеха, Германов не говорит. Сам Ногин писал о своей поездке в Баку два года спустя: "В глубоком подполье находился Сталин (Коба), широко известный в то время на Кавказе и принужденный тщательно скрываться на Балаханских промыслах". Из рассказа Ногина вытекает, что он даже не повидался с Кобой.

Умолчание о характере причин, по которым Сталин не мог войти в русскую коллегию ЦК, подсказывает интересные заключения. 1910 г. был периодом наиболее полного упадка движения и наиболее широкого разлива примиренческих тенденций. В январе состоялся в Париже пленум ЦК, где примиренцы одержали крайне неустойчивую победу. Решено было восстановить ЦК в России с участием ликвидаторов. Ногин и Германов принадлежали к числу примиренцев-большевиков. Воссоздание "русской", т. е. действующей нелегально в России, коллегии лежало на Ногине. За отсутствием центральных фигур сделано

было несколько попыток привлечь провинциалов. В их числе был и Коба, которого Ногин и Германов знали как "одного из лучших бакинских работников". Из этого замысла, однако, ничего не вышло. Осведомленный автор немецкой статьи, которую мы уже цитировали выше, утверждает, что, хотя "официальные большевистские биографы пытаются сделать небывшими... экспроприацию и исключение из партии, тем не менее сами большевики стеснялись ставить Сталина на сколько-нибудь видный пост руководителя". Можно с уверенностью предположить, что причиной неудачи миссии Ногина послужило недавнее участие Кобы в "боевых действиях". Парижский пленум осудил экспроприаторов как лиц, руководившихся "ложно понятыми интересами партии". Борясь за легальность, меньшевики ни в каком случае не могли согласиться на сотрудничество с заведомым руководителем экспроприаций. Ногин понял это, видимо, лишь при переговорах с руководящими меньшевиками на Кавказе. Никакой коллегии с участием Кобы создано не было. Отметим, что из двух примиренцев, протежировавших Сталину, Германов принадлежит к числу бесследно исчезнувших; что касается Ногина, то только ранняя смерть (1924 г.) спасла его от участи Рыкова, Томского, Германова и других ближайших его друзей.

Деятельность Кобы в Баку была, несомненно, более успешна, чем в Тифлисе, независимо от того, играл ли он первую, вторую или третью роль. Но попытки изобразить бакинскую организацию как единственную по несокрушимости крепость большевизма относятся к области мифов. В конце 1911 г. Ленин сам заложил случайно основу этого мифа, причислив бакинскую организацию, наряду с Киевской, к числу "образцовых и передовых для России 1910 и 1911 годов", т. е. для годов полного упадка партии и начала ее возрождения. "Бакинская организация существовала без перерыва в течение тяжелых годов реакции и принимала во всех проявлениях рабочего движения самое активное участие", — говорит одно из примечаний к XV тому "Сочинений" Ленина. Оба эти суждения, тесно связываемые ныне с деятельностью Кобы, оказываются, по проверке, совершенно ошибочными. На самом деле Баку, после подъема, проходил через те же этапы упадка, что и другие промышленные пункты страны, правда, с небольшим запозданием, но зато в еще более тяжелых формах.

Известный нам Стопани пишет в своих воспоминаниях: "Партийная и профессиональная жизнь в Баку с 1910 г. совершенно замирает". Кое-какие обломки профессиональных союзов еще продолжают некоторое время существовать, да и то с участием преимущественно меньшевиков. "Наша большевистская работа вскоре почти замирает благодаря постоянным провалам, отсутствию работников и вообще безвременью". В 1911 г., положение еще ухудшается. Орджоникидзе, посетивший Баку в марте 1912 г., когда волны прибоя уже явственно поднимались по всей стране, писал за границу: "Вчера удалось, наконец, собрать несколько человек рабочих... Организации, т. е. местного центра, нет, поэтому пришлось ограничиться частным совещанием..." Эти два показания достаточны. Напомним сверх того, уже цитированное свидетельство Ольминского: "Возрождение всего медленнее шло в тех городах, где было больше всего увлечения эксами (для примера назову Баку и Саратов)". Ошибка Ленина в оценке бакинской организации представляет обычный случай аберрации эмигранта, которому приходится судить издалека, на основании частичных сведений, к числу которых могли принадлежать и чрезмерно оптимистические сообщения самого Кобы.

Общая картина вырисовывается во всяком случае с достаточной ясностью. Коба не принимал активного участия в профессиональном движении, которое было тогда главной ареной борьбы (Каринян, Стопани). Он не выступал на рабочих собраниях (Верещак), а сидел в "глубоком подполье" (Ногин). Он не мог "по ряду причин" вступить в русскую коллегию ЦК (Германов). В Баку было "больше всего увлечения эксами" (Ольминский) и индивидуальным террором (Верещак). Кобе приписывалось прямое руководство бакинскими "боевыми действиями" (Верещак, Мартов и др.). Такая деятельность несомненно требовала ухода от масс в "глубокое подполье". Денежная добыча в течение известного времени искусственно поддерживала существование нелегальной организации. Но тем сильнее дала о себе знать реакция, и тем позже началось возрождение. Этот вывод имеет не только биографическое, но и теоретическое значение, ибо помогает осветить некоторые общие законы массового движения.

24 марта 1910 г. жандармский ротмистр Мартынов сообщал,

что им задержан Иосиф Джугашвили, известный под кличкой "Коба", член бакинского Комитета, "самый деятельный партийный работник, занявший руководящую роль" (будем верить, что документ не исправлен рукою Берия). В связи с этим арестом другой жандарм докладывал по начальству: "ввиду упорного участия" Джугашвили в революционной деятельности и его "двукратного побега", он, ротмистр Галимбатовский, "полагал бы принять высшую меру взыскания". Не надо думать, однако, что дело шло о расстреле: "высшая мера взыскания", в административном порядке, означала ссылку в отдаленные места Сибири на пять лет.

Тем временем Коба снова сидел в знакомой ему бакинской тюрьме. Политическое положение в стране и тюремный режим за протекшие полтора года претерпели глубокие изменения. Шел 1910-й год, реакция торжествовала по всей линии; не только массовое движение, но и экспроприации, террор, акты индивидуального отчаяния упали до низшей точки. В тюрьме стало строже и тише. О коллективных дискуссиях не было больше речи. Коба имел достаточный досуг изучать эсперанто, если только он не успел разочароваться в языке будущего. 27 августа распоряжением кавказского наместника Джугашвили воспрещено было в течение пяти лет проживать в Закавказье. Но в Петербурге остались глухи к рекомендациям ротмистра Галимбатовского, который не сумел, очевидно, представить никаких серьезных улик: Коба снова был отправлен в Вологодскую губернию отбывать незаконченный двухлетний срок ссылки. Петербургские власти еще явно не придавали Иосифу Джугашвили серьезного значения.

НОВЫЙ ПОДЪЕМ

Около пяти лет (1906—1911) Столыпин господствовал над страной. Он исчерпал ресурсы реакции до дна. "Режим 3-го июня" успел раскрыть свою несостоятельность во всех областях и, прежде всего, в области аграрного вопроса. От комбинаций политического характера Столыпину пришлось вернуться к полицейской дубине. И как бы для того, чтобы ярче обнаружить банкротство системы, для Столыпина нашелся убийца в его собственной секретной полиции.

В 1910 г. промышленное оживление стало неоспоримым. Перед революционными партиями встал вопрос: как перелом конъюнктуры отразился на политическом состоянии страны? Большинство социал-демократов оставалось на схематической позиции: кризис революционизирует массы, промышленный подъем успокаивает их. Пресса обоих течений, и большевиков, и меньшевиков, имела поэтому тенденцию преуменьшать или вовсе отрицать начавшееся оживление. Исключение составляла венская газета "Правда", которая при всех своих примиренческих иллюзиях отстаивала ту совершенно правильную мысль, что политические последствия оживления, как и кризиса, отнюдь не имеют автоматического характера, а каждый раз заново определяются в зависимости от предшествующего хода борьбы и от обстановки в стране. Так, после промышленного подъема, в течение которого успела развернуться стачечная борьба большого размаха, резкий упадок конъюнктуры может, при наличии прочих необходимых условий, вызвать прямой революционный подъем. Наоборот, после длительного периода революционной борьбы, закончившейся поражением, промышленный кризис, разъединяя и ослабляя пролетариат, может окончательно убить его боевой дух. С другой стороны, промышленный подъем, наступивший после долгого периода реакции, способен возродить

рабочее движение, преимущественно в виде экономической борьбы, после чего новый кризис может перевести энергию масс на политические рельсы.

Русско-японская война и потрясения революции помешали русскому капитализму занять место в мировом промышленном подъеме 1903—1907 годов. Тем временем непрерывные революционные бои, поражения и депрессии исчерпали силу масс. Разразившийся в 1907 г. мировой промышленный кризис продлил затяжную депрессию в России на три новых года, не только не толкнув рабочих на борьбу, но, наоборот, еще более распылив и ослабив их. Под ударами локаутов, безработицы и нужды истощенные массы окончательно пали духом. Такова была материальная основа "успехов" столыпинской реакции. Пролетариат нуждался в живительной купели нового промышленного подъема, чтобы обновить свои силы, пополнить свои ряды, снова почувствовать себя незаменимым фактором производства и ввязаться в новую борьбу.

В конце 1910 г. происходят давно уже невиданные уличные демонстрации по поводу смерти либерала Муромцева, бывшего председателя Первой Думы, и Льва Толстого. Открывается новая полоса студенческого движения. На поверхностный взгляд — такова обычная аберрация исторического идеализма — могло показаться, что очагом политического оживления является тонкий слой интеллигенции, которая силою своего примера начинает увлекать за собою верхушку рабочих. На самом деле волна оживления шла не сверху вниз, а снизу вверх. Благодаря промышленному подъему рабочий класс выходил постепенно из оцепенения. Прежде, однако, чем молекулярные процессы в массах успели найти открытое выражение, они через промежуточные прослойки влили первую волну бодрости в среду студенчества. Благодаря тому, что университетская молодежь гораздо легче на подъем, оживление проявилось прежде всего в виде студенческих волнений. Однако подготовленному наблюдателю было заранее ясно, что манифестации интеллигенции представляют лишь симптом гораздо более глубоких и значительных процессов в пролетариате.

Действительно, кривая стачечного движения скоро начинает подниматься вверх. Правда, число стачечников доходит в 1911 г. всего до 100 тысяч (в прошлом году оно не достигало и поло-

вины): медленность подъема показывает силу оцепенения, которую надо было преодолеть. К концу года рабочие кварталы выглядели во всяком случае уже значительно иначе, чем в начале его. После хороших урожаев 1909 и 1910 гг., давших толчок промышленному подъему, наступил в 1911 г. сильный неурожай, который, не останавливая подъема, обрек голоду 20 миллионов крестьян. Начавшееся брожение в деревне снова поставило аграрный вопрос в порядок дня. Большевистская конференция в январе 1912 г. с полным правом констатирует "начало политического оживления". Резкий перелом происходит, однако, лишь весною 1912 г., после знаменитого расстрела рабочих на Лене. В глубокой тайге, за 7 000 верст от Петербурга, за 2 000 верст от железной дороги, парии золотопромышленности, доставлявшие ежегодно миллионы рублей прибыли английским и русским акционерам, потребовали восьмичасового рабочего дня, повышения зарплаты и отмены штрафов. Вызванные из Иркутска солдаты стреляли по безоружной толпе. 150 убитых, 250 раненых; лишенные медицинской помощи раненые умирали десятками.

При обсуждении Ленских событий в Думе министр внутренних дел Макаров, тупой чиновник, не худший и не лучший среди других, заявил под аплодисменты правых депутатов: "Так было, так будет!" Эти неожиданные в своем бесстыдстве слова вызвали электрический разряд. Сперва с заводов Петербурга, затем со всех концов страны стали стекаться по телефону и телеграфу известия о резолюциях и стачках протеста. Отклик на Ленские события можно сравнить только с той волной негодования, которая за семь лет до того охватила трудящиеся массы после Кровавого воскресения. "Быть может, никогда еще со времени 1905 г., — писала либеральная газета, — столичные улицы не видели такого оживления".

Сталин находился в те дни в Петербурге, меж двух ссылок. "Ленские выстрелы разбили лед молчания, — писал он в газете "Звезда", с которой мы еще встретимся, — и тронулась река народного движения. Тронулась!.. Все, что было злого и пагубного в современном режиме, все, чем болела многострадальная Россия — все это собралось в одном факте, в событиях на Лене. Вот почему именно Ленские выстрелы послужили сигналом забастовок и демонстраций". Забастовки охватили около 300 тысяч

рабочих. Первомайская стачка поставила на ноги 400 тысяч. Всего в 1912 г. бастовало, по официальным данным, 725 тысяч. Общая численность рабочих выросла в годы промышленного подъема не менее, как на 20 процентов, а экономическая роль пролетариата, благодаря лихорадочной концентрации производства, выросла неизмеримо больше. Оживление в рабочем классе передается во все другие слои народа. Тяжело шевелится голодная деревня. Наблюдаются вспышки недовольства в армии и флоте. "А в России революционный подъем, — писал Ленин Горькому в августе 1912 г., — не иной какой-либо, а именно революционный".

Новое движение являлось не повторением прошлого, а его продолжением. В 1905 г. грандиозная январская стачка сопровождалась наивной петицией царю. В 1912 г. рабочие сразу выдвигают лозунг демократической республики. Идеи, традиции и организационные навыки 1905 г., обогащенные тяжелым опытом годов реакции, оплодотворяют новый революционный этап. Ведущая роль с самого начала принадлежит рабочим. Внутри пролетарского авангарда руководство принадлежит большевикам. Этим, в сущности, предрешался характер будущей революции, хотя сами большевики еще не отдавали себе в этом ясного отчета. Усилив пролетариат и обеспечив за ним огромную роль в экономической и политической жизни страны, промышленный подъем укрепил базу под перспективой перманентной революции. Чистка конюшен старого режима не могла быть произведена иначе, как метлой пролетарской диктатуры. Демократическая революция могла победить, лишь превратившись в социалистическую и тем преодолев себя.

Такою продолжала оставаться позиция "троцкизма". Но у него была ахиллесова пята: примиренчество, связанное с надеждой на революционное возрождение меньшевизма. Новый подъем — "не иной какой-либо, а именно революционный", — нанес примиренчеству непоправимый удар. Большевизм опирался на революционный авангард пролетариата и учил его вести за собою крестьянскую бедноту. Меньшевизм опирался на прослойку рабочей аристократии и тянулся к либеральной буржуазии. С того момента, как массы снова выступили на арену открытой борьбы, о "примирении" между этими двумя фракциями не могло быть и речи. Примиренцы должны были занять новые позиции:

революционеры — с большевиками, оппортунисты — с меньшевиками.

На этот раз Коба остается в ссылке свыше 8 месяцев. О его жизни в Сольвычегодске, о ссыльных, с которыми он поддерживал связи, о книгах, которые он читал, о проблемах, которыми интересовался, не известно почти ничего. Из двух его писем того периода явствует, однако, что он получал заграничные издания и имел возможность следить за жизнью партии, вернее сказать, эмиграции, где борьба фракций вступила в острую фазу. Плеханов с незначительной группой своих сторонников снова порвал со своими ближайшими друзьями и встал на защиту нелегальной партии от ликвидаторов: это была последняя вспышка радикализма у этого замечательного человека, быстро клонившегося к закату. Так возник неожиданный, парадоксальный и недолговечный блок Ленина с Плехановым. С другой стороны, происходило сближение ликвидаторов (Мартов и др.), впередовцев (Богданов, Луначарский) и примиренцев (Троцкий). Этот второй блок, совершенно лишенный принципиальных основ, сложился до известной степени неожиданно для самих участников. Примиренцы все еще стремились "примирить" большевиков с меньшевиками, а так как большевизм, в лице Ленина, беспощадно отталкивал самую мысль о каком-либо соглашении с ликвидаторами, то примиренцы естественно сдвигались на позицию союза или полусоюза с меньшевиками и впередовцами. Цементом этого эпизодического блока, как писал Ленин Горькому, являлась "ненависть к большевистскому центру за его беспощадную идейную борьбу". Вопрос о двух блоках живо обсуждался в поредевших партийных рядах того времени.

31 декабря 1910 г. Сталин пишет за границу, в Париж: "Тов. Семен! Вчера получил от товарищей ваше письмо. Прежде всего горячий привет Ленину, Каменеву и др." Это вступление не перепечатывается больше из-за имени Каменева. Дальше следует оценка положения в партии: "По моему мнению, линия блока (Ленин—Плеханов) единственно нормальная... В плане блока видна рука Ленина, — он мужик умный и знает, где раки зимуют. Но это еще не значит, что всякий блок хорош. Троцковский блок (он бы сказал —"синтезис") — это тухлая беспринципность... Блок Ленин—Плеханов потому и является жиз-

ненным, что он глубоко принципиален, основан на единстве взглядов по вопросу о путях возрождения партии. Но именно потому, что это блок, а не слияние, именно потому большевикам нужна своя фракция". Все это вполне отвечало взглядам Ленина, являясь, по существу, простой перифразой его статей, и составляло как бы принципиальную саморекомендацию. Провозгласив далее, как бы мимоходом, что "главное" — все же не заграница, а практическая работа в России, Сталин сейчас же спешит пояснить, что практическая работа означает "применение принципов". Укрепив свою позицию повторением слова принцип, Коба подходит ближе к сути дела. "По-моему, — пишет он, — для нас очередной задачей, не терпящей отлагательства, является организация центральной (русской) группы, объединяющей нелегальную, полулегальную и легальную работу... Такая группа нужна, как воздух, как хлеб". В самом плане нет ничего нового. Попытки воссоздать русское ядро ЦК делались Лениным со времени Лондонского съезда не раз, но распад партии обрекал их до сих пор на неудачу. Коба предлагает созвать совещание работников партии. "Очень может быть, что это совещание и даст подходящих людей для вышеназванной центральной группы". Обнаружив свое стремление передвинуть центр тяжести из-за границы в Россию, Коба опять торопится потушить возможные опасения Ленина: "...действовать придется неуклонно и беспощадно, не боясь нареканий со стороны ликвидаторов, троцкистов, впередовцев..." С рассчитанной откровенностью он пишет о проектируемой им центральной группе: "...назовите ее, как хотите — "русской частью ЦК" или "вспомогательной группой при ЦК" — это безразлично". Мнимое безразличие должно прикрыть личную амбицию Кобы. "Теперь о себе. Мне остается шесть месяцев. По окончании срока я весь к услугам. Если нужда в работниках в самом деле острая, то я могу сняться немедленно". Цель письма ясна: Коба выставляет свою кандидатуру. Он хочет стать, наконец, членом ЦК.

Амбиция Кобы, сама по себе нимало, разумеется, не предосудительная, освещается неожиданным светом в другом его письме, адресованном московским большевикам. "Пишет вам кавказец Сосо, — так начинается письмо, — помните в 4-м г. (1904), в Тифлисе и Баку. Прежде всего, мой горячий привет Ольге, вам, Германову. Обо всех вас рассказал мне И. М. Голубев, с

которым я и коротаю мои дни в ссылке. Германов знает меня как к...б...а (он поймет)". Любопытно, что и теперь, в 1911 г., Коба вынужден напоминать о себе старым членам партии при помощи случайных и косвенных признаков: его все еще не знают и легко могут забыть. "Кончаю (ссылку) в июле этого года, — продолжает он, — Ильич и Ко зазывают в один из двух центров, не дожидаясь окончания срока. Мне хотелось бы отбыть срок (легальному больше размаха) ... Но если нужда острая (жду от них ответа) , то, конечно, снимусь... А у нас здесь душно без дела, буквально задыхаюсь".

С точки зрения элементарной осторожности, эта часть письма кажется поразительной. Ссыльный, письма которого всегда рискуют попасть в руки полиции, без всякой видимой практической нужды сообщает по почте малознакомым членам партии о своей конспиративной переписке с Лениным, о том, что его убеждают бежать из ссылки и что в случае нужды он, "конечно, снимется". Как увидим, письмо действительно попало в руки жандармов, которые без труда раскрыли и отправителя и всех упомянутых им лиц. Одно объяснение неосторожности напрашивается само собой: нетерпеливое тщеславие! "Кавказец Сосо", которого, может быть, недостаточно отметили в 1904 г., не удерживается от искушения сообщить московским большевикам, что он включен ныне самим Лениным в число центральных работников партии. Однако мотив тщеславия играет только привходящую роль. Ключ к загадочному письму заключается в его последней части. "О заграничной "буре в стакане", конечно, слышали: блоки Ленина—Плеханова, с одной стороны, и Троцкого—Мартова—Богданова — с другой. Отношение рабочих к первому блоку, насколько я знаю, благоприятное. Но вообще на заграницу рабочие начинают смотреть пренебрежительно: "пусть, мол, лезут на стену, сколько их душе угодно; а по-нашему, кому дороги интересы движения, тот работай, остальное же приложится". Это, по-моему, к лучшему". Поразительные строки! Борьбу Ленина против ликвидаторства и примиренчества Сталин считал "бурей в стакане". "На заграницу (включая и генеральный штаб большевизма) рабочие начинают смотреть пренебрежительно" — и Сталин вместе с ними. "Кому дороги интересы движения, тот работай, остальное же приложится". Интересы движения оказываются независимы от теоретической борьбы, которая вырабатывает программу движения.

Между двумя документами, как ни трудно этому поверить, всего 24 дня расстояния! В письме, предназначенном для Ленина, заграничным межеваниям и группировкам придается решающее значение для практической работы в России. Сама эта работа скромно характеризуется как "применение" выработанных в эмиграции "принципов". В письме, адресованном русским практикам, заграничная борьба в целом составляет лишь предмет глумления. Если в первом письме Ленин именуется "умным мужиком", который знает, "где раки зимуют" (русская поговорка выражает, кстати, совсем не то, что Сталин хочет сказать), то во втором письме Ленин выглядит попросту лезущим на стену маниаком-эмигрантом. "Логика вещей строго принципиальна по своей природе". Но борьба за эту логику оказывается "бурей в стакане". Если рабочие в России "на заграницу", включая и борьбу Ленина за "принцип", "начинают смотреть пренебрежительно", то "это, по-моему, к лучшему". Сталин явно льстит настроениям теоретического безразличия и чувству мнимого превосходства близоруких практиков.

Полтора года спустя, когда под влиянием начинавшегося прибоя борьба в эмиграции стала еще острее, сентиментальный полубольшевик Горький плакался в письме к Ленину на заграничную "склоку" — бурю в стакане воды. "О *склоке* у социал-демократов, — сурово отвечал ему Ленин, — любят кричать буржуа, либералы, эсеры, которые к больным вопросам относятся несерьезно, плетутся за другими, дипломатничают, пробавляются эклектизмом..." "Дело тех, кто понял идейные корни "склоки", — настаивает он в ближайшем письме, — помогать массе разыскивать корни, а не оправдывать массу за то, что она рассматривает споры, как личное генеральское дело". "В России сейчас,— не унимается со своей стороны, Горький, — среди рабочих есть много хорошей... молодежи, но она так яростно настроена против заграницы". Ленин отвечает: "Это фактически верно, но это не результат вины "лидеров"... Надо разорванное связывать, а лидеров ругать дешево, популярно, но малополезно". Кажется, будто в своих сдержанных возражениях Горькому Ленин негодующе полемизирует со Сталиным.

Внимательное сопоставление двух писем, которые, по мысли автора, никогда не должны были встретиться, чрезвычайно ценно для понимания характера Сталина и его приемов. Его подлинное

отношение к "принципам" гораздо правдивее выражено во втором письме: "работай, остальное же приложится". Таковы были, по сути дела, взгляды многих не мудрствующих лукаво примиренцев. Грубо пренебрежительные выражения по отношению к "загранице" Сталин выбирает не только потому, что грубость ему свойственна вообще, но главным образом потому, что рассчитывает на сочувствие "практиков", особенно Германова. Об их настроениях он хорошо знает от Голубева, недавно высланного из Москвы. Работа в России шла плохо, подпольная организация достигла низшей точки упадка, и практики весьма склонны были срывать сердце на эмигрантах, которые поднимают шум из-за пустяков.

Чтоб понять практическую цель, скрывавшуюся за двойственностью Сталина, надо вспомнить, что Германов, который несколько месяцев тому назад выдвигал кандидатуру Кобы в ЦК, был тесно связан с другими примиренцами, влиятельными на верхах партии. Коба считает целесообразным показать этой группе свою солидарность с ней. Но он отдает себе слишком ясный отчет в могуществе ленинского влияния и начинает поэтому с заявления своей верности "принципам". В письме в Париж – подлаживание под непримиримость Ленина, которого Сталин боялся; в письме к москвичам – натравливание на Ленина, который зря "лезет на стену". Первое письмо является грубоватым пересказом статей Ленина против примиренцев. Второе – повторяет аргументы примиренцев против Ленина. И все это на протяжении 24 дней!

Правда, письмо "товарищу Семену" заключеает в себе осторожную фразу: заграница – "не все и не главное даже. Главное – организация работы в России". С другой стороны, в письме к москвичам имеется как бы случайно оброненное замечание: отношение рабочих к блоку Ленина–Плеханова, "*насколько я знаю*, благоприятное". Но то, что в одном письме является второстепенной поправкой, служит исходным пунктом для развития прямо противоположного хода мыслей в другом письме. Незаметные оговорки, почти reservations mentales, как бы имеют задачей смягчить противоречие между обоими письмами. На самом деле они лишь выдают нечистую совесть автора.

Техника интриги, как она ни примитивна, достаточна для намеченной цели. Коба преднамеренно не пишет непосредственно

Ленину, предпочитая адресоваться к "Семену": это позволяет ему говорить о Ленине в тоне фамильярного восхищения и в то же время не обязывает его к углублению в суть вопроса. Действительные побуждения Кобы не остались, надо думать, для Ленина секретом. Но он подходил к делу как политик. Профессиональный революционер, который успел в прошлом показать силу воли и решительность, хочет теперь подняться в аппарате партии. Ленин отметил себе это. С другой стороны, и Германов запомнил, что в лице Кобы примиренцы будут иметь союзника. Цель была таким образом достигнута, по крайней мере, на данном этапе. А там видно будет! У Кобы много данных, чтоб стать выдающимся членом ЦК. Его амбиция вполне законна. Но поразительны пути, какими молодой революционер идет к цели: пути двойственности, фальши и идейного цинизма!

В условиях подпольной работы компрометирующие письма уничтожаются, личные связи с заграницей редки: Коба не опасается, что два его письма могут быть сопоставлены. Если эти неоценимые человеческие документы оказались спасены для будущего, то заслуга принадлежит полностью перлюстраторам царской почты. 23 декабря 1925 г., когда тоталитарный режим был еще очень далек от нынешнего автоматизма, тифлисская газета "Заря Востока" опубликовала по неосторожности извлеченную из полицейских архивов копию письма Кобы москвичам. Нетрудно себе представить, какую головомойку получила злополучная редакция! Письмо впоследствии никогда не перепечатывалось, и ни один из официальных биографов никогда не ссылался на него.

Несмотря на острую нужду в работниках, Коба не "снялся немедленно", т. е. не бежал, а отбыл на этот раз свой срок до конца. Газеты приносили сведения о студенческих сходках и уличных демонстрациях. На Невском проспекте собралось не менее 10 000 человек. К студентам начали присоединяться рабочие. "Не начало ли поворота?" — спрашивал Ленин в статье за несколько недель до получения письма Кобы из ссылки. В первые месяцы 1911 г. оживление принимет уже несомненный характер. Коба, который совершил до этого три побега, сейчас спокойно ожидает конца своей ссылки. Период нового весеннего пробуждения оставляет его как бы безразличным. Можно подумать, что он пугается нового прибоя, вспоминая опыт1905 г.

Все биографы, без исключения, говорят о новом побеге Кобы. На самом деле в побеге не было надобности: срок ссылки кончался в июле 1911 г. Московское охранное отделение, упоминая мимоходом об Иосифе Джугашвили, характеризует его на этот раз как "отбывшего срок административной ссылки в городе Сольвычегодске". Тем временем состоявшееся за границей совещание большевистских членов ЦК назначило для подготовки партийной конференции особую Комиссию, в состав которой, видимо, намечен был, наряду с четырьмя другими, и Коба. После ссылки он направляется в Баку и Тифлис, чтоб встряхнуть местных большевиков и привлечь их к участию в конференции. Оформленных организаций на Кавказе не было, приходилось строить почти на чистом месте. Тифлисские большевики одобрили написанное Кобой воззвание о необходимости революционно партии. "К сожалению, передовым рабочим в нашем кровном деле укрепления нашей родной социал-демократической партии, помимо политических рогаток, провокаторов и прочей сволочи, приходится наталкиваться на новое препятствие в наших же рядах, а именно на людей с буржуазной психологией". Речь идет о ликвидаторах. Воззвание заканчивается одним из обычных для нашего автора образов: "Мрачные кровавые тучи черной реакции, нависшие над страной, начинают рассеиваться, начинают сменяться грозовыми облаками народного гнева и возмущения. Черный фон нашей жизни прорезывают молнии, и вдали уже вспыхивают зарницы, приближается буря". Воззвание имело целью возвестить о возникновении тифлисской группы и тем обеспечить немногочисленным местным большевикам участие в предстоящей конференции.

Вологодскую губернию Коба покинул легально. Прибыл ли он легально с Кавказа в Петербург, остается под вопросом: бывшим ссыльным обычно запрещалось в течение известного срока проживание в центрах страны. Но, с разрешения или без разрешения, провинциал вступает, наконец, на территорию столицы. Партия еще только выходит из оцепенения. Лучшие силы в тюрьмах, ссылке или эмиграции. Именно поэтому Коба и понадобился в Петербурге. Его первое появление на столичной арене имеет, однако, эпизодический характер. Между окончанием ссылки и новым арестом проходит всего два месяца, из которых три-четыре недели должна была отнять поездка на

Кавказ. Мы ничего не знаем о том, как Коба осваивался с незнакомой обстановкой и как приступал к работе в новой среде.

Единственным памятником этого периода является посланная Кобой за границу коротенькая корреспонденция, описывающая тайное собрание 46 социал-демократов Выборгского района. Главная мысль доклада, сделанного видным ликвидатором, заключалась в том, что "никаких организаций в партийном смысле не нужно", так как для работы на открытой арене достаточно "инициативных групп", которые занимались бы устройством публичных докладов и легальных собраний по вопросам государственного страхования, муниципальной политики и пр. Ликвидаторский план приспособления к лжеконституционной монархии встретил, по словам корреспонденции, дружный отпор со стороны рабочих, в том числе и меньшевиков. Под конец собрания все, кроме докладчика, голосовали за нелегальную революционную партию. Ленин и Зиновьев снабдили письмо из Петербурга примечанием от редакции: "Корреспонденция тов. К. заслуживает величайшего внимания всех, кто дорожит партией... Лучшее опровержение взглядов и надежд наших примирителей и соглашателей трудно себе представить. Исключителен ли случай, описанный тов. К.? Нет, это типичный случай". Однако лишь очень редко "партия получает такие точные сообщения, за которые мы должны быть благодарны тов. К.". По поводу этого газетного эпизода Советская энциклопедия пишет: "Письма и статьи Сталина говорят о непоколебимом единстве борьбы и линии, какое существовало между Лениным и его гениальным соратником". Чтоб получить эту оценку, пришлось выпустить одно за другим несколько изданий энциклопедии, истребив по пути немалое число ее редакторов.

Аллилуев рассказывает, как, приближаясь в один из первых дней сентября к дому, заметил у ворот шпиков, а у себя на квартире застал Сталина и еще одного грузина-большевика. Сообщение Аллилуева о "хвостах" Сталин встретил не очень учтивой репликой: "Черт знает что такое, товарищи превращаются в пугливых мещан и обывателей!" Шпики оказались, однако, реальностью: 9 сентября Коба был арестован и уже 22 декабря прибыл на место высылки, на этот раз в губернский город Вологду, т. е. в более благоприятные условия, чем раньше. Возможно, что высылка явилась простой карой за незаконное пребывание в Петербурге.

Заграничный центр большевиков продолжал направлять в Россию эмиссаров для подготовки конференции. Связь между местными социал-демократическими группами устанавливалась медленно и часто обрывалась. Провокация свирепствовала, аресты имели опустошительный характер. Однако то сочувствие, которое встретила идея конференции среди передовых рабочих, сразу показало, по словам Ольминского, что "рабочие только терпели ликвидаторство, но внутренне были далеки от него". Эмиссарам удалось, несмотря на крайне тяжелые условия, связаться с целым рядом местных нелегальных групп. "Точно пронеслась струя свежего воздуха", – пишет тот же Ольминский.

На конференции, собравшейся 5 января 1912 г. в Праге, присутствовало 15 делегатов от двух десятков подпольных организаций, в большинстве своем очень слабых. Из докладов делегатов с мест вырисовывалась достаточно ясная картина состояния партии: немногочисленные местные организации состояли почти только из большевиков, с большим процентом провокаторов, которые выдавали организацию, как только она начинала поднимать голову. Особенно печально представлялось положение на Кавказе. "Никакой организации в Чиатурах нет, – докладывал Орджоникидзе об единственном промышленном пункте в Грузии. – В Батуме также никакой организации нет". В Тифлисе "та же картина. За последние несколько лет ни одного листка, никакой нелегальной работы..." Несмотря на столь явную слабость местных групп, конференция отражала новое дуновение оптимизма. Массы сдвинулись, партия чувствовала попутный ветер в своих парусах.

Вынесенные в Праге решения надолго определили маршрут партии. В первую голову конференция признала необходимым "создание нелегальных социал-демократических ячеек, окруженных возможно более разветвленной сетью всякого рода легальных рабочих обществ". Неурожай, вызвавший голод 20 миллионов крестьян, лишний раз подтвердил, по словам конференции, "невозможность обеспечить сколько-нибудь нормальное буржуазное развитие России при направлении ее политики... классом крепостников-помещиков". "Задача завоевания власти пролетариатом, ведущим за собой крестьянство, остается попрежнему задачей демократического переворота в России". Конференция объявила фракцию ликвидаторов стоящей вне партии

и призвала всех социал-демократов "без различия течений и оттенков" вести борьбу с ликвидаторством во имя восстановления нелегальной партии. Доведя, таким образом, до конца разрыв с меньшевиками, Пражская конференция открыла эру самостоятельного существования большевистской партии со своим собственным Центральным Комитетом.

Новейшая "История" партии, изданная под редакцией Сталина в 1938 г., гласит: "В состав этого ЦК вошли Ленин, Сталин, Орджоникидзе, Свердлов, Голощекин и другие. Сталин и Свердлов были избраны в ЦК заочно, так как они находились в ссылке". Между тем в официальном сборнике документов партии (1926 г.) читаем: "Конференция выбрала новый Центральный Комитет, в который вошли Ленин, Зиновьев, Орджоникидзе, Спандарьян, Виктор (Ордынский), Малиновский и Голощекин". "История" не включает в ЦК, с одной стороны, Зиновьева, с другой — провокатора Малиновского; зато включает Сталина, которого нет в старом списке. Разъяснение этой загадки способно бросить свет и на тогдашнее положение Сталина в партии и на методы нынешней московской историографии. На самом деле Сталин не был выбран на конференции, а был включен в ЦК вскоре после конференции путем так называемой кооптации. Об этом совершенно точно говорит цитированный выше официальный источник: "...затем были кооптированы в ЦК тов. Коба (Джугашвили—Сталин) и Владимир (Белостоцкий, бывший рабочий Путиловского завода)". Также и по материалам Московского охранного отделения Джугашвили был включен в ЦК после конференции "на основании предоставленного цекистам права кооптирования". Тождественную информацию дают все без исключения советские справочники, кончая 1929 годом, когда была опубликована инструкция Сталина, совершившая переворот в исторической науке. В юбилейном издании 1937 г., посвященном конференции, мы уже читаем: "Сталин не мог принять участия в работах Пражской конференции, так как в это время находился в ссылке в Сольвычегодске. Ленин и партия уже тогда хорошо знали Сталина как крупнейшего руководителя... Поэтому, по предложению Ленина, делегаты конференции избрали Сталина в ЦК заочно".

Вопрос о том, был ли Коба выбран на конференции или кооптирован позже Центральным Комитетом, может показаться вто-

ростепенным. На самом деле это не так. Сталин хотел попасть в ЦК. Ленин находил нужным провести его в ЦК. Выбор возможных кандидатов был настолько узок, что в состав ЦК попали некоторые совершенно второстепенные фигуры. Между тем Коба не был выбран. Почему? Ленин отнюдь не был диктатором партии. Да революционная партия и не потерпела бы над собой диктатуры! После предварительных переговоров с делегатами Ленин счел, видимо, более разумным не выдвигать кандидатуру Кобы. "Когда Ленин в 1912 г. ввел Сталина в состав Центрального Комитета партии, — пишет Дмитриевский, — это было встречено с возмущением. Открыто никто не возражал. Но меж собой негодовали". Информация бывшего дипломата, не заслуживающая, по общему правилу, доверия, представляет тем не менее интерес как отголосок бюрократических воспоминаний и сплетен. Ленин, несомненно, наткнулся на серьезное сопротивление. Оставался путь: переждать, когда конференция закончится, и апеллировать к тесному руководящему кружку, который либо полагался на рекомендацию Ленина, либо разделял его оценку кандидата. Так Сталин вошел в первый раз в ЦК через заднюю дверь.

Рассказ о внутренней организации ЦК претерпел такие же метаморфозы. "ЦК... по предложению Ленина образовал бюро ЦК во главе с товарищем Сталиным для руководства партийной работой в России. В русское бюро вошли, кроме Сталина, Свердлов, Спандарьян, Орджоникидзе, Калинин". Так повествует Берия, который во время нашей работы над этой главой оказался назначен начальником тайной полиции Сталина: научные заслуги не остались без признания. Тщетно искали бы мы, однако, в документах опоры для той версии, которую повторяет и новейшая "История". Надо сказать прежде всего, что никто никогда не ставился "во главе" партийных учреждений: такого метода выборов не существовало вообще. Согласно старому официальному справочнику, ЦК выбрал "бюро в составе: Орджоникидзе, Спандарьян, Сталин и Голощекин". Тот же список дан и в примечании к "Сочинениям" Ленина. В бумагах Московского охранного отделения в качестве членов Русского бюро ЦК названы, под кличками, первые три: "Тимофей, Серго и Коба". Не лишено интереса, что Сталин во всех старых списках занимает неизменно последнее или предпоследнее место, чего не могло

бы быть, конечно, если бы он был поставлен "во главе". Голощекин, изгнанный во время одной из последних чисток из аппарата, оказался вытеснен и из бюро 1912 г.; его место занял блогополучный Калинин. История есть покорная глина в руках горшочника.

24 февраля Орджоникидзе сообщает Ленину, что посетил в Вологде Ивановича (Сталина): "Окончательно с ним столковались. Он остался доволен исходом дела". Речь идет о решениях Пражской конференции. Коба узнал, что он кооптирован, наконец, в только что созданный "центр". Уже 28 февраля он совершает побег из ссылки в своем новом звании члена Центрального Комитета. После короткого посещения Баку он направляется в Петербург. Два месяца тому назад ему исполнилось 32 года.

Переход Кобы с провинциальной арены на общегосударственную совпадает с моментом нового подъема рабочего движения и сравнительно широкого развития рабочей печати. Под напором подземных сил царские власти потеряли прежнюю уверенность. Рука цензора ослабела. Легальные возможности расширились. Большевизм прорвался на открытую арену сперва с еженедельной, затем с ежедневной газетой. Возможности воздействия на рабочих сразу возросли. Партия продолжала оставаться в подполье, но редакции ее газет стали на время легальными штабами революции. Имя петербургской "Правды" окрасило целый период рабочего движения, когда большевиков стали называть "правдистами". За два с половиной года существования газеты правительство восемь раз закрывало ее, но она каждый раз снова возрождалась под каким-либо сходным названием. В самых острых вопросах "Правда" вынуждена была нередко ограничиваться полусловами и намеками. Но подпольные агитаторы и воззвания досказывали за нее то, чего она не могла сказать открыто. Передовые рабочие научились к тому же читать между строк. Тираж в 40 000 экземпляров может показаться очень скромным на западноевропейский или американский масштаб. Но при напряженной политической акустике царской России большевистская газета через своих непосредственных подписчиков и читателей находила отклик среди сотен тысяч. Так вокруг "Правды" объединилось молодое революционное поколение под руководством ветеранов, устоявших в годы реакции. "Правда"

1912 г. — это закладка фундамента для победы большевизма в 1917 г.", — писал впоследствии Сталин, намекая на свое участие в этой работе.

Ленин, до которого не дошла еще весть о побеге Сталина, жаловался 15 марта: "От Ивановича ничего. — Что он? Где он? Как он?.. Мало людей. Нет подходящих людей даже в столице". В том же письме Ленин писал, что в Петербурге "дьявольски" нужен легальный человек, "ибо там дела плохи. Война бешеная и трудная. У нас ни информаций, ни руководства, ни надзора за газетой". "Война бешеная и трудная" шла у Ленина с редакцией "Звезды", которая не хотела вести войны с ликвидаторами. "С "Живым делом" (журналом ликвидаторов) воюйте живее — тогда победа обеспечена. Иначе беда. Не бойтесь полемики..." — настаивал Ленин снова в марте 1912 г. Таков лейтмотив всех его писем того времени.

"Что он? Где он? Как он?" — можем мы повторить вслед за Лениным. Действительую роль Сталина, как всегда закулисную, определить нелегко: нужен тщательный анализ фактов и документов. Его полномочия как члена ЦК в Петербурге, т.е. одного из официальных руководителей партии, распространялись, конечно, и на легальную печать. Однако это обстоятельство предано было полному забвению до инструкции "историкам". Коллективная память имеет свои законы, которые не всегда совпадают с уставом партии. "Звезда" была основана в декабре 1910 г., когда обнаружились первые признаки оживления. "Самое близкое участие в подготовке издания и в редакционной работе из-за границы, — гласит официальная справка, — принимали Ленин, Зиновьев и Каменев". Из главных сотрудников в России редакция "Сочинений" Ленина называет 11 человек, забывая включить в их число Сталина. Между тем он был несомненным и, по своему положению, влиятельным сотрудником газеты. Ту же самую забывчивость — теперь сказали бы: саботаж памяти — мы встречаем во всех старых мемуарах и справочниках. Даже в специальном номере, который "Правда" посвятила в 1927 г. своему собственному 15-тилетнему юбилею, ни в одной из статей, начиная с передовой, имя Сталина не упоминается. Когда изучаешь старые издания, отказываешься подчас верить собственным глазам!

Исключением, до некоторой степени, являются ценные воспоминания Ольминского, ближайшего сотрудника "Звезды" и

"Правды", который роль Сталина характеризует в следующих словах: "Сталин и Свердлов появились в Петербурге в разное время после побега из ссылки... Пребывание обоих в Петербурге (до нового ареста) было коротко, но успевало существенно отразиться на работе газеты, фракции и пр.". Это сухое указание, сделанное, к тому же не в основном тексте, а в подстрочном примечании, вернее всего, пожалуй, характеризует положение. Сталин появлялся в Петербурге на короткое время, производил нажим на организацию, на думскую фракцию, на газету и снова исчезал. Его появления были слишком эпизодическими, его влияние — слишком аппаратным, его идеи и статьи — слишком ординарными, чтобы врезаться в память. Когда люди пишут мемуары не по принуждению, они вспоминают не официальные функции чиновников, а живую деятельность живых людей, яркие факты, отчетливые формулы, оригинальные предложения. Ничем подобным Сталин себя не проявлял. Немудрено, если никому не запомнилась серая копия рядом с ярким оригиналом. Правда, Сталин не только пересказывал Ленина. Связанный поддержкой примиренцев, он продолжал развивать одновременно две линии, уже знакомые нам по его письмам из Сольвычегодска: с Лениным — против ликвидарторов, с примиренцами — против Ленина. Первая линия имела открытый характер, вторая — замаскированный. Но та борьба, которую Сталин вел против заграничного центра, тоже не вдохновляла мемуаристов, хотя и по другой причине: все они, активно или пассивно, участвовали в примиренческом "заговоре" против Ленина и потому предпочитали впоследствии отворачиваться от этой страницы партийного прошлого. Только в 1929 г. официальное положение Сталина как представителя ЦК положено было в основу нового истолкования исторического периода, предшествовавшего войне.

Сталин не мог наложить личной печати на газету уже по тому одному, что не был, по природе, журналистом. С апреля 1912 г. по февраль 1913 г. он, по подсчету одного из его близких сотрудников, поместил в большевистской печати "не менее двух десятков статей", что составляет в среднем около двух статей в месяц. И это в горячее время, когда жизнь каждый день выдвигала новые вопросы! Правда, за этот год Сталин около шести месяцев провел в ссылке. Но сотрудничать в "Правде" из Соль-

вычегодска или Вологды было гораздо легче, чем из Кракова, откуда Ленин и Зиновьев каждый день посылали статьи и письма. Медлительность и чрезмерная осмотрительность натуры, отсутствие литературной находчивости, наконец, изрядная ориентальная ленность делали перо Сталина малопроизводительным. Статьи его, более уверенные по тону, чем в годы первой революции, носят на себе по-прежнему неизгладимую печать посредственности.

"Вслед за экономическими выступлениями рабочих, — пишет он 15 апреля в "Звезде", — политические их выступления. Вслед за стачками за заработную плату — протесты, митинги, политические забастовки по поводу Ленских расстрелов... Нет сомнения, что подземные силы освободительного движения заработали. Привет вам, первые ласточки!" Образ "ласточки" как символа "подземных сил" типичен для стиля нашего автора. Но в конце концов ясно, что он хочет сказать. Делая "выводы" из так называемых "Ленских дней", Сталин анализирует, как всегда схематически, без живых красок, поведение правительства и политических партий, обличает "крокодиловы слезы" буржуазии по поводу расстрелов рабочих и заканчивает предостережением: "теперь, когда первая волна подъема проходит, темные силы, спрятавшиеся было за ширмами крокодиловых слез, начинают снова появляться". Несмотря на неожиданность такого образа, как "ширмы крокодиловых слез", который выступает особенно причудливо на сером фоне текста, статья, в общем, говорит приблизительно то, что следовало сказать и что сказали бы десятки других. Но именно "приблизительность " изложения, — не только стиля, но и самого анализа,— делает чтение литературных работ Сталина столь же невыносимым, как фальшивую музыку для чуткого слуха.

"...Именно сегодня в день Первого мая, — пишет он в нелегальном воззвании, — когда природа просыпается от зимней спячки, леса и горы покрываются зеленью, поля и луга украшаются цветами, солнце начинает теплее согревать, в воздухе чувствуется радость обновления, а природа предается пляске и ликованию, — они решили именно сегодня заявить миру, что рабочие несут человечеству весну и освобождение от оков капитализма... Все шире разливается океан рабочего движения... Высокими волнами вздымается море пролетарского гнева... И уверен-

ные в своей победе, спокойные и сильные, гордо шествуют они по пути к обетованной земле, по пути к светлому социализму". Петербургская революция говорит здесь словами тифлисской гомилетики.

Стачечная волна нарастала, множились связи с рабочими. Еженедельник перестал отвечать потребностям движения. "Звезда" открыла сборы на ежедневную газету. "В конце зимы 1912 г., — пишет бывший депутат Полетаев, — в Петербурге появился Сталин, бежавший из ссылки. Дело с налаживанием рабочей газеты пошло быстрее". В статье "К десятилетию "Правды" (1922 г.) сам Сталин рассказал: "Это было в середине апреля 1912 г., вечером, на квартире у Полетаева, где двое депутатов Думы (Покровский и Полетаев), двое литераторов (Ольминский и Батурин) и я, член ЦК... сговорились о платформе "Правды" и составили первый номер газеты". Ответственность Сталина за платформу "Правды" устанавливается здесь им самим. Суть этой платформы можно резюмировать словами "работай, остальное приложится". Сам Сталин был, правда, арестован уже 22 апреля, в день выхода первого номера "Правды". Но в течение почти трех месяцев "Правда" упорно держалась платформы, выработанной при его участии. Самое слово "ликвидатор" было изгнано из словаря газеты. "С ликвидаторством необходима была непримиримая борьба, — пишет Крупская. — Вот почему Владимира Ильича так волновало, что "Правда" вначале упорно вычеркивала из его статей полемику с ликвидаторами. Он писал в "Правду" сердитые письма". Часть их, видимо, небольшая, успела увидеть свет. "Иногда, хоть и редко это было, — жалуется она далее, — пропадали без вести и статьи Ильича. Иногда статьи его задерживались, не помещались сразу. Ильич тогда нервничал, писал в "Правду" сердитые письма, но помогало мало."

Борьба с редакцией "Правды" составляла прямое продолжение борьбы с редакцией "Звезды". "От рабочих нельзя, вредно, губительно, смешно скрывать разногласия", — пишет Ленин 11 июля 1912 г. Через несколько дней он требует у секретаря редакции Молотова, нынешнего председателя Совнаркома, объяснения, почему газета "упорно, систематически вычеркивает и из моих статей и из статей других коллег упоминания о ликвидаторах?" Тем временем приближаются выборы в Четвер-

тую Думу. Ленин предупреждает: "Выборы по рабочей курии в Петербурге несомненно будут сопровождаться борьбой по всей линии с ликвидаторами. Это будет самый живой вопрос для передовиков-рабочих. А их газета будет молчать, избегать слова ликвидатор... Отмахиваться от этих вопросов, значит совершать самоубийство".

Ленин очень зорко различал из Кракова молчаливый, но тем более упорный заговор примиренческих верхов партии. Но он был слишком уверен в своей правоте. Быстрое пробуждение рабочего движения должно было неминуемо поставить ребром основные проблемы революции, вырывая почву из-под ног не только ликвидаторства, но и примиренчества. Сила Ленина была не в том, что он умел строить "аппарат", — он умел и это делать, — а в том, что во все критические моменты он умел использовать живую энергию масс для преодоления ограниченности и консерватизма, свойственных всякому аппарату. Так было и на этот раз. Под возрастающим движением рабочих и под кнутом из Кракова "Правда", постепенно и упираясь, покидала позиции выжидательного нейтралитета.

Сталин просидел в петербургской тюрьме немногим более двух месяцев. 2-го июля он отправился в новую ссылку, на четыре года, на этот раз по ту сторону Урала, на север Томской губернии в знаменитый своими лесами, озерами и болотами Нарымский край. Уже знакомый нам Верещак встретился снова с Кобой в селе Колпашеве, где тот провел несколько дней по пути к месту назначения. Здесь же находились Свердлов, И. Смирнов, Лашевич, старые коренные большевики. Тогда нелегко было предсказать, что Лашевич умрет в ссылке у Сталина, Смирнов будет им расстрелян, а Сверлова спасет только ранняя смерть. "Прибытие Сталина в Нарымский край, — рассказывает Верещак, — оживило деятельность большевиков и ознаменовалось целой серией побегов". После нескольких других бежал и сам Сталин: "С первым весенним пароходом он почти открыто уехал..." На самом деле, Сталин бежал в конце лета. Это его четвертый побег.

Вернувшись 12 сентября в Петербург, он застает здесь значительно изменившуюся обстановку. Идут бурные стачки. Рабочие снова выносят на улицу лозунги революции. Политика меньшевиков явно скомпрометирована. Влияние "Правды" сильно

возросло. К тому же приближаются выборы в Государственную Думу. Основной тон избирательной агитации уже дан из Кракова. Исходные позиции заняты. Большевики участвуют в избирательной борьбе отдельно от ликвидаторов и против них. Сплотить рабочих под знаменем трех главных лозунгов демократической революции: республика, 8-мичасовой рабочий день и конфискация помещичьих земель; высвободить мелкобуржуазную демократию из-под влияния либералов; привлечь крестьян на сторону рабочих — таковы руководящие идеи избирательной платформы Ленина. Сочетая со смелым размахом мысли неутомимое внимание к деталям, Ленин был едва ли ни единственным марксистом, который великолепно изучил все силки и петли столыпинского избирательного закона. Политически вдохновляя избирательную кампанию, он и технически руководил ею изо дня в день. На помощь Петербургу он посылал из-за границы статьи,инструкции и тщательно подготовленных эмиссаров.

Сафаров, принадлежащий ныне к категории исчезнувших, весною 1912 г. по пути из Швейцарии в Питер остановился в Кракове, где узнал, что на проведение избирательной кампании едет также Инесса, выдающаяся деятельница партии, близко стоявшая к Ленину. "Пару дней, наверно, Ильич нас накачивал инструкциями". Выборы уполномоченных по рабочей курии были назначены в Петербурге на 16 сентября. 14-го были арестованы Инесса и Сафаров. "Но не знала еще полиция, — пишет Крупская, — что 12-го приехал бежавший из ссылки Сталин. Выборы по рабочей курии прошли с большим успехом". Крупская не говорит "благодаря Сталину". Она просто ставит две фразы рядом. Это прием пассивной самообороны. "На ряде заводов на летучих собраниях, — читаем в новом издании воспоминаний бывшего депутата Бадаева (в первом издании этого не было), — выступал Сталин, только что бежавший из Нарыма". По словам Аллилуева, написавшего свои воспоминания только в 1937 г., "Сталин непосредственно руководил всей огромной кампанией выборов в IV Думу... Проживая в Питере нелегально, без определенного постоянного пристанища, не желая беспокоить кого-либо из близких товарищей в поздние часы ночи, после затянувшегося рабочего собрания, а также и по конспиративным соображениям, Сталин нередко проводил остаток ночи в каком-либо трактире за стаканом чая". Здесь удавалось иногда и "вздремнуть, сидя в прокопченной дымом махорки трактирной обстановке".

На исход выборов на низшей стадии, где приходилось иметь дело непосредственно с рабочими избирателями, Сталин не мог оказать большого влияния, не только в силу слабости его ораторских ресурсов, но и потому, что в его распоряжении не было и четырех дней. Зато он должен был сыграть крупную роль на дальнейших этапах многоэтажной системы, где нужно было сплачивать уполномоченных и руководить ими из-за кулис, опираясь на нелегальный аппарат. В этой сфере Сталин оказался, несомненно, более на месте, чем кто-либо другой. Важным документом избирательной кампании был "Наказ петербургских рабочих своему депутату". В первом издании своих воспоминаний Бадаев говорит, что наказ был составлен Центральным Комитетом; в новом издании авторство приписывается Сталину лично. Всего вероятнее, что наказ был продуктом коллективной работы, в которой последнее слово могло принадлежать Сталину как представителю ЦК.

"...Мы думаем, — говорится в "Наказе", — что Россия живет накануне грядущих массовых движений, быть может, более глубоких, чем в пятом году... Застрельщиком этих движений будет, как и в пятом году, наиболее передовой класс русского общества, русский пролетариат. Союзником же его может быть многострадальное крестьянство, кровно заинтересованное в раскрепощении России". Ленин пишет в редакцию "Правды": "Немедленно поместите этот наказ... на видном месте крупным шрифтом". Губернский съезд уполномоченных принял большевистский наказ подавляющим большинством. В эти горячие дни Сталин более активно выступает и как публицист: в течение недели мы насчитали четыре его статьи в "Правде". Результаты выборов в Петербурге, как и во всех вообще промышленных районах, оказались весьма благоприятными. Большевистские кандидаты прошли от шести важнейших промышленных губерний, в которых насчитывалось около 4/5 рабочего класса. Семь ликвидаторов были избраны главным образом голосами городской мелкой буржуазии. "В отличие от выборов 1907 г., — писал Сталин в корреспонденции для центрального органа, выходившего за границей, — выборы 1912 г. совпали с революционным оживлением среди рабочих". Именно поэтому рабочие, далекие от тенденций бойкотизма, активно боролись за свои избирательные права. Правительственная комиссия сделала по-

пытку признать недействительными выборы от самых больших заводов Петербурга. Рабочие ответили на это дружной забастовкой протеста и добились успеха. "Не лишне будет заметить, — прибавляет автор корреспонденции, что инициатива забастовочной кампании принадлежала представителю Центрального Комитета..." Речь идет здесь о самом Сталине. Политические выводы из избирательной кампании: "Жизненность и мощь революционной социал-демократии — таков первый вывод. Политическое банкротство ликвидаторов — таков второй вывод". Это было правильно.

Семерка меньшевиков, в большинстве интеллигентов, пыталась поставить шестерку большевиков, малоопытных политически рабочих, под свой контроль. В конце ноября Ленин пишет лично Сталину ("Васильеву") : "Если у нас все 6 по рабочей курии, нельзя молча подчиняться каким-то сибирякам. Обязательно шестерке выступить с самым резким протестом, если ее майоризируют". Ответ Сталина на это письмо, как и на другие, остается под спудом. Но призыв Ленина не вызывает сочувствия: сама шестерка ставит единство с объявленными "вне партии" ликвидаторами выше собственной политической независимости. В особой резолюции, напечатанной в "Правде", объединенная фракция признала "единство социал-демократии настоятельно необходимым", высказалась за слияние "Правды" с ликвидаторской газетой "Луч" и, как шаг на этом пути, рекомендовала всем своим членам вступить сотрудниками в обе газеты. 18 декабря меньшевистский "Луч" опубликовал с торжеством имена четырех депутатов-большевиков (два отказались) в списке своих сотрудников; имена членов меньшевистской фракции одновременно появились в заголовке "Правды". Примиренчество снова одержало победу, которая означала, по существу, ниспровержение духа и буквы Пражской конференции.

Вскоре в списке сотрудников "Луча" появилось еще одно имя: Горького. Это пахло заговором. "А как же это вы угодили в "Луч"??? — писал Ленин Горькому с тремя вопросительными знаками. — Неужели вслед за депутатами? Но они просто попали в ловушку". Во время эфемерного торжества примирен-

цев Сталин находился в Петербурге и осуществлял контроль ЦК над фракцией и "Правдой". О его протесте против решений, наносивших жестокий удар политике Ленина, никто ничего не сообщает: верный признак, что за кулисами примиренческих маневров стоял сам Сталин. Оправдываясь впоследствии в своем грехопадении, депутат Бадаев писал: "Как и во всех других случаях, наше решение... находилось в согласии с настроением тех партийных кругов, среди которых мы имели в тот момент возможность обсуждать нашу работу". Эта описательная форма намекает на Петербугское бюро ЦК и прежде всего на Сталина: Бадаев осторожно просит, чтоб вину не перелагали с руководителей на руководимых.

В советской печати отмечалось несколько лет тому назад, что история внутренней борьбы Ленина с фракцией и редакцией "Правды" еще недостаточно освещена. За последние годы были приняты все меры, чтоб затруднить такое освещение. Переписка Ленина за тот критический период до сих пор не опубликована полностью. В распоряжении историка имеются только те документы, которые были по разным поводам извлечены из архивов до установления тоталитарного контроля. Однако и из этих разрозненных фрагментов вырисовывается безошибочная картина. Непримиримость Ленина была только оборотной стороной его реалистической дальнозоркости. Он настаивал на расколе по той линии, которая должна была, в конце концов, стать линией гражданской войны. Эмпирик Сталин к дальнему прицелу был органически неспособен. Он энергично боролся с ликвидаторами во время выборов, чтоб иметь своих депутатов: дело шло о важной точке опоры. Но когда эта организационная задача была разрешена, он не считал нужным поднимать новую "бурю в стакане", тем более, что и меньшевики под влиянием революционной волны как будто склонны были заговорить по-иному. Поистине незачем "лезть на стену"! Для Ленина вся политика сводилась к революционному воспитанию масс. Борьба во время избирательной кампании не имела для него никакого смысла, если после окончания выборов думская фракция оставалась единой. Нужно было дать возможность рабочим на каждом шагу, на каждом действии, на каждом событии убеждаться, что большевики во всех основных вопросах резко отличаются от других политических группировок. Таков важнейший узел борьбы между Краковом и Петербургом.

Шатания думской фракции были тесно связаны с политикой "Правды". "В этот период, — писал Бадаев в 1930 г., — "Правдой" руководил Сталин, находившийся на нелегальном положении". То же пишет и хорошо осведомленный Савельев: "Оставаясь на нелегальном положении, Сталин фактически руководил газетой на протяжении осени 1912 и зимы 1912—13 гг. Лишь на короткий срок он уезжает в это время за границу, в Москву и другие места". Эти свидетельства, совпадающие со всеми фактическими обстоятельствами, не вызывают сомнения. Однако о руководстве Сталина в подлинном смысле слова не может быть все же речи. Действительным руководителем газеты был Ленин. Он каждый день посылал статьи, критику чужих статей, предложения, инструкции, поправки. Сталину, при его медлительной мысли, никак было не угнаться за этим живым потоком обобщений и предложений, которые на 9/10 казались ему лишними или преувеличенными. Редакция, по существу, занимала оборонительную позицию. Собственных политических идей она не имела, а стремилась лишь обломать острые углы краковской политики. Однако Ленин умел не только сохранять острые углы, но и заново оттачивать их. В этих условиях Сталин, естественно, стал закулисным вдохновителем примиренческой оппозиции против ленинского натиска.

"Новые конфликты, — говорит редакция "Сочинений" Ленина (Бухарин, Молотов, Савельев), — возникли вследствие недостаточно энергичной полемики с ликвидаторами по окончании избирательной кампании, а также в связи с приглашением к сотрудничеству в "Правде" впередовцев. Отношения еще более обострились в январе 1913 г. после отъезда из Петербурга И. Сталина". Это тщательно обдуманное выражение: "еще более обострились" свидетельствует, что и до отъезда Сталина отношения Ленина с редакцией не отличались дружелюбием. Но Сталин всячески избегал подставлять себя "как мишень".

Члены редакции были в партийном смысле маловлиятельными, отчасти даже случайными фигурами. Добиться их смещения не представляло бы для Ленина затруднений. Но они имели опору в настроениях верхнего слоя партии и лично — в представителе ЦК. Острый конфликт со Сталиным, связанным с редакцией и фракцией, означал бы потрясение партийного штаба. Этим объясняется осторожная, при всей своей настойчивости, политика

Ленина. 13 ноября он "с крайней печалью" укоряет редакцию в том, что она не посвятила статьи открытию международного социалистического конгресса в Базеле: "...написать такую статью было бы совсем нетрудно, а что в воскресенье открывается съезд, редакция "Правды" знала". Сталин, вероятно, искренне удивился. Международный конгресс? В Базеле? Это было очень далеко от него. Но главным источником трений являлись не отдельные, хотя и непрерывно повторяющиеся промахи, а основное различие в понимании путей развития партии. Политика Ленина имела смысл только под углом зрения смелой революционной перспективы; с точки зрения тиража газеты или постройки аппарата она не могла не казаться утрированной. В глубине души Сталин продолжал считать "эмигранта" Ленина сектантом.

Нельзя не отметить здесь же привходящий щекотливый эпизод. Ленин в те годы сильно нуждался. Когда "Правда" встала на ноги, редакция назначила своему вдохновителю и главному сотруднику гонорар, который, несмотря на свои архискромные размеры, составлял финансовую основу его существования. Как раз в период обострения конфликта деньги перестали получаться. Несмотря на свою исключительную деликатность в делах такого рода, Ленин вынужден был настойчиво напоминать о себе. "Почему не посылаете следуемых денег? Опоздание нас сильно стесняет. Не опаздывайте, пожалуйста". Вряд ли можно рассматривать задержку денег как своего рода финансовую репрессию (хотя в дальнейшем, стоя у власти, Сталин не стеснялся прибегать к таким приемам на каждом шагу). Но если даже дело шло о простом невнимании, оно бросает достаточный свет на отношения между Петербургом и Краковом. Поистине, они были очень далеки от дружелюбия.

Возмущение "Правдой" прорывается в письмах Ленина открыто сейчас же после отъезда Сталина в Краков, на совещание партийного штаба. Создается неотразимое впечатление, что Ленин лишь выжидал этого отъезда, чтоб разгромить петербургское примиренческое гнездо, сохранив в то же время возможность мирного соглашения со Сталиным. С того часа, как наиболее влиятельный противник оказывается нейтрализован, Ленин открывает истребительную атаку на петербургскую редакцию. В письме от 12 января, адресованном доверенному лицу в Петер-

бурге, он говорит о "непростительной глупости", совершенной "Правдой" в отношении газеты текстильщиков, требует исправить "свою глупость" и пр. Письмо в целом написано рукой Крупской. Дальше почерком Ленина: "Мы получили глупое и нахальное письмо из редакции. Не отвечаем. Надо их выжить... Нас крайне волнует отсутствие вестей о плане реорганизации редакции... Реорганизация, а еще лучше полное изгнание всех прежних, крайне необходимо. Ведется нелепо. Расхваливают Бунд и "Цейт" (оппортунистическое еврейское издание), это прямо подло. Не умеют вести линии против "Луча", безобразно относятся к статьям (т. е. к статьям самого Ленина). Прямо терпения нет". Тон письма показывает, что негодование Ленина, который умел, когда нужно, сдерживать себя, дошло до высшей точки. Уничтожающая оценка газеты относится ко всему тому периоду, когда непосредственное руководство лежало на Сталине. Кем именно было написано "глупое и нахальное письмо из редакции", до сих под не раскрыто и, конечно, не случайно. Вряд ли Сталиным: для этого он слишком осторожен; к тому же он, вероятно, находился уже вне Петербурга. Вернее всего, письмо написал Молотов, официальный секретарь редакции, столь же склонный к грубости, как и Сталин, но лишенный его гибкости. Нетрудно догадаться о характере "глупого и нахального письма": "Мы — редакция, "мы" решаем, ваши заграничные претензии для нас "буря в стакане", можете, если угодно, "лезть на стену", — мы будем "работать".

Насколько решительно Ленин подошел на этот раз к застарелому конфликту, видно из дальнейших строк письма: "Что сделано насчет контроля за деньгами? Кто получил суммы за подписку? В чьих они руках? Сколько их?" Ленин не исключает, видимо, даже возможности разрыва и озабочен сохранением финансовой базы в своих руках. Но до разрыва не дошло; растерянные примиренцы вряд ли дерзали и помышлять о нем. Пассивное сопротивление было их единственным оружием. Теперь и оно будет выбито из их рук.

Отвечая на пессимистическое письмо Шкловского из Берна и доказывая ему, что дела большевиков идут не так плохо, Крупская начинает с признания: "Конечно, "Правда" ведется плохо". Эта фраза звучит, как общее место, стоящее вне спора. "Там публика в редакции с бору да с сосенки, большинство не лите-

раторов... Не помещаются протесты рабочих против "Луча" для избежания полемики". Крупская обещает, однако, в ближайшем будущем "существенные реформы". Письмо написано 19-го января. На следующий день Ленин пишет через Крупскую в Петербург: "...необходимо насадить свою редакцию "Правды" и разогнать теперешнюю. Ведется дело сейчас из рук вон плохо. Отсутствие кампании за единство снизу — глупо и подло... ну, разве люди эти редакторы? Это не люди, а жалкие тряпки и губители дела". Это тот стиль, которым писал Ленин, когда хотел показать, что дойдет до конца.

Параллельно он успел уже открыть огонь из тщательно расставленных батарей по примиренчеству думской фракции. Еще 3 января он писал в Петербург: "Добейтесь безусловно помещения письма бакинских рабочих, которое посылаем". Письмо требует разрыва депутатов-большевиков с "Лучом". Указывая на то, что в течение пяти лет ликвидаторы "на разные лады повторяли, что партия умерла", бакинские рабочие спрашивают: "Откуда у них теперь взялась охота объединяться с мертвецом?" Вопрос не лишен меткости. "Когда же состоится выход четырех (депутатов) из "Луча"? — настаивает, со своей стороны, Ленин. — Можно ли еще ждать?.. Даже из далекого Баку 20 рабочих протестуют". Не будет рисковано предположить, что, не добившись путем переписки разрыва депутатов с "Лучом", Ленин еще во время пребывания Сталина в Петербурге стал осторожно мобилизовывать низы. Несомненно, именно по его инициативе протестовали бакинские рабочие — Баку был выбран Лениным не случайно! — причем протест свой послали не редакции "Правды", где руководил бакинский вождь Коба, а Ленину в Краков. Сложные нити конфликтов явственно выступают здесь наружу. Ленин наступает. Сталин маневрирует. При противодействии примиренцев, но зато не без невольной помощи ликвидаторов, которые все больше обнаруживали свой оппортунизм. Ленину удалось вскоре добиться того, что депутаты-большевики вышли с протестом из состава сотрудников "Луча". Но они попрежнему продолжали оставаться связанными дисциплиной ликвидаторского большинства думской фракции.

Готовясь к худшему, даже к разрыву, Ленин, как всегда, принимает меры к тому, чтоб достигнуть своей политической цели с наименьшими потрясениями и личными жертвами. Имен-

но поэтому он заблаговременно вызвал Сталина за границу и сумел заставить его понять, что на время предстоящей "реформы" ему выгоднее отойти от "Правды". В Петербург был в это время направлен другой член ЦК, Свердлов, будущий первый председатель советской республики. Этот знаменательный факт засвидетельствован официально: "В целях реорганизации редакции, — гласит примечание к XVI тому "Сочинений" Ленина, — в Петербург Ц. Комитетом был прислан Свердлов". Ленин писал ему: "Сегодня узнали о начале реформы в "Правде". Тысячу приветов, поздравлений и пожеланий успехов... Вы не можете вообразить, до какой степени мы истомились работой с глухо-враждебной редакцией". В этих словах, где накопившаяся горечь соединяется со вздохом облегчения, Ленин подводит счеты своих отношений с редакцией за весь тот период, когда, как мы слышали, "Сталин фактически руководил газетой".

"Автор этих строк живо помнит, — писал Зиновьев в 1934 г., когда над головой его висел уже дамоклов меч, — каким событием был приезд Сталина в Краков". Ленин радовался вдвойне: и тому, что теперь удастся призвести деликатную операцию в Петербурге в отсутствие Сталина, и тому, что дело обойдется, вероятно, без потрясений внутри ЦК. В своем скупом и осторожном рассказе о пребывании Сталина в Кракове Крупская замечает, как бы вскользь: "Ильич нервничал тогда по поводу "Правды", нервничал и Сталин. Столковывались, как наладить дело". Эти многозначительные, при всей своей преднамеренной туманности, строки остались, очевидно, от более откровенного текста устраненного по требованию цензуры. В связи с уже известными нам обстоятельствами вряд ли можно сомневаться , что Ленин и Сталин "нервничали" по-разному, пытаясь каждый отстоять свою политику. Однако борьба была слишком неравной: Сталину пришлось отступить.

Совещание, на которое он был вызван, состоялось 28 декабря — 1 января 1913 г. в составе одиннадцати человек: членов ЦК, думской фракции и видных местных работников. Наряду с общими политическими задачами в условиях нового революционного подъема совещание обсуждало острые вопросы внутренней жизни партии: о думской фракции, о партийной прессе, об отношении к ликвидаторству и к лозунгу "единства". Главные до-

клады делал Ленин. Надо полагать, депутатам и их руководителю Сталину пришлось выслушать немало горьких истин, хоть и высказанных дружественным тоном. Сталин на совещании, видимо, отмалчивался: только этим и можно объяснить тот факт, что в первом издании своих воспоминаний (1929 г.) почтительный Бадаев забывает даже назвать его в числе участников. Отмалчиваться в критических условиях есть, к тому же, излюбленный прием Сталина. Протоколов и других материалов совещания "до сих пор не разыскано". Вероятнее всего, к неразысканию приняты были особые меры. В одном из тогдашних писем Крупской в Россию рассказывается: "Доклады с мест на совещании были очень интересны. Все говорили, что масса теперь подросла... Во время выборов выяснилось, что повсюду имеются самочинные рабочие организации... В большинстве случаев они не связаны с партией, но по духу своему партийны". В свою очередь, Ленин отмечает в письме Горькому, что совещание "очень удалось" и "сыграет свою роль". Он имел в виду прежде всего выпрямление политики партии.

Департамент полиции не без иронии уведомлял своего заведующего агентурной за границей, что, вопреки его последнему донесению, депутат Полетаев на совещании не присутствовал, а были следующие лица: Ленин, Зиновьев, Крупская; депутаты: Малиновский, Петровский, Бадаев; Лобова, рабочий Медведев, поручик русской артиллерии Трояновский (будущий посол в С. Штатах), жена Трояновского и Коба. Не лишен интереса порядок имен: Коба оказывается в списке департамента на последнем месте. В примечаниях к "Сочинениям" Ленина (1929) он назван пятым, после Ленина, Зиновьева, Каменева и Крупской, хотя Зиновьев, Каменев и Крупская давно уже находились в опале. В перечнях новейшей эры Сталин занимает неизменно второе место, сейчас же после Ленина. Эти перемещения недурно отбивают такт исторической карьеры.

Департамент полиции хотел показать своим письмом, что Петербург лучше своего заграничного агента осведомлен о происшедшем в Кракове. Немудрено: одну из видных ролей на совещании играл Малиновский, о действительной физиономии которого как провокатора знала лишь самая верхушка полицейского Олимпа. Правда, еще в годы реакции среди социал-демократов, соприкасавшихся с Малиновским, возникли против него подо-

зрения; доказательств, однако, не было, и подозрения заглохли. В январе 1912 г. Малиновский оказался делегирован от московских большевиков на конференцию в Праге. Ленин жадно ухватился за способного и энергичного рабочего и содействовал выдвижению его кандидатуры на выборах в Думу. Полиция, с своей стороны, поддерживала своего агента, арестуя возможных соперников. Во фракции Думы представитель московских рабочих сразу завоевывает авторитет. Получая от Ленина готовые тексты парламентских речей, Малиновский передавал рукописи на просмотр директору департамента полиции. Тот пробовал сперва вносить смягчения; однако режим большевистской фракции вводил автономию отдельного депутата в очень узкие пределы. В результате оказалось, что если социал-демократический депутат был лучшим осведомителем охраны, то, с другой стороны, агент охраны стал наиболее боевым оратором социал-демократической фракции.

Подозрения насчет Малиновского снова возникли летом 1913 года у ряда видных большевиков; но за отсутствием доказательств и на этот раз все осталось по-старому. Однако само правительство испугалось возможного разоблачения и связанного с этим политического скандала. По приказу начальства Малиновский подал в мае 1914 г. председателю Думы заявление о сложении депутатского мандата. Слухи о провокации вспыхнули с новой силой и проникли на этот раз в печать. Малиновский выехал за границу, явился к Ленину и потребовал расследования. Свою линию поведения он, очевидно, тщательно подготовил при содействии своих полицейских руководителей. Две недели спустя в петербургской газете партии появилась телеграмма, сообщавшая иносказательно, что ЦК, расследовав дело Малиновского, убедился в его личной честности. Еще через несколько дней было опубликовано постановление о том, что самовольным сложением мандата Малиновский "поставил себя вне рядов организованных марксистов": на языке легальной газеты это означало исключение из партии.

Ленин подвергался долгому и жестокому обстрелу со стороны противников за "укрывательство" Малиновского. Участие агента полиции в думской фракции и особенно в Центральном Комитете было, конечно, большим бедствием для партии. В частности, Сталин в последнюю свою ссылку отправился по

доносу Малиновского. Но в ту эпоху подозрения, осложнявшиеся подчас фракционной враждой, отравляли всю атмосферу подполья. Прямых улик против Малиновского никто не представлял. Нельзя же было приговорить члена партии к политической, пожалуй, и физической смерти на основании смутных подозрений. А так как Малиновский занимал ответственное положение, и от его репутации зависела до известной степени и репутация партии, то Ленин считал своим долгом защищать Малиновского с той энергией, которая его отличала. После низвержения монархии факт службы Малиновского в полиции нашел полное подтверждение. После Октябрьского переворота провокатор, вернувшийся в Москву из немецкого плена, был расстрелян по приговору Трибунала.

Несмотря на недостаток людей, Ленин не спешил вернуть Сталина в Россию. Необходимо было до его возвращения закончить в Петербурге "существенные реформы". С другой стороны, и сам Сталин вряд ли очень рвался на место прежней работы после краковского совещания, которое означало косвенное, но недвусмысленное осуждение его политики. Как всегда, Ленин сделал все, чтоб обеспечить побежденному почетное отступление. Мстительность была ему совершенно чужда. Чтобы задержать Сталина на критический период за границей, он заинтересовал его работой о национальном вопросе: комбинация целиком в духе Ленина!

Уроженцу Кавказа с его десятками полукультурных и первобытных, но быстро пробуждающихся народностей, не нужно было доказывать важность национального вопроса. Традиция национальной независимости продолжала жить в Грузии. Коба получил первый революционный импульс именно с этой стороны. Самый псевдоним его напоминал о национальной борьбе. Правда, в годы первой революции он, по словам Иремашвили, успел охладеть к грузинской проблеме. "Национальная свобода... уже ничего не означала для него. Он не хотел признавать никаких границ для своей воли к власти. Россия и весь мир должны были оставаться открытыми для него". Иремашвили явно предвосхищает факты и настроения более позднего времени. Несомненно лишь, что, став большевиком, Коба покончил с той национальной романтикой, которая продолжала мирно ужи-

ваться с расплывчатым социализмом грузинских меньшевиков. Но отказавшись от идеи независимости Грузии, Коба не мог, подобно многим великороссам, оставаться безразличным к национальному вопросу вообще: взаимоотношения грузин, армян, русских и пр. осложняли на каждом шагу революционную работу на Кавказе.

По своим взглядам Коба стал интернационалистом. Стал ли он им по своим чувствам? Великоросс Ленин органически не выносил шуток и анекдотов, способных задеть чувства угнетенной нации. Сталин сохранил в нервах своих слишком многое от крестьянина из деревни Диди-Лало. В предреволюционные годы он не смел, разумеется, играть на национальных предрассудках, как делал это позже, стоя у власти. Но в мелочах предрасположения его на этот счет обнаруживались уже и тогда. Ссылаясь на преобладание евреев в меньшевистской фракции Лондонского съезда 1907 г., Коба писал: "По этому поводу кто-то из большевиков заметил шутя (кажется, тов. Алексинский), что меньшевики — еврейская фракция, большевики — истинно русская, стало быть, не мешало бы нам, большевикам, устроить в партии погром". Нельзя и сейчас не поразиться тому, что в статье, предназначенной для рабочих Кавказа, где атмосфера была отравлена национальной рознью, Сталин счел возможным цитировать проникнутую подозрительным ароматом шутку. Дело шло при этом вовсе не о случайной бестактности, а о сознательном расчете. В той же статье, как мы помним, автор развязно "шутил" над резолюцией съезда об экспроприациях, чтобы рассеять таким способом сомнения кавказских боевиков. Можно с уверенностью предположить, что меньшевистская фракция в Баку возглавлялась в то время евреями и что своей "шуткой" насчет погрома автор хотел скомрометировать фракционных противников в глазах отсталых рабочих: это легче, чем убедить и воспитать, а Сталин всегда и во всем искал линии наименьшего сопротивления. Прибавим, что "шутка" Алексинского тоже не возникла случайно: этот ультралевый большевик стал впоследствии отъявленным реакционером и антисемитом.

В своей политической работе Коба отстаивал, разумеется, официальную позицию партии. Однако до поездки за границу статьи его на эти темы не возвышались над уровнем повседневной пропаганды. Только теперь, по инициативе Ленина, он

подошел к национальной проблеме с более широкой теоретической и политической точек зрения. Жизненное знакомство с переплетом кавказских национальных отношений облегчало ему, несомненно, ориентировку в этой сложной области, где абстрактное теоретизирование особенно опасно.

В двух странах довоенной Европы национальный вопрос имел исключительное политическое значение: в царской России и в габсбургской Австро-Венгрии. В каждой из них рабочая партия создала свою собственную школу. В области теории австрийская социал-демократия в лице Отто Бауэра и Карла Реннера брала национальность независимо от территории, хозяйства и классов, превращая ее в некоторую абстракцию, связанную так называемым "национальным характером". В области национальной политики, как, впрочем, и во всех других областях, она не шла дальше поправок к статус кво. Страшась самой мысли о расчленении монархии, австрийская социал-демократия стремилась приспособить свою национальную программу к границам лоскутного государства. Программа так называемой "национально-культурной автономии" требовала, чтобы граждане одной и той же национальности, независимо от их расселения на территории Австро-Венгрии, как и от административных делений государства, были объединены по чисто персональному признаку в одну общину для разрешения своих "культурных" задач (театр, церковь, школа и пр.). Эта программа была искусственна и утопична, поскольку в обществе, раздираемом социальными противоречиями, пытались отделить культуру от территории и хозяйства; она была в то же время реакционна, поскольку вела к принудительному разъединению рабочих разных национальностей одного и того же государства, подрывая их классовую силу.

Позиция Ленина была прямо противоположна. Рассматривая национальность в неразрывной связи с территорией, хозяйством и классовой культурой, он в то же время отказывался видеть в историческом государстве, границы которого прошли по живому телу наций, священную и неприкосновенную категорию. Он требовал признания за каждой национальной частью государства права на отделение и самостоятельное существование. Поскольку же разные национальности добровольно или в силу необходимости сожительствуют в границах одного государства, их культурные интересы должны найти наивысшее возможное

удовлетворение в рамках самой широкой областной (следовательно, территориальной) автономии, с законодательной гарантией прав каждого меньшинства. В то же время Ленин считал непререкаемым долгом всех рабочих данного государства, независимо от национальности, объединяться в одних и тех же классовых организациях.

Особенно жгуче стояла национальная проблема в Польше, в соответствии с исторической судьбой этой страны. Так называемая Польская Социалистическая Партия (ППС), главой которой стал Иосиф Пилсудский, страстно выступала за независимость Польши; "социализм" ППС был только туманным дополнением ее воинственного национализма. Наоборот, польская социал-демократия, руководительницей которой была Роза Люксембург, противопоставляла лозунгу независимости Польши требование автономии Польского края в составе демократической России. Люксембург исходила из того, что в эпоху империализма отделение Польши от России экономически неосуществимо, а в эпоху социализма — ненужно. "Право на самоопределение" она считала пустой абстракцией. Полемика по этому вопросу длилась долгие годы. Ленин доказывал, что империализм отнюдь не господствует равномерно во всех странах, областях и сферах жизни; что наследие прошлого представляет нагромождение и взаимопроникновение разных исторических эпох; что монополистический капитал возвышается над всем остальным, но не замещает его; что, несмотря на господство империализма, сохраняют свою силу многочисленные национальные проблемы и что, в зависимости от внутренней и мировой конъюнктуры, Польша может стать самостоятельной и в эпоху империализма.

Право на самоопределение явилось, с точки зрения Ленина, ничем иным, как применением принципов буржуазной демократии в сфере национальных отношений. Полная, реальная, всесторонняя демократия при капитализме неосуществима; в этом смысле "неосуществима" и национальная независимость малых и слабых народов. Однако рабочий класс не отказывается и при империализме от борьбы за демократические права, в том числе и за право каждой нации на самостоятельное существование. Более того: для известных частей нашей планеты именно империализм придает лозунгу национального самоопределения исключительную остроту. Если Западная и Центральная Европа так или

иначе успели разрешить свои национальные проблемы в течение XIX века, то в Восточной Европе, Азии, Африке, Южной Америке эпоха национально-демократических движений развернулась по-настоящему только в XX веке. Отвергать право наций на самоопределение, значит, на деле оказывать помощь империалистам против колоний и угнетенных народов вообще.

Период реакции чрезвычайно обострил в России национальный вопрос. "Поднявшаяся сверху волна воинствующего национализма, — писал Сталин, — целый ряд репрессий со стороны власть имущих, мстящих окраинам за их свободолюбие, вызывали ответную волну национализма снизу, переходящего в грубый шовинизм". Это было время ритуального процесса против киевского еврея Бейлиса. Ретроспективно, в свете новейших завоеваний цивилизации, особенно в Германии и в СССР, этот процесс, кажется, потряс весь мир. Отрава национализма угрожала и широким слоям рабочего класса. Горький с тревогой писал Ленину о необходимости противодействовать шовинистическому одичанию. "Насчет национализма вполне с вами согласен, — отвечал Ленин, — что надо заняться этим посурьезнее. У нас один чудесный грузин засел и пишет для "Просвещения" большую статью, собрав все австрийские и пр. материалы. Мы именно на это наляжем". Речь шла о Сталине. Давно связанный с партией, Горький хорошо знал ее руководящие кадры. Но фигура Сталина оставалась для него, очевидно, полной неизвестностью, раз Ленин оказался вынужден прибегнуть к такому хотя и лестному, но совершенно безличному определению, как "один чудесный грузин". Это кстати сказать, единственный, пожалуй, случай, когда Ленин характеризует видного русского революционера по национальному признаку. Он имел в виду, собственно, не грузина, а кавказца: элемент первобытности несомненно подкупал Ленина; недаром он с такой нежностью относился к Камо.

Во время своего двухмесячного пребывания за границей Сталин написал небольшое, но очень содержательное исследование: "Марксизм и национальный вопрос". Будучи предназначена для легального журнала, статья пользуется осторожным словарем. Но революционные тенденции ее выступают, тем не менее, совершенно отчетливо. Автор начинает с противопоставления историко-материалистического определения нации аб-

страктно-психологическому, в духе австрийской школы. "Нация, — пишет он, — это исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психологического склада, проявляющегося в общности культуры". Это комбинированное определение, сочетающее психологические черты нации с географическими и экономическими условиями ее развития, не только правильно теоретически, но и плодотворно практически, ибо обязывает искать разрешения вопроса о судьбе каждой нации в изменении материальных условий ее существования, начиная с территории. Фетишистского преклонения перед границами государства большевизма никогда не знал. Политически дело шло о том, чтоб царскую империю, тюрьму народов, перестроить территориально, политически и административно в соответствии с потребностями и желаниями самих народов.

Партия пролетариата не предписывает отдельным национальностям, оставаться ли им в пределах государства или отделиться от него: это их собственное дело. Но она обязывается помочь каждой из них осуществить свою действительную волю. Вопрос о возможности государственного отделения есть вопрос конкретных исторических обстоятельств и соотношения сил. "Никто не может сказать, — писал Сталин, — что Балканская война является концом, а не началом осложнений. Вполне возможно такое сочетание внутренних и внешних конъюктур, при котором та или иная национальность в России найдет нужным поставить и решить вопрос о своей независимости. И, конечно, не дело марксистов ставить в таких случаях преграды. Но из этого следует, что русские марксисты не обойдутся без права наций на самоопределение".

Интересы наций, которые добровольно останутся в пределах демократической России, будут ограждены посредством "автономии таких определившихся единиц, как Польша, Литва, Украина, Кавказ и т. п. Областная автономия позволяет лучше использовать естественные богатства области; она не разделяет граждан по национальным линиям, позволяя им группироваться в классовые партии". Территориальное самоуправление областей во всех сферах общественной жизни противопоставляется здесь внетерриториальному, т. е. платоническому самоуправлению национальностей только в вопросах "культуры".

Однако наиболее непосредственное и жгучее значение, с точки зрения освободительной борьбы пролетариата, имеет вопрос о взаимоотношении рабочих разных национальностей одного государства. Большевизм выступает за тесное и нераздельное сплочение рабочих всех национальностей в партии и профессиональных союзах на основах демократического централизма. "Тип организации влияет не только на практическую работу. Он накладывает неизгладимую печать на всю духовную жизнь рабочего. Рабочий живет жизнью своей организации, он там растет духовно и воспитывается... Интернациональный тип организации является школой товарищеских чувств, величайшей агитацией в пользу интернационализма".

Австрийская программа "культурной автономии" ставила одной из своих целей "сохранение и развитие национальных особенностей народов". Зачем и для чего? — с изумлением спрашивал большевизм. Забота об обособлении национальных частей человечества — не наша забота. Большевизм требовал, правда, для каждой нации права на отделение — права, а не обязанности, — как последней, наиболее действительной гарантии против угнетения. Но, в то же время, ему была глубоко враждебна мысль об искусственном консервировании национальных особенностей. Устранение всякого, хотя бы и замаскированного, хотя бы и самого утонченного, почти "невесомого" национального гнета или унижения должно служить не разобщению, а, наоборот, революционному объединению рабочих разных национальностей. Где есть национальные привилегии и обиды, там нужно дать возможность нациям разделиться, чтоб тем самым облегчить свободное объединение рабочих во имя тесного сближения наций с отдаленной перспективой их полного слияния. Такова основная тенденция большевизма, обнаружившая всю свою силу в Октябрьской революции.

Австрийская программа не обнаружила ничего, кроме слабости: она не спасла ни империи Габсбургов, ни самой австрийской социал-демократии. Культивируя обособленность национальных групп пролетариата и в то же время отказываясь дать реальное удовлетворение угнетенным национальностям, австрийская программа лишь прикрывала господствующее положение немцев и мадьяр и являлась, по справедливым словам Сталина, "утонченным видом национализма". Нельзя, однако, не отме-

тить, что, критикуя заботу о "национальных особенностях", автор придает мысли противника заведомо упрощенное толкование. "Подумайте только, — восклицает он, — сохранить такие национальные особенности закавказских татар, как самобичевание в праздник Шахсей-Вахсей! Развить такие национальные особенности Грузии, как право мести!" На самом деле австромарксисты не имели, конечно, в виду сохранения заведомо реакционных пережитков. Что касается такой "национальной особенности Грузии, как "право мести", то именно Сталин в дальнейшем развил ее до таких пределов, как, может быть, никто другой в человеческой истории. Но это относится уже к другому порядку идей.

Видное место в исследовании занимает полемика против старого противника, Ноя Жордания, который в годы реакции стал склоняться к австрийской программе. На отдельных примерах Сталин показывает, что культурно-национальная автономия, "непригодная вообще, является еще бессмысленной и вздорной с точки зрения кавказских условий". Не менее решительной критике подвергается политика еврейского Бунда, который был организован не по территориальному, а по национальному принципу и пытался навязать эту систему партии в целом. "Одно из двух: либо федерализм Бунда, и тогда — российская социал-демократия перестраивается на началах "размежевания" рабочих по национальностям; либо интернациональный тип организации, и тогда Бунд перестраивается на началах территориальной автономии... Среднего нет: принципы побеждают, а не примиряются".

"Марксизм и национальный вопрос" представляет, несомненно, самую значительную, вернее, единственную теоретическую работу Сталина. На основании одной этой статьи, размером в 40 печатных страниц, можно было бы признать автора выдающимся теоретиком. Остается только непонятным, почему ни до того, ни после того он не написал ничего, сколько-нибудь приближающегося к этому уровню. Разгадка таится в том, что работа полностью внушена Лениным, написана под его ближайшим руководством и проредактирована им строка за строкой.

Ленин дважды в своей жизни рвал с близкими сотрудниками, стоявшими на большой теоретической высоте. Сперва, в 1903–1904 гг., когда он разошелся со всеми старыми авторитетами

российской социал-демократии: Плехановым, Аксельродом, Засулич и выдающимися молодыми марксистами Мартовым и Потресовым. Второй раз, в те годы реакции, когда от него отошли Богданов, Луначарский, Покровский, Рожков, писатели высокой квалификации. Зиновьев и Каменев, его ближайшие сотрудники, не были теоретиками. В этом смысле новый революционный подъем застиг Ленина в одиночестве. Естественно, что он с жадностью набрасывался на всякого молодого товарища, который мог в той или другой области принять участие в разработке вопросов партийной программы.

"На этот раз, — вспоминает Крупская, — Ильич много разговаривал со Сталиным по национальному вопросу, рад был, что встретил человека, интересующегося всерьез этим вопросом, разбирающегося в нем. Перед этим Сталин месяца два прожил в Вене, занимаясь там национальным вопросом, близко познакомился там с нашей венской публикой, с Бухариным, с Трояновским". Здесь не все договорено. "Ильич много разговаривал со Сталиным", это значит: давал руководящие идеи, освещал их с разных сторон, разъяснял недоразумения, указывал литературу, просматривал первые опыты и вносил поправки. "Я вспоминаю, — рассказывает та же Крупская, — отношение Ильича к малоопытным авторам. Смотрел на суть, на основное, обдумывал, как помочь, исправить. Но делал он это как-то очень бережно, так что и не заметит другой автор, что его поправляют. А помогать в работе Ильич здорово умел. Хочет, например, поручить кому-нибудь написать статью, но не уверен, так ли тот напишет, так сначала заведет с ним подробный разговор на эту тему, разовьет свои мысли, заинтересует человека, прозондирует его как следует, а потом предложит: "Не напишете ли на эту тему статью?" И автор и не заметит даже, как помогла ему предварительная беседа с Ильичем, не заметит, что вставляет в статью ильичевы словечки и обороты даже". Крупская не называет, конечно, Сталина. Но характеристика Ленина как наставника молодых авторов включена ею в ту главу "Воспоминаний", где рассказывается о работе Сталина над национальным вопросом: Крупская вынуждена нередко прибегать к окольным путям, чтоб хоть отчасти отстоять интеллектуальные права Ленина от узурпации.

Ход работы Сталина над статьей вырисовывается перед на-

ми с достаточной ясностью. Сперва — наводящие беседы Ленина в Кракове, указание руководящих идей и необходимой литературы. Поездка Сталина в Вену, в центр "австрийской школы". За незнанием немецкого языка справиться с источниками самостоятельно Сталин не мог. Зато Бухарин, несомненно обладавший теоретической головой, знал языки, знал литературу, умел оперировать с документами. Бухарин, как и Трояновский, имели от Ленина поручение помочь" чудесному", но малообразованному грузину. Им, очевидно, и принадлежит подбор важнейших цитат. На логическом построении статьи, не лишенном педантизма, сказалось, по всей вероятности, влияние Бухарина, который тяготел к профессорским приемам, в отличие от Ленина, для которого политический или полемический интерес определял структуру произведения. Дальше этого влияние Бухарина не шло, так как именно в национальном вопросе он стоял ближе к Розе Люксембург, чем к Ленину. Какова была доля участия Трояновского, мы не знаем. Но именно с этого времени ведет начало его связь со Сталиным, которая через ряд лет и переменчивых обстоятельств обеспечила незначительному и неустойчивому Трояновскому один из ответственных дипломатических постов.

Из Вены Сталин вернулся со своими материалами в Краков. Здесь опять наступила очередь Ленина, внимательного и неутомимого редактора. Печать его мысли и следы его пера можно без труда открыть на каждой странице. Некоторые фразы, механически включенные автором, или отдельные строки, явно вписанные редактором, кажутся неожиданными или непонятными без справки с соответственными работами Ленина. "Не национальный, а аграрный вопрос решает судьбы прогресса в России, — пишет Сталин без объяснений, — национальный вопрос ему подчинен". Правильная и глубокая мысль об относительном удельном весе аграрного и национального вопросов в ходе русской революции полностью принадлежала Ленину и развивалась им неоднократно в течение годов реакции. В Италии и в Германии борьба за национальное освобождение и объединение составляла в свое время стержень буржуазной революции. Иначе в России, где главенствующая национальность, великорусская, не испытывала над собою национального гнета, наоборот, угнетала других; зато главная, именно крестьянская, масса самих

великороссов испытывала над собой глубокий гнет крепостничества. Такого рода сложные и серьезно взвешенные мысли действительный автор их никогда не высказал бы мимоходом, как общее место, без доказательств и комментариев.

Зиновьев и Каменев, долго жившие бок о бок с Лениным, усваивали не только его идеи, но и его обороты, даже почерк. Относительно Сталина этого сказать нельзя. Разумеется, и он жил идеями Ленина, но вдали, в стороне, и лишь в тех пределах, в каких они нужны ему были для его непосредственных целей. Он был слишком крепок, упрям, ограничен и органичен, чтоб усваивать литературные приемы учителя. Оттого ленинские поправки к его тексту выглядят, по слову поэта, "как яркие заплаты на ветхом рубище". Разоблачение австрийской школы как "утонченного вида национализма" принадлежит, несомненно, Ленину, как и ряд других простых, но метких формул. Сталин так не писал. По поводу данного Бауэром определения нации как "относительной общности характера" читаем в статье: "...чем же отличается тогда нация Бауэра от мистического и самодовлеющего "национального духа" спиритуалистов?" Эта фраза написана Лениным. Ни раньше, ни позже Сталин так не выражался. И дальше, когда статья по поводу эклектических поправок Бауэра к его собственному определению нации отмечает: "...так сама себя опровергает сшитая идеалистическими нитками теория", то нельзя не распознать сразу перо Ленина. То же относится к характеристике интернационального типа рабочей организации как "школы товарищеских чувств". Сталин так не писал. С другой стороны, во всей работе, несмотря на ее многочисленные угловатости, мы не встречаем ни хамелеонов, принимающих окраску зайцев, ни подземных ласточек, ни ширм, состоящих из слез: Ленин вытравил все эти семинарские красоты. Рукопись с поправками можно, конечно, скрыть. Но никак нельзя скрыть и то обстоятельство, что за годы тюремных заключений и ссылок Сталин не создал ничего, хоть отдаленно похожего на ту работу в течение нескольких недель в Вене и Кракове.

8 февраля, когда Сталин еще находился за границей, Ленин поздравлял редакцию "Правды" "с громадным улучшением во всем ведении газеты, которое видно за последние дни". Улучшение имело принципиальный характер и выразилось, главным

образом, в усилении борьбы с ликвидаторами. Свердлов выполнял тогда, по рассказу Самойлова, обязанности фактического редактора; живя нелегально и не выходя из квартиры "неприкосновенного" депутата, он целыми днями возился с газетными рукописями. "Он был, кроме того, очень славный товарищ и во всех частных вопросах жизни". Это правильно. О Сталине, с которым он близко соприкасался и к которому очень почтителен, Самойлов такого отзыва не дает. 10-го февраля полиция проникла в "неприкосновенную" квартиру, арестовала Свердлова и выслала его вскоре в Сибирь, несомненно, по доносу Малиновского. К концу февраля у тех же депутатов поселился Сталин, вернувшийся из-за границы. "В жизни нашей фракции и газеты "Правды" он играл руководящую роль, — рассказывает Самойлов, — и он бывал не только на всех устраиваемых нами в нашей квартире совещаниях, но нередко с большим для себя риском посещал и заседания социал-демократической фракции, отстаивая в спорах с меньшевиками и по разным вопросам нашу позицию, оказывал нам большие услуги".

Сталин застал в Петербурге значительно изменившуюся обстановку. Передовые рабочие твердо поддержали реформы Свердлова, внушенные Лениным. Штаб "Правды" был обновлен. Примиренцы оказались оттесненными. Сталин и не думал отстаивать по существу те позиции, от которых его оторвали два месяца тому назад. Это не в его духе. Его забота теперь состоит в том, чтоб сохранить лицо. 26 февраля он печатает в "Правде" статью, в которой призывает рабочих "возвысить голос против раскольнических попыток внутри фракции, откуда бы они ни исходили". По существу, статья входит в кампанию подготовки раскола думской фракции с возложением ответственности на противника. Но связанный собственным вчерашним днем, Сталин пытается облекать новую цель в старую фразеологию. Отсюда двусмысленное выражение о раскольнических попытках, "откуда бы они ни исходили". Во всяком случае, из статьи очевидно, что, побывав в краковской школе, автор стремился лишь как можно менее заметно переменить фронт и включиться в новую политику. Однако участвовать в ней ему почти не довелось: его скоро арестовали.

В воспоминаниях бывшего грузинского оппозиционера Кавтарадзе рассказывается о встрече его со Сталиным в одном из петербургских ресторанов под бдительным оком шпиков. Когда

собеседникам показалось на улице, что они счастливо отделались от преследователей, Сталин уехал на лихаче. Но немедленно за ним двинулся другой лихач со шпиком. Кавтарадзе, решивший, что его земляку не миновать на этот раз ареста, к удивлению своему узнал, что тот на свободе. Проезжая тускло освещенной улицей, Сталин собрался в ком, перекатился незаметно назад через спинку саней и зарылся в сугроб снега на краю улицы. Проводив глазами второго лихача, он встал, отряхнулся и укрылся у товарища. Через три дня, переодетый в форму студента, вышел из своего убежища и "продолжал руководящую работу в питерском подполье". Своими явно стилизованными воспоминаниями Кавтарадзе пытался отвести уже занесенную над ним руку. Но, как и многие другие, он ничего не купил ценою унижения... Редакция официального исторического журнала умудрилась не заметить, что в 1911 г., к которому Кавтарадзе относит этот эпизод, Сталин был в Петербурге только в летние месяцы, когда снежных сугробов на улицах быть не могло. Если брать рассказ за чистую монету, дело могло идти либо о конце 1912, либо о начале 1913 г., когда Сталин после возвращения из-за границы оставался на свободе около двух-трех недель.

В марте большевистская организация под фирмой "Правды" устраивала вечер-концерт. Сталину "захотелось туда пойти", — рассказывает Самойлов: там можно было повидать многих товарищей. Он спрашивал у Малиновского совета: стоит ли пойти, не опасно ли? Вероломный советчик ответил, что, по его мнению, опасности нет. Однако опасность была подготовлена самим Малиновским. После прихода Сталина зал был сразу наводнен шпиками. Попытались провести его через артистическую, переодев предварительно в женскую ротонду. Но его все же арестовали. На этот раз ему предстояло исчезнуть из обращения ровно на четыре года.

Через два месяца после этого ареста Ленин писал в "Правду": "Очень поздравляю с успехом... Улучшение громадное и серьезное, надо надеяться, прочное и окончательное... Только бы не сглазить!" В интересах полноты нельзя не процитировать также письмо, которое Ленин послал в Петербург в октябре 1913 г., когда Сталин был уже в далекой ссылке, а редакцией руководил Каменев: "Тут все довольны газетой и ее редактором, я за все это время не слышал ни одного худого слова... Все довольны, и я особо: ибо оказался пророком. Помните?" В конце

письма: "Дорогой друг! Все внимание уделено теперь борьбе шестерки за равноправие. Умоляю налечь изо всех сил и не дать ни газете, ни общественному мнению марксистов колебнуться ни разу". Из всех приведенных данных вытекают совершенно непреложные выводы: газета велась, по мнению Ленина, из рук вон плохо в период, когда ею руководил Сталин. Думская фракция шаталась в тот же период в сторону примиренчества. Газета стала политически выправляться после того, как Свердлов, в отсутствие Сталина, произвел "существенные реформы". Газета поднялась и стала удовлетворительной, когда во главе ее стал Каменев. Под его же руководством большевистские депутаты Думы завоевали себе самостоятельность.

В расколе фракции активную роль, даже две сразу, играл Малиновский. Жандармский генерал Спиридович пишет по этому поводу: "Малиновский, исполняя директивы Ленина и департамента полиции, добился того, что в октябре 1913 г. "семерка" и "шестерка" перессорились окончательно". Меньшевики, со своей стороны, не раз злорадствовали по поводу "совпадения" политики Ленина и департамента полиции. Департамент полиции надеялся, что раскол социал-демократии ослабит рабочее движение. Ленин считал, наоборот, что только раскол обеспечит рабочим необходимое революционное руководство. Полицейские Макиавелли явно просчитались. Меньшевики оказались обречены на ничтожество. Большевизм победил по всей линии.

Свыше шести месяцев перед последним арестом отдал Сталин интенсивной работе в Петербурге и за границей. Он принимал активное участие в проведении избирательной кампании в Думу, руководил "Правдой", участвовал в важном совещании партийного штаба за границей и написал свою работу о национальном вопросе. Это полугодие имело несомненно большое значение в его личном развитии. Впервые он нес ответственность за работу на столичной почве, впервые подошел к большой политике, впервые близко соприкоснулся с Лениным. То чувство мнимого превосходства, которое ему было столь свойственно как реалистическому "практику", не могло не быть потрясено при личном контакте с великим эмигрантом. Самооценка должна была стать более критической и трезвой, честолюбие – более замкнутым и тревожным, ущемленное провинциальное самодовольство должно было неминуемо окраситься завистью, которую смиряла только осторожность. В ссылку Сталин уезжал со стиснутыми зубами.

ВОЙНА И ССЫЛКА

Увидев на улице человека, сидящего на корточках и производящего таинственные жесты, Лев Толстой решил, что перед ним сумасшедший; подойдя ближе, убедился, что человек делает нужное дело: точит нож о камень. Ленин любил цитировать этот пример. Непрерывные дискуссии, фракционные раздоры, расколы внутри самих большевиков казались стороннему наблюдателю действиями маниаков. Проверка событий обнаружила, что люди делали нужное дело: борьба велась вовсе не из-за схоластических тонкостей, как казалось дилетантам, а из-за самых основных вопросов революционного движения. Благодаря тщательным идейным уточнениям и политическим размежеваниям, только Ленин и его сторонники оказались подготовлены для встречи нового революционного подъема. Отсюда непрерывный ряд успехов, обеспечивших в короткий срок полное преобладание "правдистов" в рабочем движении. В годы реакции большинство старшего поколения отошло от борьбы. "У Ленина – только мальчишки", – презрительно говорили ликвидаторы. Но Ленин видел в этом великое преимущество своей партии: революция, как и война, неизбежно ложится главной своей тяжестью на спину молодежи. Безнадежна та социалистическая партия, которая не способна вести за собой "мальчишек".

Царская полиция, соприкасавшаяся с революционными партиями лицом к лицу, не скупилась в своей секретной переписке на лестные признания по адресу большевиков. "За последние 10 лет, – писал в 1913 г. директор департамента полиции, – элементом наиболее энергичным, бодрым, способным к неутомимой борьбе, сопротивлению и постоянной организации являются... те организации и те лица, которые концентрируются вокруг Ленина... Постоянной организаторской душой всех мало-мальски серьезных партийных начинаний является Ленин... Фракция

ленинцев всегда лучше других сорганизована, крепче своим единодушием, изобретательнее по части проведения своих идей в рабочую среду... Когда за последние два года стало усиливаться рабочее движение, Ленин со своими сторонниками оказался к рабочим ближе других и первый стал провозглашать чисто революционные лозунги... Большевистские кружки, ячейки, организации разбросаны теперь по всем городам. Постоянная переписка и сношения завязаны почти со всеми фабричными центрами. Центральный Комитет почти правильно функционирует и целиком находится в руках Ленина... Ввиду изложенного, ничего нет удивительного в том, что в настоящее время сплочение всей подпольной партии идет вокруг большевистских организаций и что последние на деле и представляют собой Российскую Социал-Демократическую Рабочую партию". К этому почти нечего прибавить.

Переписка заграничного штаба принимает новую, оптимистическую окраску. Крупская пишет Шкловскому в начале 1913 г.: "Все связи носят какой-то другой характер, чем раньше. Больше как-то чувствуешь, что имеешь дело с единомышленниками... Дела большевизма так хороши, как никогда". Ликвидаторы, гордившиеся своим реализмом и вчера еще объявлявшие Ленина главою выродившейся секты, внезапно увидели себя оттесненными и изолированными. Из Кракова Ленин неутомимо следит за всеми проявлениями рабочего движения, регистрирует и классифицирует все факты, которые могут позволить прощупать пульс пролетариата. В результате кропотливых подсчетов, произведенных в Кракове над денежными сборами в пользу рабочей печати, оказывается, что в Петербурге на стороне "Правды" 86 % читающих рабочих, а на стороне ликвидаторов — только 14 %; в Москве соотношение почти такое же; в отсталой провинции — несколько более благоприятное для ликвидаторов, но в общем на стороне "Правды" стоят 4/5 передовых рабочих. Какую ценность могут иметь абстрактные призывы к единству фракций и течений, если правильная политика, противопоставленная этим "фракциям и течениям", сумела в течение трех лет сплотить вокруг большевизма подавляющее большинство передовых рабочих? Во время выборов в IV Думу, где дело шло не о социал-демократах, а об избирателях, 67 % рабочей курии высказалось за большевиков. Во время конфликта между двумя

частями думской фракции в Петербурге за депутатов-большевиков подано было 5 000 голосов, за меньшевиков — всего 621 голос. В столице ликвидаторы оказались совершенно раздавлены. В профессиональном движении то же соотношение: из 13 союзов Москвы не было ни одного ликвидаторского; из 20 союзов Петербурга только четыре, наименее пролетарских и наименее значительных, оказались полностью в руках меньшевиков. В начале 1914 г. при выборах представителей от рабочих в больничные кассы Петербурга прошли целиком списки сторонников "Правды". Все враждебные большевизму группы: ликвидаторы, отзовисты, примиренцы разных толков, оказались совершенно неспособны пустить корни в рабочем классе. Ленин делал отсюда вывод: "Только в борьбе против этих групп складывается и может сложиться действительная рабочая социал-демократическая партия в России".

Весной 1914 г. Эмиль Вандервельде, тогдашний председатель Второго Интернационала, посетил Петербург, чтобы ознакомиться на месте с борьбой фракций в рабочем классе. Споры русских варваров оппортунистический скептик измерил масштабами бельгийского парламентаризма. "Меньшевики, — сообщил он по возвращении, — хотят организоваться легально и требуют права коалиций; большевики хотят добиваться немедленного провозглашения республики и экспроприации земель". Эти разногласия Вандервельде назвал "довольно ребяческими". Ленину оставалось только горько усмехнуться. Скоро надвинулись события, которые произвели неподкупную проверку людей и идей. "Ребяческие" разногласия между марксистами и оппортунистами распространились постепенно на все мировое рабочее движение.

"Война Австрии с Россией, — писал Ленин Горькому в начале 1913 г., — была бы очень полезной для революции (во всей Восточной Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы Франц Иосиф и Николаша доставили нам сие удовольствие". Они доставили его, — правда, не раньше, чем через полтора года.

Промышленная конъюнктура тем временем уже перевалила через зенит. Стали ощутимы первые подземные толчки кризиса. Но они не остановили стачечной борьбы. Наоборот, придали ей более наступательный характер. Всего за шесть с лишним меся-

цев до начала войны насчитывалось почти полтора миллиона участников стачек. Последняя грандиозная вспышка произошла как раз накануне мобилизации. 3-го июля петербургская полиция стреляла в толпу рабочих. По призыву комитета большевиков остановились в знак протеста важнейшие заводы. Число стачечников достигло 200 тысяч. Всюду шли митинги и демонстрации. Были попытки строить баррикады. Как раз в разгар этих событий в столицу, превращенную в военный лагерь, прибыл для последних переговоров со своим коронованным "другом" французский президент Пуанкаре и получил возможность заглянуть одним глазом в лабораторию русской революции. Но уже через несколько дней правительство воспользовалось объявлением войны, чтобы стереть с земли рабочие организации и рабочую прессу. Первой жертвой пала "Правда". Задушить революцию войной — такова была заманчивая идея царского правительства.

Утверждения некоторых биографов, будто Сталин был автором "пораженческой" теории или формулы о "превращении империалистской войны в гражданскую", представляет чистейший вымысел и свидетельствует о полном непонимании интеллектуальной и политической физиономии Сталина. Меньше всего ему были свойственны дух политического новаторства и теоретического дерзания. Он никогда и ничего не предвосхищал, никогда не забегал вперед. В качестве эмпирика, он всегда страшился "априорных" выводов, предпочитая десять раз отмерить прежде, чем отрезать. В этом революционере всегда сидел консервативный бюрократ. Второй Интернационал был могущественным аппаратом. Никогда Сталин по собственной инициативе не пошел бы на разрыв с ним. Выработка большевистской доктрины войны относится целиком к биографии Ленина. Сталин не внес сюда ни одного слова, как и в доктрину революции. Однако для того, чтобы понять поведение Сталина в годы ссылки и особенно в первые критические недели после февральского переворота, как и его позднейший разрыв со всеми принципами большевизма, необходимо очертить здесь вкратце ту систему взглядов, которую Ленин выработал уже в начале войны и к которой он постепенно привел партию.

Первый вопрос, поставленный европейской катастрофой, состоял в том, должны ли социалисты брать на себя "защиту

отечества". Речь шла не о том, может ли отдельный социалист выполнять обязанности солдата: другого выхода у него не остается, дезертирство не есть революционная политика, — а о том, должна ли социалистическая партия поддерживать войну политически: вотировать военный бюджет, отказаться от борьбы против правительства, агитировать за "защиту отечества"? Ленин отвечал: нет, не должна, не имеет права; не потому, что это *война*, а потому что это *реакционная* война, кровавая свалка рабовладельцев за передел мира.

Формирование национальных государств на континенте Европы охватывало эпоху, которая началась, приблизительно, Великой французской революцией и завершилась Версальским миром 1871 г. Войны за создание или защиту национального государства как необходимого условия для развития производительных сил и культуры имели в этот период прогрессивный исторический характер. Революционеры не только могли, но обязаны были поддерживать национальные войны политически. С 1871 г. до 1914 г. европейский капитализм, достигнув расцвета на основе национальных государств, переживает себя, превращается в монополистский, или империалистский капитализм. "Империализм — это такое состояние капитализма, когда он, выполнив все для него возможное, поворачивает к упадку". Причина упадка в том, что производительным силам становится одинаково тесно в рамках частной собственности, как и в границах национального государства. Ища выхода, империализм стремится разделить и переделить мир. На смену национальным войнам приходят империалистские. Они имеют насквозь реакционный характер, выражающий исторический тупик, застой, загнивание монополистского капитализма.

Империализм может существовать только потому, что на нашей планете имеются отсталые нации, колониальные и полуколониальные страны. Борьба этих угнетенных народов за национальное объединение и независимость имеет вдвойне прогрессивный характер, ибо, с одной стороны, подготовляет для них самих более благоприятные условия развития, с другой — наносит удары империализму. Отсюда вытекает, в частности, что в войне между цивилизованной империалистской демократической республикой и отсталой варварской монархией колониальной страны, социалисты будут полностью на стороне угнетенной

страны, несмотря на ее монархию, и против угнетательской страны, несмотря на ее "демократию".

Свои хищнические цели: захвата колоний, рынков, источников сырья, сфер влияния, — империализм прикрывает идеями "защиты мира от агрессоров", "защиты отечества", "защиты демократии" и пр. Эти идеи насквозь фальшивы. "Вопрос о том, какая группа нанесла первый военный удар или первая объявила войну, — писал Ленин в марте 1915 г., — не имеет никакого значения при определении тактики социалистов. Фразы о защите отечества, об отпоре вражескому нашествию, об оборонительной войне и т. п. с обеих сторон являются сплошным обманом народа". ... "Десятилетиями, — пояснял Ленин, — трое разбойников (буржуазия и правительства Англии, России, Франции) вооружались для ограбления Германии. Удивительно ли, что два разбойника напали раньше, чем трое успели получить заказанные ими новые ножи?" Решающее значение для пролетариата имеет объективное историческое значение войны: какой класс ведет ее и во имя каких целей? — а не уловки дипломатии, которой всегда удастся представить врага в качестве нападающей стороны.

Столь же фальшивы ссылки империалистов на интересы демократии и культуры. "Немецкая буржуазия... одурачивает рабочий класс и трудящиеся массы, уверяя, что ведет войну... ради освобождения угнетенных царизмом народов... Английская и французская буржуазия... одурачивает рабочий класс и трудящиеся массы, уверяя, что ведет войну... против милитаризма и деспотизма Германии". Та или другая государственная форма не способна изменить реакционный экономический фундамент империализма. Между тем характер войны полностью определяется этим фундаментом. "В наши дни... смешно было бы думать о прогрессивной буржуазии, о прогрессивном буржуазном движении. Старая буржуазная "демократия"... стала реакционной". Эта оценка империалистской "демократии" составляет краеугольный камень всей концепции Ленина.

Раз война ведется обоими лагерями не ради защиты отечества, демократии и культуры, а ради передела мира и колониального порабощения, социалист не имеет права предпочитать один империалистский лагерь другому. Совершенно тщетна была бы попытка "определить, с точки зрения международного пролета-

риата, поражение которой из двух групп воюющих наций было бы наименьшим злом для социализма". Жертвовать во имя этого мнимого "меньшего зла" политической самостоятельностью пролетариата значит предавать будущность человечества.

Политика "национального единства" во время войны еще неизмеримо более, чем в мирное время, означает поддержку реакции и увековечение империалистского варварства. Отказ в этой поддержке, элементарный долг социалиста, есть, однако, лишь негативная или пассивная сторона интернационализма. Одного этого недостаточно. Задачей партии пролетариата является "всесторонняя, распространяющаяся и на войско и на театр военных действий, пропаганда социалистической революции и необходимости направить оружие не против своих братьев, наемных рабов других стран, а против реакционных и буржуазных правительств и партий всех стран".

Но революционная борьба во время войны может принести поражение собственному правительству. Ленин не пугается этого вывода. "В каждой стране борьба со своим правительством, ведущим империалистическую войну, не должна останавливаться перед возможностью, в результате революционной агитации, поражения этой страны". В этом и состоит суть так называемой теории "пораженчества". Недобросовестные противники пытались истолковывать дело так, будто Ленин допускал сотрудничество интернационалистов с иностранным империализмом для победы над национальной реакцией. На самом деле речь шла об общей борьбе мирового пролетариата против мирового империализма, путем одновременной борьбы пролетариата каждой страны против собственного империализма, как непосредственного и главного врага. "Для нас, русских, с точки зрения интересов трудящихся масс и рабочего класса России, — писал Ленин Шляпникову в октябре 1914 г., — не может подлежать ни малейшему, абсолютно никакому сомнению, что наименьшим злом было бы теперь и тотчас — поражение царизма в данной войне..."

Против империалистской войны нельзя бороться воздыханиями о мире, по образцу пацифистов. "Одной из форм одурачения рабочего класса является пацифизм и абстрактная проповедь мира. При капитализме, и особенно в его империалистской стадии, войны неизбежны". Мир, заключенный империалистами,

будет простой передышкой перед новой войной. Только революционная массовая борьба против войны и породившего ее империализма способна обеспечить действительный мир. "Без ряда революций так называемый демократический мир есть мещанская утопия".

Борьба против иллюзий пацифизма входит важнейшим элементом в доктрину Ленина. С особой ненавистью он отбрасывает требование "разоружения", как явно утопическое при капитализме и способное лишь отвлечь мысль рабочих от необходимости их собственного вооружения. "Угнетенный класс, который не стремится к тому, чтобы научиться владеть оружием, иметь оружие, такой угнетенный класс заслужил бы лишь того, чтобы с ним обращались, как с рабами". И далее: "Нашим лозунгом должно быть: вооружение пролетариата для того, чтобы победить, экспроприировать и обезоружить буржуазию... Лишь после того, как пролетариат обезоружил буржуазию, он может, не изменяя своей всемирно-исторической задаче, выбросить на слом всякое оружие". Ленин отвергает голый лозунг "мира", противопоставляя ему лозунг "превращения империалистской войны в гражданскую войну".

Большинство вождей рабочих партий оказались в войне на стороне своей буржуазии. Ленин окрестил их направление, как *социал-шовинизм*: социализм на словах, шовинизм на деле. Измена интернационализму не упала, однако, с неба, а явилась неизбежным продолжением и развитием политики реформистского приспособления к капиталистическому государству. "Идейно-политическое содержание оппортунизма и социал-шовинизма одно и то же: сотрудничество классов вместо борьбы их, отказ от революционных средств борьбы, помощь "своему" правительству в затруднительном его положении, вместо использования его затруднений для революции".

Последний период капиталистического расцвета перед войной (1909–1913) особенно тесно привязал верхний слой пролетариата к империализму. От сверхприбыли, которую буржуазия получала с колоний и вообще отсталых стран, жирные крохи перепадали также рабочей аристократии и рабочей бюрократии. Их патриотизм диктовался, таким образом, прямой заинтересованностью в политике империализма. Во время войны, которая обнажила все социальные отношения, "гигантскую

силу оппортунистам и шовинистам дал их союз с буржуазией, правительствами и генеральными штабами". Оппортунисты окончательно перешли в лагерь классового врага.

Промежуточное и, пожалуй, самое широкое направление в социализме, так называемый центр (Каутский и пр.), колебавшийся в мирное время между реформизмом и марксизмом, почти полностью попал в плен к социал-шовинистам, прикрываясь пацифистскими фразами. Что касается масс, то они оказались застигнуты врасплох и обмануты собственным аппаратом, который они создавали в течение десятилетий. Дав социологическую и политическую оценку рабочей бюрократии Второго Интернационала, Ленин не останавливается на полдороге. "Единство с оппортунистами есть союз рабочих со "своей" национальной буржуазией и раскол интернационального революционного рабочего класса". Отсюда вывод о необходимости раз навсегда разрубить все связи с социал-шовинистами. "Нельзя выполнить задачи социализма в настоящее время, нельзя осуществить действительное интернациональное сплочение рабочих без решительного разрыва с оппортунизмом", как и с центризмом, "этим буржуазным течением в социализме". Нужно переменить самое имя партии. "Не лучше ли отказаться от запачканного и униженного ими названия "социал-демократов" и вернуться к старому марксистскому названию коммунистов? Пора порвать со Вторым Интернационалом и строить Третий!"

Вот к чему привели те разногласия, которые всего за два-три месяца до войны казались Эмилю Вандервельде "ребяческими". Сам председатель Второго Интернационала успел тем временем стать патриотическим министром своего короля.

Большевистская партия была самой революционной — в сущности единственно революционной — из всех секций Второго Интернационала. Но и она нашла свой путь в лабиринте войны не сразу. По общему правилу замешательство было более глубоким и длительным в верхнем ярусе партии, непосредственно соприкасавшемся с буржуазным общественным мнением. Думская фракция большевиков сразу совершила резкий поворот направо, сойдясь на двусмысленной декларации с меньшевиками. Оглашенный 26 июля в Думе документ отмежевывался, правда, от "фальшивого патриотизма, под прикрытием которого господствующие классы ведут свою хищническую политику",

но в то же время обещал, что пролетариат "будет защищать культурные блага народа от всяких посягательств, откуда бы они ни исходили — извне или изнутри". Фракция становилась на патриотическую позицию под видом "защиты культуры".

Тезисы Ленина о войне были получены в Петербурге только в начале сентября и отнюдь не встретили в партии общего признания. Больше всего было возражений против лозунга "поражения", который, по словам Шляпникова, вызвал "недоумение". Думская фракция, руководимая Каменевым, пыталась и на этот раз обломать острые углы ленинских формулировок. В Москве и провинции дело обстояло не иначе. "Война застала "ленинцев" врасплох, — свидетельствует московское охранное отделение, — и они долгое время... не могли столковаться о своем отношении к войне". Московские большевики пишут через Стокгольм условным языком для передачи Ленину, что "несмотря на все уважение к нему, его пресловутый совет продать дом (лозунг "поражения") не встретил отклика". В Саратове, по словам местного лидера Антонова, "работники большевистского, меньшевистского и эсеровского направления не разделяли пораженческой позиции. Более того... они были (за единичными исключениями) определенными оборонцами". В среде передовых рабочих дело обстояло более благоприятно. В Петербурге на заводах появились надписи: "Если Россия победит, нам лучше не будет, нас будут еще сильнее давить". "Иваново-Вознесенские товарищи, — пишет Самойлов, — классовым инстинктом пролетариев нащупали... правильный путь и определенно стали на него еще в первые месяцы войны".

Формулировать свое мнение удавалось, однако, лишь единицам или немногим десяткам. Повальные аресты смели социал-демократические организации. Разгром прессы разобщил рабочих. Тем важнее становилась роль думской фракции. Оправившись от первого приступа паники, депутаты-большевики стали развивать серьезную нелегальную работу. Но уже 4 ноября они подверглись аресту. Роль главной улики сыграли документы заграничного штаба. Власти предъявили арестованным обвинение в измене. Во время следствия Каменев и депутаты, кроме одного Муранова, отреклись от тезисов Ленина. На суде, который состоялся 10 февраля, подсудимые держались той же линии. Заявление Каменева о том, что предъявленные ему документы

"решительно противоречат его взгляду на текущую войну", не было продиктовано одной лишь заботой о самосохранении: оно выражало по существу отрицательное отношение к пораженчеству всего верхнего слоя партии. К великому негодованию Ленина чисто оборонительная тактика подсудимых чрезвычайно ослабила агитационную силу процесса. Юридическая защита вполне могла бы идти об руку с политическим наступлением. Но Каменев, умный и образованный политик, не был рожден для исключительных ситуаций. Адвокаты делали, с своей стороны, что могли. Отвергая обвинение в измене, один из них, Переверзев, предрекал на суде, что верность рабочих депутатов своему классу навсегда сохранится в памяти потомства; тогда как их слабые стороны: неподготовленность, зависимость от советников-интеллигентов и пр., — "все это отлетит прочь, как шелуха, вместе с клеветническим обвинением в измене". В силу одной из тех садических причуд, на которые неистощима история, именно на долю Переверзева, уже в качестве министра юстиции в правительстве Керенского, выпало обвинить всех вождей большевизма в государственной измене и шпионаже, притом с помощью таких циничных подлогов, на которые никогда не решился бы царский прокурор. Только Вышинский, прокурор Сталина, превзошел в этом отношении демократического министра юстиции.

Несмотря на уклончивое поведение подсудимых, самый факт суда над рабочими депутатами нанес непоправимый удар легенде "гражданского мира" и встряхнул тот слой рабочих, который успел пройти революционную школу. "Около 40 000 рабочих покупали "Правду", — писал Ленин в марте 1915 г., — много больше читало ее... Уничтожить этого слоя нельзя. Он жив... Он один стоит среди народных масс и в самой глубине их, как проповедник интернационализма трудящихся, эксплуатируемых, угнетенных". Отрезвление в массах началось скоро, но пробивалось наружу медленно. В качестве военнообязанных, рабочие были связаны по рукам и по ногам. Каждое нарушение дисциплины грозило немедленной отправкой на фронт с особой полицейской пометкой, которая была почти равносильна смертному приговору. Это действовало, особенно в Петербурге, где надзор был вдвойне свиреп.

Тем временем поражения царской армии идут своим чередом. Гипноз патриотизма, как и гипноз страха, постепенно ослабева-

ют. Во второй половине 1915 г. возникают спорадические забастовки на почве дороговизны в московском текстильном районе, но не получают развития. Массы недовольны, но молчат. В мае 1916 г. вспыхивают в провинции разрозненные волнения среди новобранцев. На юге начинаются продовольственные беспорядки и сейчас же находят свое продолжение в Кронштадте, крепости, охраняющей подступы к столице. В конце декабря наступает, наконец, очередь Петрограда. Политическая забастовка сразу охватывает до 200 000 рабочих, при несомненном участии организации большевиков. Лед сломан. В феврале открывается ряд бурных забастовок и волнений, которые разрастаются в восстание и приводят к переходу столичного гарнизона на сторону рабочих. "Немецкий путь развития", на который надеялись либералы и меньшевики, не осуществился. Впрочем, и сами немцы скоро сбились с так называемого немецкого пути... О победе восстания и отречении царя Сталину суждено было узнать в далекой ссылке.

На пространстве в 30 000 квадратных миль население Туруханского края, на севере Енисейской губернии, составляло около 10 000 душ, русских и инородцев. На сотни верст одно от другого разбросаны мелкие поселения, от двух до десяти дворов, редко больше. При восьмимесячной зиме земледелия здесь нет. Жители ловят рыбу и бьют зверя. И рыбы и зверя много. Сталин прибыл в этот негостеприимный край в середине 1913 г. и застал уже здесь Свердлова. Аллилуев получил вскоре письмо, в котором Сталин просил его поторопить депутата Бадаева отправкой высланных Лениным из-за границы денег. "... Сталин подробно пояснял, что деньги ему нужны спешно, чтобы успеть запастись необходимыми продуктами, керосином и другими предметами, пока не наступила полярная суровая зима".

25 августа департамент полиции предупреждает енисейскую жандармерию о возможности попыток к побегу со стороны ссыльных Свердлова и Джугашвили. 18 декабря департамент уже по телеграфу требует от енисейского губернатора принятия мер к предупреждению побега. В январе департамент телеграфирует енисейской жандармерии, что Свердлову и Джугашвили, в дополнение к полученным ими ранее ста рублям, предстоит получить еще пятьдесят рублей на организацию побега.

В марте агенты охраны прослышали даже, будто Свердлова видели в Москве. Енисейский губернатор спешит донести, что оба ссыльные "находятся на лицо и что меры к предупреждению их побега приняты". Тщетно писал Сталин Аллилуеву, что деньги высланы Лениным будто бы на керосин и другие продукты: из первых рук, т.е. все от того же Малиновского департамент знал, что готовится побег.

В феврале 1914 г. Свердлов писал сестре своей: "Меня и Иосифа Джугашвили переводят на 100 верст севернее, — севернее полярного круга на 80 верст. Надзор усилился, от почты оторвали; последняя — раз в месяц, через "ходока", который часто запаздывает. Практически не более 8—9 почт в год..." Местом нового назначения является заброшенный поселок Курейка. Но этого мало. "Джугашвили за получение денег лишен пособия на 4 месяца. Деньги необходимы и мне и ему. Но на наше имя посылать нельзя". Секвеструя пособие, полиция облегчала царский бюджет и уменьшала шансы побега.

В первом письме из Курейки Свердлов ярко описал свою совместную жизнь со Сталиным. "Устроился я на новом месте значительно хуже. Одно то уже, что живу не один в комнате. Нас двое. Со мною грузин Джугашвили, старый знакомый, с которым мы уже встречались в ссылке другой. Парень хороший, но слишком большой индивидуалист в обыденной жизни. Я же сторонник минимального порядка. На этой почве нервничаю иногда. Но это не так важно. Гораздо хуже то, что нет изоляции от хозяев. Комната примыкает к хозяйской и не имеет отдельного хода. У хозяев — ребята. Естественно, торчат часами у нас. Иногда мешают. Заходят и взрослые вообще из деревни. Придут, усядутся, помолчат с полчаса и вдруг поднимаются: "Ну, надо итти, до свидания!" Ушли, а вскоре еще кто-нибудь зайдет, и повторяется то же самое. И приходят как раз в лучшее для занятий время — вечером. Понятно: днем на работе. Пришлось проститься с прежним распорядком и заново распределить день свой. Пришлось проститься и с привычкой сидеть за книгой далеко за полночь. Керосину абсолютно нет. Зажигаем свечи. Для моих глаз света мало. Так что все занятия перенесены на день. Впрочем, занимаюсь не много. Книг почти нет..." Так жили будущий первый президент советской республики и будущий диктатор послесоветской России.

Интереснее всего для нас в письме сдержанная характеристика Сталина: "парень хороший, но слишком большой индивидуалист". Первая часть отзыва имеет целью смягчить вторую часть. "Индивидуалист в обыденной жизни" означает в данном случае человека, который, будучи вынужден жить о бок с другим лицом, не считается ни с его привычками, ни с его интересами. "Минимальный порядок", на котором безуспешно настаивал Свердлов, требовал некоторого добровольного самоограничения в интересах сожителя. Свердлов был по натуре деликатен. Самойлов отзывался о нем, как о "славном товарище" в личных отношениях. В натуре Сталина не было и тени деликатности. К тому же не забудем, что именно Свердлову поручено было ликвидировать редакцию "Правды", на которую Сталин опирался против Ленина. Таких вещей Сталин не прощал; он вообще ничего не прощал. Опубликование всей туруханской переписки Свердлова, обещанное в 1924 г., никогда не последовало: она заключала, видимо, историю дальнейшего обострения отношений.

Швейцер, жена Спандарьяна, третьего члена ЦК, ездившая в Курейку накануне войны, когда Свердлов уже перевелся оттуда, передает, что в комнате Сталина "стол был завален книгами и большими пачками газет, а в углу на веревке висели разные снасти, рыболовные и охотничьи, собственного изделия". Жалоба Свердлова на недостаток книг, очевидно, возымела действие: друзья пополнили библиотеку Курейки. Снасти "собственного изделия" не могли быть, конечно, ружьем и огнестрельными припасами. Дело шло о самоловах на рыб, о капканах на зайцев и другого зверя. Сталин и позже не стал ни стрелком, ни охотником в спортивном смысле этого слова. Да и по общему облику, его легче представить себе ставящим ночью капкан, чем бьющим из ружья птицу влет.

Социалист-революционер Карганов, ставший впоследствии оперным певцом, относит встречу со Сталиным в туруханской ссылке к 1911 г., вместо 1913; хронологические ошибки в таких случаях обычны. В числе прочего, Карганов рассказывает, как Сталин, выступая на защиту уголовного ссыльного по прозвищу Чайка, который обокрал крестьянина, доказывал, что Чайку нельзя осуждать, что нужно привлечь его на свою сторону, что люди такого сорта нужны для будущей борьбы. О пристрастии Кобы к уголовным мы уже слышали от Верещака. Сталин

проявил себя будто бы однажды в дискуссии как антисемит, употребив грубые грузинские выражения по адресу евреев. Нарушая все традиции ссыльных, он вступил, если верить Карганову, в приятельские отношения с полицейским приставом, осетином Кибировым. На упреки товарищей Сталин ответил, что приятельские отношения не помешают ему, в случае надобности, уничтожить пристава как политического врага. По словам того же Карганова, Сталин поражал ссыльных "своей полной беспринципностью, хитростью и необычайной жестокостью... Даже в мелочах проявлялось его необычайное честолюбие". Где во всем этом кончается правда и начинается выдумка, решить трудно. Но в общем рассказ Карганова довольно близко напоминает наблюдения Верещака в бакинской тюрьме.

По линии почтовых и иных связей Курейка опиралась на село Монастырское, откуда нити вели в Енисейск и дальше в Красноярск. Бывший ссыльный Гавен, принадлежащий ныне к категории исчезнувших, рассказывает, что енисейская коммуна была в курсе политической жизни, как легальной, так и подпольной. Она вела переписку с другими районами ссылки и с Красноярским, который имел, в свою очередь, связь с питерским и московским комитетами большевиков и снабжал ссыльных подпольными документами. Люди умудрялись и на полярном круге жить интересами партии, делились на группировки, спорили до хрипоты, а иногда и до лютой ненависти. Впрочем, принципиальное размежевание ссыльных началось лишь с середины 1914 г., после прибытия в Туруханский край третьего члена ЦК, неистового Спандарьяна.

Что касается Сталина, то он держался особняком. По словам Шумяцкого, впоследствии начальника советской кинематографии, "Сталин... замкулся в самом себе. Занимаясь охотой и рыбной ловлей, он жил почти в совершенном одиночестве... Почти не нуждался в общении с людьми и лишь изредка выезжал к своему другу Сурену Спандарьяну в село Монастырское с тем, чтобы через несколько дней вернуться обратно в свою берлогу отшельника. Он скупо бросал свои отдельные замечания по тому или иному вопросу, поскольку ему приходилось бывать на собраниях, устраиваемых ссыльными". Эти строки, смягченные и украшенные в одной из позднейших версий (даже "берлога" оказалась почему-то превращена в "лабораторию"), надо понимать в

том смысле, что Сталин прекратил личные отношения с большинством ссыльных и избегал их. Не мудрено, если оборвались и его отношения со Свердловым: в монотонных условиях ссылки даже более уживчивые характеры не спасают от ссор. "Моральная атмосфера... — осторожно писал Свердлов в одном из писем, успевших попасть в печать, — не особенно благоприятна... Ряд контров (личных конфликтов), возможных лишь в условиях тюрьмы и ссылки, несмотря на всю их мелочность, здорово трепали нервы..." Из-за "контров" Свердлов добился перевода в другой поселок. Поспешили покинуть Курейку и два других большевика: Голощекин и Медведев, которые тоже принадлежат ныне к категории исчезнувших. Желчный, грубый, снедаемый честолюбием Сталин был нелегким соседом.

Биографы явно преувеличивают, когда говорят, что побег на этот раз был физически невозможен; но он несомненно наталкивался на серьезные трудности. Предшествующие побеги Сталина были не побегами в собственном смысле, а просто незаконными отъездами с места высылки. Скрыться из Сольвычегодска, Вологды, даже Нарыма не представляло никакого труда, стоило только решиться потерять "легальность". Другое дело Туруханский край: здесь нужно было совершить нелегкий переезд на оленях или собаках, или летом на лодке, или же тщательно укрывшись под досками трюма, если капитан парохода был дружествен к политическим ссыльным; словом, побег предполагал на этот раз серьезный риск. Что трудности не были, однако, непреодолимы, лучше всего доказывается тем обстоятельством, что из туруханской ссылки успешно бежало в те годы несколько человек. Правда, после того как департамент полиции узнал о плане побега, Свердлов и Сталин были поставлены под особый надзор. Но заполярные "стражники", ленивые и падкие на вино, никому еще не мешали бежать. Туруханские ссыльные пользовались довольно широкой свободой передвижения. "Сталин часто наезжал в село Монастырское, — пишет Швейцер, — куда стекались ссыльные. Он пользовался для этого как нелегальными путями, так и всякими легальными предлогами". Надзор не мог быть очень действительным в безграничных пустынях севера. В течение первого года Сталин, видимо, приглядывался и делал подготовительные шаги не спеша: он был осторожен. Но в июле следующего года разразилась война. К физи-

ческим и полицейским трудностям побега присоединялись опасности нелегального существования в условиях военного режима. Именно этот повышенный риск и удержал Сталина от побега, как и многих других.

"На этот раз Сталин, — пишет Швейцер, — решил остаться в ссылке. Там он продолжал работу по национальному вопросу, заканчивал вторую часть своей книги". О разработке Сталиным этой темы упоминает и Шумяцкий. Статью по национальному вопросу Сталин действительно написал в первые месяцы ссылки: мы имеем на этот счет категорическое свидетельство Аллилуева. "В том же (1913 г.), в начале зимы, — пишет он, — я получил второе письмо от Сталина... В конверт была вложена статья по национальному вопросу, которую Сталин просил отправить за границу Ленину". Труд был, очевидно, не очень объемист, если вмещался в конверт письма. Но что сталось с этой статьей? Продолжая в течение всего 1913 г. развивать и уточнять национальную программу, Ленин не мог не наброситься с жадностью на новую работу Сталина. Умолчание о судьбе статьи свидетельствует попросту, что она была признана негодной для печати. Попытка самостоятельно продолжать разработку мыслей, навеянных ему в Кракове, завела, видимо, Сталина на какую-то ложную дорогу, так что Ленин не счел возможным исправить статью. Только этим можно объяснить тот поразительный факт, что в течение дальнейших трех с половиной лет ссылки обиженный Сталин не сделал ни одной попытки выступить в большевистской печати.

В ссылке, как и в тюрьме, большие события кажутся особенно невероятными. По словам Шумяцкого, "вести о войне ошарашили публику, и отдельные лица брали совершенно неверные ноты..." "Оборонческие течения среди ссыльных были сильны, все были дезориентированы", — пишет Гавен. Немудрено: дезориентированы были революционеры и в Петербурге, переименованном ныне в Петроград. "Но так велик был авторитет Сталина среди большевиков, — заявляет Швейцер, — что первое его письмо к ссыльным положило конец сомнениям и отрезвило колеблющихся". Что сталось с этим письмом? Такого рода документы переписывались от руки и ходили по ссыльным колониям во многих экземплярах. Все копии не могли пропасть; те,

которые попали в руки полиции, должны были обнаружиться в ее архивах. Если историческое "письмо" Сталина не сохранилось, то только потому, что никогда не было написано. Свидетельство Швейцер представляет, при всей своей шаблонности, трагический человеческий документ. Воспоминания написаны ею в 1937 г., через четверть столетия после событий, в порядке принудительной повинности. Политическая заслуга, которую ее заставили приписать Сталину, принадлежала на самом деле, хотя в более скромных масштабах, ее мужу, неукротимому Спандарьяну, который умер в ссылке в 1916 г. Швейцер, конечно, прекрасно знает, как было дело. Но конвеер фальсификаций работает автоматически.

Ближе к действительности воспоминания Шумяцкого, опубликованные за 13 лет до статьи Швейцер. Руководящую роль в борьбе с патриотами Шумяцкий отводит Спандарьяну. "Одним из первых он занял непримиримую позицию "пораженчества" и на редких товарищеских заседаниях саркастически клеймил социал-патриотов..." И в более позднем варьянте Шумяцкий, характеризуя общую путаницу идей, сохраняет фразу: "Ясно и четко представлял себе дело покойный Спандарьян..." Остальные представляли себе дело, очевидно, менее ясно. Правда, Шумяцкий, никогда не посещавший Курейки, спешит прибавить, что "Сталин, будучи совершенно изолирован в своей берлоге, без всяких колебаний занял сразу пораженческую линию" и что письма Сталина "поддерживали Сурена в его борьбе с противниками". Но убедительность этой вставки, пытающейся закрепить за Сталиным второе место среди "пораженцев", чрезвычайно ослаблена самим Шумяцким. "Только лишь в конце 1914 г. и начале 1915г., — пишет он далее, — когда Сталину удалось побывать в Монастыре и поддержать Спандарьяна, последний перестал подвергаться нападкам противоположных групп". Выходит, что Сталин открыто занял интернационалистскую позицию лишь после встречи со Спандарьяном, а не в начале войны. Пытаясь замаскировать продолжительное молчание Сталина, а на самом деле лишь ярче подчеркивая его, Шумяцкий в новом издании выбрасывает ссылку на то, что посещение Монастырского Сталиным произошло "лишь в конце 1914 г. и начале 1915". На самом деле поездка приходится на конец февраля 1915 г., когда, благодаря опыту семи месяцев войны, не только колеблющиеся, но

и многие активные "патриоты" успели отрезвиться от угара. Иначе дело и не могло, в сущности, обстоять. Руководящие большевики Петербурга, Москвы, провинции встретили тезисы Ленина с недоумением и тревогой. Никто не взял их полностью на свой счет. Не было поэтому ни малейшего основания ждать, что медлительная и консервативная мысль Сталина дойдет самостоятельно до выводов, означавших целый переворот в рабочем движении.

За весь период ссылки стали известны лишь два документа, в которых позиция Сталина в отношении войны нашла свое отражение: это личное письмо его к Ленину и подпись под коллективным заявлением группы большевиков. Личное письмо, написанное 27 февраля из села Монастырского, есть первое и, по-видимому, единственное обращение Сталина к Ленину за время войны. Мы приведем его целиком. "Мой привет вам, дорогой Ильич, горячий, горячий привет. Привет Зиновьеву, привет Надежде Константиновне. Как живете, как здоровье? Я живу, как раньше, хлеб жую, доживаю половину срока. Скучновато, да ничего не поделаешь. А как ваши дела-делишки? У вас-то должно быть веселее... Читал я недавно статьи Кропоткина — старый дурак, совсем из ума выжил. Читал также статейку Плеханова в "Речи" — старая неисправимая болтунья-баба. Эх-ма. А ликвидаторы с их депутатами-агентами Вольно-Экономического общества? Бить их некому, черт меня дери. Неужели так и останутся они безнаказанными? Обрадуйте нас и сообщите, что в скором времени появится орган, где их будут хлестать по роже, да порядком, да без устали. Если вздумаете написать, пишите по адресу: Туруханский край, Енисейской губернии, село Монастырское, Сурену Спандарьяну. Ваш Коба. Тимофей (Спандарьян) просит передать его кислый привет Геду, Самба и Вандервельду на славных — хе-хе — постах министров".

Для оценки политической позиции Сталина это письмо, явно навеянное беседами со Спандарьяном, дает в сущности немного. Престарелый Кропоткин, теоретик чистой анархии, стал с начала войны неистовым шовинистом. Не лучше выглядел и Плеханов, от которого всячески открещивались даже меньшевики. Вандервельде, Гед и Самба представляли в качестве буржуазных министров слишком доступную мишень. Письмо Сталина не заключает ни малейшего намека на те новые проблемы, которые

тогда владели мыслью революционных марксистов. Отношение к пацифизму, лозунги "пораженчества" и "превращения империалистской войны в гражданскую", проблема нового Интернационала стояли тогда в центре бесчисленных дебатов. Идеи Ленина отнюдь не встречали признания. Что могло бы быть естественнее со стороны Сталина, как намекнуть Ленину о своей солидарности с ним, если б эта солидарность была налицо? Если верить Швейцер, именно здесь, в Монастырском, Сталин впервые познакомился с тезисом Ленина. "Трудно передать, — пишет она стилем Берия, — с каким чувством радости, уверенности и торжества Сталин читал тезисы Ленина, которые подтверждали его мысли..." Почему же он ни словом не упомянул о тезисах в письме? Если б он самостоятельно работал над проблемами нового Интернационала, он не мог бы хоть в нескольких словах не поделиться с учителем своими выводами и не поставить ему наиболее острые вопросы. Ничего этого нет. Из идей Ленина Сталин воспринял то, что отвечало его собственному кругозору. Остальное казалось ему сомнительной музыкой будущего, если не заграничной "бурей в стакане". С этими взглядами он вступил затем в Февральскую революцию.

Бедное содержанием письмо из Монастырского со своим наигранным тоном лихости ("черт меня побери", "хе-хе" и пр.) раскрывает, однако, больше, чем хотел автор. "Скучновато, да ничего не поделаешь". Так не пишет человек, способный жить напряженной умственной жизнью. "Если вздумаете написать, напишите по адресу..." Так не пишет человек, дорожащий теоретическим обменом мыслей. Письмо несет на себе все ту же тройную печать: хитрости, ограниченности и вульгарности. Систематической переписки с Лениным за четыре года ссылки так и не завязалось, несмотря на то, что Ленин дорожил связью с единомышленниками и умел поддерживать ее. Осенью 1915 г. Ленин запрашивает эмигранта Карпинского: "Большая просьба: узнайте... фамилию "Кобы" (Иосиф Дж...?? мы забыли) . Очень важно!!" Карпинский ответил: "Иосиф Джугашвили". О чем шло дело: о новой ли посылке денег или о письме? Необходимость наводить справку о фамилии показывает, во всяком случае, что постоянной переписки не было.

Другой документ, несущий на себе подпись Сталина, это обращение группы ссыльных в редакцию легального журнала, посвя-

щенного страхованию рабочих. "Пусть "Вопросы страхования" приложат все усилия и старания и к делу идейного страхования рабочего класса нашей страны от глубоко развращающей антипролетарской и в корне противоречащей принципам международности проповеди г.г. Потресовых, Левицких и Плехановых". Это была несомненная манифестация против социал-патриотизма, но опять-таки в пределах тех идей, которые были общи не только большевикам, но и левому крылу меньшевиков. Написанное, судя по стилю, Каменевым письмо датировано 12 марта 1916 г., т. е. относится к тому времени, когда революционное давление успело сильно возрасти, а патриотическое чрезвычайно ослабело.

Каменев и осужденные депутаты прибыли в туруханскую ссылку летом 1915 г. Поведение депутатов на суде продолжало вызывать большие споры в рядах партии. В Монастырское съехалось около 18 большевиков, в том числе четыре члена ЦК: Спандарьян, Свердлов, Сталин и Каменев. Петровский сделал доклад о процессе, Каменев его дополнил. Участники прений, рассказывает Самойлов, "указывали на допущенные нами ошибки на суде: особенно резко сделал это Спандарьян, все остальные высказывались мягче". Роль Сталина в прениях Самойлов не выделяет вовсе. Зато вдова Спандарьяна снова оказалась вынуждена приписать Сталину то, что на самом деле было выполнено ее мужем. "После прений, — продолжает Самойлов, — вынесли резолюцию, в общем одобряющую... поведение на суде фракции". Эта снисходительность была очень далека от непримиримости Ленина, который в печати объявил поведение Каменева "недостойным революционного социал-демократа". Из Берна Шкловский по поручению Ленина писал на иносказательном языке Самойлову в Монастырское: "Я очень рад, что у вас нет желания ссориться с моей семьей, но сколько неприятностей он (Каменев) нам (и не он один) причинил... Ошибаться или глупость сделать всякий человек может, но исправить ошибку, хотя бы публичным извинением, он обязан, если ему и его друзьям моя и моих родных честь дорога". "Под словами "моя семья" и "мои родные", — поясняет Самойлов, — нужно понимать ЦК партии". Письмо походило на ультиматум. Ни Каменев, ни депутаты не сделали, однако, заявления, которого требовал от них Ленин. И нет оснований думать, что Сталин поддержал это тре-

бование, хотя письмо Шкловского получилось в Монастырском незадолго до совещания.

Снисходительность Сталина к поведению депутатов была в сущности осторожным выражением солидарности. Перед лицом суда, угрожавшего тяжкой карой, заостренные формулы Ленина должны были казаться вдвойне неуместными: какой смысл жертвовать собой во имя того, что считаешь ошибочным? Сам Сталин в прошлом не проявлял склонности пользоваться скамьей подсудимых как революционной трибуной: во время подготовки процесса бакинских манифестантов он прибегал к сомнительным уловкам, чтобы отделиться от других обвиняемых. Тактика Каменева на суде оценивалась им скорее со стороны военной хитрости, чем со стороны политической агитации. Во всяком случае его отношения с Каменевым остались близкими до конца ссылки, как и во время революции. На групповой фотографии, снятой в Монастырском, они стоят рядом. Только через 12 лет Сталин выдвинет против Каменева его поведение на суде как тягчайшее обвинение. Но там дело будет идти не о защите принципов, а о личной борьбе за власть... Письмо Шкловского должно было, однако, тоном своим показать Сталину, что вопрос стоит гораздо острее, чем ему представлялось и что сохранять дальше выжидательную позицию невозможно. Вот почему именно в эти дни он пишет Ленину приведенное выше письмо, развязная форма которого пытается прикрыть политическую уклончивость.

В 1915 г. Ленин сделал попытку выпустить в Москве легальный марксистский сборник, чтобы хоть вполголоса изложить взгляды большевистской партии на войну. Сборник был задержан цензурой, но статьи сохранились и были выпущены после революции. В числе авторов, кроме Ленина, находим литератора Степанова, уже известного нам Ольминского, сравнительно недавнего большевика Милютина, примиренца Ногина — все это неэмигранты. Наконец, Свердлов прислал статью "О расколе германской социал-демократии". Между тем, Сталин, находившийся в тех же условиях ссылки, что и Свердлов, не дал для сборника ничего. Объяснить это можно либо опасением не попасть в тон, либо раздражением по поводу неудачи с национальной статьей: обидчивость и капризность были ему так же свойственны, как и осторожность.

Шумяцкий упоминает о том, что Сталин был призван в ссылке к отбыванию воинской повинности, очевидно в 1916 г., когда мобилизованы были старшие возрасты (Сталину шел 37-й год), но в армию не попал из-за несгибающейся левой руки. Он продолжал терпеливо оставаться за полярным кругом, ловил рыбу, ставил капканы на зайцев, читал, вероятно, также писал. "Скучновато, да ничего не поделаешь". Замкнутый, молчаливый, желчный он отнюдь не стал центральной фигурой ссылки. "Ярче многих других, — писал Шумяцкий, сторонник Сталина, — зарисовывалась в памяти туруханцев монументальная фигура Сурена Спандарьяна... неукротимого революционера-марксиста и крупного организатора". Спандарьян прибыл в туруханский край накануне войны, на год позже Сталина. "Какая у вас здесь тишь и благодать, — говорил он саркастически, — все во всем согласны — и эсеры, и большевики, и меньшевики, и анархисты... Разве вы не знаете, что к голосу ссылки прислушивается питерский пролетариат?" Сурен первым занял антипатриотическую позицию и заставил к себе прислушиваться. В смысле личного влияния на товарищей выдвигался на первое место Свердлов. "Живой и общительный", органически не способный уходить в себя, Свердлов всегда сплачивал других, собирал важные новости и рассыпал их по колониям, строил кооператив ссыльных, вел наблюдения на метеорологической станции. Отношения между Спандарьяном и Свердловым сложились натянутые. Остальные ссыльные группировались вокруг этих двух фигур. Против администрации обе группы боролись совместно, но соперничество "из-за сфер влияния", как выражается Шумяцкий, не прекращалось. Принципиальные основы борьбы выяснить теперь нелегко. Враждуя со Свердловым, Сталин осторожно и на расстоянии поддерживал Спандарьяна.

В первом издании своих воспоминаний Шумяцкий писал: "...администрация края чувствовала в Сурене Спандарьяне самого активного деятеля революции и считала его как бы главарем". В позднейшем издании та же фраза распространена уже на двух: Спандарьяна и Свердлова. Пристав Кибиров, с которым Сталин завязал будто бы приятельские отношения, установил над Спандарьяном и Свердловым свирепый надзор, считая, что они являются "коноводами всей ссылки". Потеряв на время официальную нить, Шумяцкий совершенно забывает назвать в

этой связи Сталина. Нетрудно понять причину. Общий уровень туруханской ссылки был значительно выше среднего. Здесь находилось одновременно основное ядро русского центра: Каменев, Сталин, Спандарьян, Свердлов, Голощекин и еще несколько видных большевиков. В ссылке не было официального партийного "аппарата", и нельзя было руководить анонимно, нажимая на рычаги из-за кулис. Каждый стоял на виду у остальных, как он есть. Чтоб убедить или завоевать этих видавших виды людей, недостаточно было хитрости, твердости и настойчивости: нужны были образованность, самостоятельность мысли, меткость дебатера. Спандарьян отличался, видимо, большей смелостью мысли, Каменев — большей начитанностью и более широким кругозором, Свердлов — большей восприимчивостью, инициативой и гибкостью. Именно поэтому Сталин "ушел в себя", отделываясь односложными замечаниями, которые Шумяцкий лишь в новом издании своих очерков догадался назвать "меткими".

Учился ли сам Сталин в ссылке и чему? Он уже давно вышел из возраста, когда удовлетворяются бескорыстным и бессистемным чтением. Двигаться вперед он мог, только изучая определенные вопросы, делая выписки, пытаясь письменно оформить свои выводы. Однако, кроме упоминаний о статье по национальному вопросу, никто ничего не сообщает об умственной жизни Сталина в течение четырех лет. Свердлов, совсем не теоретик и не литератор, пишет за годы ссылки ряд статей, переводит с иностранного, сотрудничает в сибирской прессе. "С этой стороны дела мои обстоят недурно", — пишет он в приподнятом тоне одному из друзей. После смерти Орджоникидзе, совершенно лишенного теоретических способностей, жена его рассказывала о тюремных годах покойного: "Он работал над собой и читал, читал без конца. В толстой клеенчатой тетради, выданной Серго тюремным начальством, сохранились длинные списки прочитанной им за этот период литературы". Каждый революционер вывозил из тюрьмы и ссылки такие клеенчатые тетради. Правда, многое гибло при побегах и обысках. Но из последней ссылки Сталин мог вывести все, что хотел, в наилучших условиях, а в дальнешем он не подвергался обыскам, наоборот, обыскивал других. Между тем, тщетно стали бы мы искать каких-либо следов его духовной жизни за весь этот период одиночества и досуга. Четыре года — нового подъема революционного движения в

России, мировой войны, крушения международной социал-демократии, острой идейной борьбы в социализме, подготовки нового Интернационала, – не может быть, чтоб Сталин за весь этот период не брал в руки пера. Но среди всего написанного им, видимо, не оказалось ни одной строки, которую можно было бы использовать для подкрепления позднейшей репутации. Годы войны и подготовки Октябрьской революции оказываются в идейной биографии Сталина пустым местом.

Революционный интернационализм нашел свое законченное выражение под пером "эмигранта" Ленина. Арена отдельной страны, тем более отсталой России, была слишком узка, чтоб позволить правильную оценку мировой перспективы. Как эмигранту Марксу нужен был Лондон, тогдашняя столица капитализма, чтоб связать немецкую философию и французскую революцию с английской экономикой, так Ленину во время войны нужно было быть в средоточии европейских и мировых событий, чтоб сделать последние революционные выводы из посылок марксизма. Мануильский, который после Бухарина и до Димитрова был официальным вождем Коммунистического Интернационала, писал в 1922 г.: "Социал-демократ", издававшийся в Швейцарии Лениным и Зиновьевым, парижский "Голос" ("Наше слово"), руководимый Троцким, явятся для будущего историка III Интернационала основными фрагментами, из которых выковывалась новая революционная идеология международного пролетариата". Мы охотно признаем, что Мануильский преувеличивает здесь роль Троцкого. Но Сталина он не нашел повода хотя бы назвать. Впрочем, по мере сил он исправит это упущении несколькими годами позже.

Усыпленные монотонными ритмами снежной пустыни, ссыльные совсем не ожидали событий, разыгравшихся в феврале 1917 г. Все оказались застигнуты врасплох, хотя всегда жили верой в неизбежность революции. "Первое время, – пишет Самойлов, – мы вдруг как бы позабыли все наши разногласия... Политические споры и взаимные антипатии сразу куда-то как бы исчезли..." Это интересное признание подтверждается всеми изданиями, речами и практическими шагами того времени. Перегородки между большевиками и меньшевиками, интернационалистами и патриотами оказались опрокинуты. Жизнерадостное, но близорукое и многословное примиренчество раз-

лилось по всей стране. Люди захлебывались в патетической фразе, составлявшей главный элемент Февральской революции, особенно в первые недели. Со всех концов Сибири поднимались группы ссыльных, соединялись вместе и плыли на запад в атмосфере восторженного угара.

На одном из митингов в Сибири Каменев, заседавший в президиуме вместе с либералами, народниками и меньшевиками, присоединился, как потом рассказывали, к телеграмме, приветствовавшей великого князя Михаила Романова по поводу его якобы великодушного, а на самом деле трусливого отречения от трона до решения Учредительного собрания. Не исключено, что размякший Каменев решил не огорчать своих соседей по президиуму неучтивым отказом. В великой сумятице тех дней никто не обратил на это внимания, и Сталин, которого и не подумали включить в президиум, не протестовал против нового грехопадения Каменева до тех пор, пока не открылась между ними жестокая борьба.

Первым большим пунктом на пути со значительным числом рабочих был Красноярск. Здесь существовал уже Совет депутатов. Местные большевики, входившие в общую организацию с меньшевиками, ждали от проезжих вождей директив. Полностью во власти объединительной волны, вожди не потребовали даже создания самостоятельной большевистской организации. К чему? Большевики, как и меньшевики, стояли за поддержку Временного правительства, возглавлявшегося либеральным князем Львовым. По вопросу о войне разногласия также стерлись: надо защищать революционную Россию! С этими настроениями Сталин, Каменев и другие продвигались к Петрограду. Путь по железной дороге, вспоминает Самойлов, был "необычаен и шумен, с массой встреч, митингов и т. д." На большинстве станций ссыльных встречали восторженные толпы жителей, военные оркестры играли Марсельезу: время Интернационала еще не пришло. На более крупных станциях устраивались торжественные обеды. Амнистированным приходилось "говорить, говорить без конца". Многие потеряли голос, заболели от переутомления, отказывались выходить из вагона; "но и в вагоне нас не оставляли в покое".

Сталину не пришлось терять голос, он не выступал с речами.

Было много других, более искусных ораторов, среди них тщедушный Свердлов со своим могучим басом. Сталин оставался в стороне, замкнутый, встревоженный разливом весенней стихии и, как всегда, недоброжелательный. Люди гораздо меньшего веса снова начали оттирать его. А между тем за спиной у него было уже почти два десятилетия революционной работы, пересекавшейся неизбежными арестами и возобновлявшейся после побегов. Почти десять лет прошло с тех пор, как Коба покинул "Стоячее болото" Тифлиса для промышленного Баку. Около восьми месяцев он вел тогда работу в нефтяной столице; около шести месяцев просидел в бакинской тюрьме; около девяти месяцев провел в вологодской ссылке. Месяц подпольной работы оплачен двумя месяцами кары. После побега он снова работает в подполье около девяти месяцев, попадает на шесть месяцев в тюрьму и остается девять месяцев в ссылке, — соотношение несколько более благоприятное. После окончания ссылки — менее двух месяцев нелегальной работы, около трех месяцев тюрьмы, около двух месяцев в Вологодской губернии: два с половиной месяца кары за месяц работы. Снова два месяца в подполье, около четырех месяцев тюрьмы и ссылки. Новый побег. Свыше полугода революционной работы, затем — тюрьма и ссылка, на этот раз до Февральской революции, т. е. в течение четырех лет. В общем на 19 лет участия в революционном движении приходится 2 и 3/4 года тюрьмы, 5 и 3/4 года ссылки. Такое соотношение можно считать благоприятным: большинство профессиональных революционеров провели в тюрьмах значительно более длительные сроки.

За эти девятнадцать лет Сталин не выдвинулся в ряд фигур первого, ни даже второго ряда. Его не знали. В связи с перехваченным письмом Кобы из Сольвычегодска в Москву начальник тифлисского охранного отделения дал в 1911 г. об Иосифе Джугашвили подробную справку, в которой нет ни выдающихся фактов, ни ярких черт, если не считать упоминания о том, что "Сосо", он же "Коба", начал свою деятельность в качестве меньшевика. Между тем по поводу Гургена (Цхакая), мимоходом названного в том же письме, жандарм отмечает, что он "издавна принадлежал к числу серьезных революционных деятелей". Гурген был, согласно справке, арестован "вместе с известным

революционным деятелем Богданом Кнунианцем". На "известность" самого Джугашвили нет и намека, между тем Кнунианц был не только земляк, но и ровесник Кобы.

Двумя годами позже, подробно характеризуя структуру большевистской партии и ее руководящий штаб, директор департамента полиции отмечает вскользь, что в состав Бюро ЦК введены путем кооптации Свердлов и "*некий* Иосиф Джугашвили". Слово "некий" показывает, что имя Джугашвили еще ничего не говорило главе полиции в 1913 г., несмотря на такой источник информации, как Малиновский. Революционная биография Сталина имела до сих пор, до марта 1917 г., заурядный характер. Десятки профессиональных революционеров, если не сотни, выполняли подобную же работу, одни — лучше, другие — хуже.

Трудолюбивые московские исследователи подсчитали, что за трехлетие 1906—1909 годов Коба написал 67 воззваний и газетных статей, менее двух в месяц. Ни одна из этих статей, представлявших пересказ чужих мыслей для кавказской аудитории, не была переведена с грузинского языка или перепечатана в руководящих органах партии или фракции. Ни в одном из списков сотрудников петербургских, московских или заграничных изданий того периода, легальных и нелегальных, газет, журналов, тактических сборников, мы не встретим ни статей Сталина, ни ссылок на него. Его продолжали считать не марксистским литератором, а пропагандистом и организатором местного масштаба.

С 1912 г., когда его статьи начинают более или менее систематически появляться в большевистской прессе Петербурга, Коба усваивает себе псевдоним Сталина, производя его от стали, как Розенфельд принял раньше псевдоним Каменева, производя его от камня: у молодых большевиков были в ходу твердые псевдонимы. Статьи за подписью Сталина не останавливают на себе ничьего внимания: они лишены индивидуальной физиономии, если не считать грубость изложения. За пределами узкого круга руководящих большевиков никто не знал, кто является автором статей, и вряд ли многие спрашивали себя об этом. В январе 1913 г. Ленин пишет в тщательно взвешенной заметке о большевизме для известного библиографического справочника Рубакина: "Главные писатели большевики: Г. Зиновьев, В. Ильин, Ю. Каменев, П. Орловский и др." Ленину не могло придти в

голову назвать в числе "главных писателей" большевизма Сталина, который как раз в те дни находился за границей и работал над своей "национальной" статьей.

Пятницкий, неразрывно связанный со всей историей партии, с ее заграничным штабом, как и с подпольной агентурой в России, с литераторами, как и с нелегальными транспортерами, в своих тщательных и в общем добросовестных воспоминаниях, охватывающих период 1896—1917 гг., говорит обо всех сколько-нибудь выдающихся большевиках, но ни разу не упоминает Сталина: это имя не включено даже в указатель, приложенный к книге. Факт тем более достойный внимания, что Пятницкий отнюдь не враждебен Сталину, наоборот, состоит ныне во вторых рядах его свиты. В большом сборнике материалов московского охранного отделения, охватывающих историю большевизма за 1903—1917 гг., Сталин назван три раза: по поводу его кооптации в ЦК, по поводу его назначения в Бюро ЦК и по поводу его участия в краковском совещании. Ничего об его работе, ни слова оценки, ни одной индивидуальной черты!

В поле зрения полиции, как и в поле зрения партии, Сталин впервые вступает не как личность, а как член большевистского центра. В жандармских обзорах, как и в революционных мемуарах, он никогда не упоминается персонально как вождь, как инициатор, как литератор, в связи с его собственными идеями или действиями, а всегда — как элемент аппарата, как член местного комитета, как член ЦК, как один из сотрудников газеты, как один из участников совещания, как один из ссыльных в ряду других, в списке имен, притом никогда — на первом месте. Не случайно он попал в Центральный Комитет значительно позже ряда своих сверстников, притом не по выборам, а в порядке кооптации.

Из Перми Ленину послана в Швейцарию телеграмма: "Братский привет. Выезжаем сегодня в Петроград. Каменев, Муранов, Сталин". Мысль о посылке телеграммы принадлежала, конечно, Каменеву. Сталин подписан последним. Эта тройка чувствовала себя связанной узами солидарности. Амнистия освободила лучшие силы партии, и Сталин с тревогой думал о революционной столице. Он нуждался в относительной популярности Каменева и в депутатском звании Муранова. Так они втроем прибыли в потрясенный революцией Петроград. "Его имя,—

пишет X. Виндеке (Ch. Windecke), один из немецких биографов, — было тогда известно только в тесных партийных кругах. Его не встречала, как месяц спустя Ленина... воодушевленная толпа народа с красными знаменами и музыкой. Ему навстречу не выезжала, как два месяца спустя навстречу мчавшемуся из Америки Троцкому, приветственная депутация, которая вынесла Троцкого на плечах. Он прибыл беззвучно и бесшумно приступил к работе... Об его существовании никто за пределами России не имел понятия".

1917 ГОД

Это был самый важный год в жизни страны и особенно того поколения профессиональных революционеров, к которому принадлежал Иосиф Джугашвили. На оселке этого года испытывались идеи, партии и люди.

Сталин застал в Петербурге, переименованном в Петроград, обстановку, которой он не ждал и не предвидел. Накануне войны большевизм господствовал в рабочем движении, особенно в столице. В марте 1917 года большевики оказались в Советах в ничтожном меньшинстве. Как это случилось? В движении 1911 – 1914 гг. участвовали значительные массы, но они составляли все же лишь небольшую часть рабочего класса. Революция подняла на ноги не сотни тысяч, а миллионы. Состав рабочих обновился к тому же благодаря мобилизации чуть ли не на 40%. Передовые рабочие играли на фронте роль революционного бродила, но на заводах их заменили серые выходцы из деревни, женщины, подростки. Этим свежим слоям понадобилось, хоть вкратце, повторить тот политический опыт, который авангард проделал в предшествующий период. Февральским восстанием в Петрограде руководили передовые рабочие, преимущественно большевики, но не большевистская партия. Руководство рядовых большевиков могло обеспечить победу восстания, но не завоевание политической власти. В провинции дело обстояло еще менее благоприятно. Волна жизнерадостных иллюзий и всеобщего братания при политической неграмотности впервые пробужденных масс создала естественные условия для господства мелкобуржуазных социалистов: меньшевиков и народников. Рабочие, а за ними и солдаты, выбирали в Совет тех, которые, по крайней мере на словах, были не только против монархии, но и против буржуазии. Меньшевики и народники, собравшие в своих рядах чуть ли не всю интеллигенцию, располагали неисчис-

лимыми кадрами агитаторов, которые звали к единству, братству и подобным привлекательным вещам. От лица армии говорили преимущественно эсеры, традиционные опекуны крестьянства, что не могло не повышать авторитет этой партии в глазах свежих слоев пролетариата. В результате господство соглашательских партий казалось, по крайней мере им самим, незыблемым.

Хуже всего было, однако, то, что большевистская партия оказалась событиями застигнута врасплох. Опытных и авторитетных вождей в Петрограде не было. Бюро ЦК состояло из двух рабочих, Шляпникова и Залуцкого, и студента Молотова (первые два стали впоследствии жертвами чистки, последний — главой правительства). В "Манифесте", изданном ими после февральской победы от имени Центрального Комитета говорилось, что "рабочие фабрик и заводов, а также восставшие войска должны немедленно выбрать своих представителей во Временное революционное правительство". Но сами авторы "Манифеста" не придавали своему лозунгу практического значения. Они совсем не собирались открыть самостоятельную борьбу за власть, а готовились в течение целой эпохи играть роль левой оппозиции.

Массы с самого начала решительно отказывали либеральной буржуазии в доверии, не отделяя ее от дворянства и бюрократии. Не могло быть, например, и речи о том, чтоб рабочие или солдаты подали голос за кадета. Власть оказалась полностью в руках социалистов-соглашателей, за которыми стоял вооруженный народ. Но не доверяющие самим себе соглашатели добровольно передали власть ненавистной массам и политически изолированной буржуазии. Весь режим оказался основан на qui pro quo. Рабочие, притом не только большевики, относились к Временному правительству, как к врагу. На заводских митингах почти единогласно принимались резолюции в пользу власти Советов. Активный участник этой агитации, большевик Дингельштедт, позднейшая жертва чистки, свидетельствует: "Не было ни одного рабочего собрания, которое отклонило бы нашу резолюцию такого содержания..." Но Петроградский Комитет под давлением соглашателей приостановил эту кампанию. Передовые рабочие изо всех сил стремились сбросить опеку оппортунистических верхов, но не знали, как парировать ученые доводы о буржуазном характере революции. Различные оттенки в боль-

шевизме сталкивались друг с другом, не доводя своих мыслей до конца. Партия была глубоко растеряна. "Каковы лозунги большевиков, — вспоминал позже видный саратовский большевик Антонов, — никто не знал... Картина была очень неприятная..."

Двадцать два дня между прибытием Сталина из Сибири (12 марта) и прибытием Ленина из Швейцарии (3 апреля) представляют для оценки политической физиономии Сталина исключительное значение. Перед ним сразу открывается широкая арена. Ни Ленина, ни Зиновьева в Петрограде нет. Есть Каменев, известный своими оппортунистическими тенденциями и скомпрометированный своим поведением на суде. Есть молодой и малоизвестный партии Свердлов, больше организатор, чем политик. Неистового Спандарьяна нет: он умер в Сибири. Как в 1912 году, так и теперь, Сталин оказывается на время если не первой, то одной из двух первых большевистских фигур в Петрограде. Растерянная партия ждет ясного слова; отмолчаться невозможно. Сталин вынужден давать ответы на самые жгучие вопросы: о Советах, о власти, о войне, о земле. Ответы напечатаны и говорят сами за себя.

Немедленно по приезде в Петроград, представлявший в те дни один сплошной митинг, Сталин направляется в большевистский штаб. Три члена бюро ЦК в сотрудничестве с несколькими литераторами определяли физиономию "Правды". Они делали это беспомощно, но руководство партией было в их руках. Пусть другие надрывают голоса на рабочих и солдатских митингах, Сталин окопается в штабе. Свыше четырех лет назад, после Пражской конференции, он был кооптирован в ЦК. После того много воды утекло. Но ссыльный из Курейки умеет держаться за аппарат и продолжает считать свой мандат непогашенным. При помощи Каменева и Муранова он первым делом отстранил от руководства слишком "левое" Бюро ЦК и редакцию "Правды". Он сделал это достаточно грубо, не опасаясь сопротивления и торопясь показать твердую руку.

"Прибывшие товарищи, — писал впоследствии Шляпников, — были настроены критически и отрицательно к нашей работе". Ее порок они видели не в нерешительности и бесцветности, а наоборот, в чрезмерном стремлении отмежеваться от соглашателей. Сталин, как и Каменев, стояли гораздо ближе к советскому

большинству. Уже с 15 марта "Правда", перешедшая в руки новой редакции, заявила, что большевики будут решительно поддерживать Временное правительство, "поскольку оно борется с реакцией или контрреволюцией..." Парадокс этого заявления состоял в том, что единственным серьезным штабом контрреволюции являлось именно Временное правительство. Того же типа был ответ насчет войны: пока германская армия повинуется своему императору, русский солдат должен "стойко стоять на своем посту, на пулю отвечать пулей и на снаряд — снарядом..." Статья принадлежала Каменеву, но Сталин не противопоставил ей никакой другой точки зрения. От Каменева он вообще отличался в этот период разве лишь большей уклончивостью. "Всякое пораженчество, — писала "Правда", — а вернее то, что неразборчивая печать под охраной царской цензуры клеймила этим именем, умерло в тот момент, когда на улицах Петрограда показался первый революционный полк". Это было прямым отмежеванием от Ленина, который проповедывал пораженчество вне досягаемости для царской цензуры, и подтверждением заявлений Каменева на процессе думской фракции, но на этот раз также и от имени Сталина. Что касается "первого революционного полка", то появление его означало лишь шаг от византийского варварства к империалистской цивилизации.

"День выхода преобразованной "Правды", — рассказывает Шляпников, — был днем оборонческого ликования. Весь Таврический дворец, от дельцов Комитета Государственной думы до самого сердца революционной демократии, Исполнительного комитета, был преисполнен одной новостью: победой умеренных благоразумных большевиков над крайними. В самом Исполнительном комитете нас встретили ядовитыми улыбками... Когда этот номер "Правды" был получен на заводах, там он вызвал полное недоумение среди членов нашей партии и сочувствовавших нам и язвительное удовольствие у наших противников... Негодование в районах было огромное, а когда пролетарии узнали, что "Правда" была захвачена приехавшими из Сибири тремя бывшими руководителями "Правды", то потребовали исключения их из партии". Изложение Шляпникова перерабатывалось им в духе смягчения под давлением Сталина, Каменева и Зиновьева в 1925 г., когда эта "тройка" господствовала в партии. Но оно все же достаточно ярко рисует первые шаги

Сталина на арене революции, как и отклик передовых рабочих. Резкий протест выборжцев, который "Правде" пришлось вскоре напечатать на своих столбцах, побудил редакцию стать осторожнее в формулировках, но не изменить курс.

Политика Советов была насквозь пропитана духом условности и двусмысленности. Массы больше всего нуждались в том, чтобы кто-нибудь назвал вещи их настоящим именем: в этом, собственно, и состоит революционная политика. Но никто этого не делал, боясь потрясти хрупкое здание двоевластия. Наибольше фальши скоплялось вокруг вопроса о войне. 14 марта Исполнительный комитет внес в Совет проект манифеста "К народам всего мира". Рабочих Германии и Австро-Венгрии этот документ призывал отказаться "служить орудием захвата и насилия в руках королей, помещиков и банкиров". Тем временем сами вожди Совета совсем не собирались рвать с королями Великобритании и Бельгии, с императором Японии, с помещиками и банкирами, своими собственными и всех стран Антанты. Газета министра иностранных дел Милюкова с удовлетворением писала, что "воззвание развертывается в идеологию, общую нам со всеми нашими союзниками". Это было совершенно верно: в таком именно духе действовали французские министры-социалисты с начала войны. Почти в те же часы Ленин писал в Петроград через Стокгольм об угрожающей революции опасности прикрытия старой империалистической политики новыми революционными фразами: "Я даже предпочту раскол с кем бы то ни было из нашей партии, чем уступлю социал-патриотизму". Но идеи Ленина не нашли в те дни *ни одного* защитника.

Единогласное принятие манифеста в Петроградском Совете означало не только торжество империалиста Милюкова над мелкобуржуазной демократией, но и торжество Сталина и Каменева над левыми большевикам. Все склонились перед дисциплиной патриотической фальши. "Нельзя не приветствовать, — писал Сталин в "Правде", — вчерашнее воззвание Совета... Воззвание это, если оно дойдет до широких масс, без сомнения вернет сотни и тысячи рабочих к забытому лозунгу: "пролетарии всех стран, соединяйтесь!" На самом деле в подобных воззваних на Западе недостатка не было, и они лишь помогали правящим классам поддерживать мираж войны за демократию.

Посвященная манифесту статья Сталина в высшей степени характерна не только для его позиции в данном конкретном вопросе, но и для его метода мышления вообще. Его органический оппортунизм, вынужденный, благодаря условиям среды и эпохи, временно искать прикрытия в абстрактных революционных принципах, обращается с ними, на деле, без церемонии. В начале статьи автор почти дословно повторяет рассуждения Ленина о том, что и после низвержения царизма война на стороне России сохраняет империалистский характер. Однако при переходе к практическим выводам он не только приветствует с двусмысленными оговорками социал-патриотический манифест, но и отвергает, вслед за Каменевым, революционную мобилизацию масс против войны. "Прежде всего несомненно, — пишет он, — что голый лозунг: долой войну! совершенно непригоден как практический путь". На вопрос: где же выход? он отвечает: "Давление на Временное правительство с требованием изъявления своего согласия немедленно открыть мирные переговоры..." При помощи дружественного "давления" на буржуазию, для которой весь смысл войны в завоеваниях, Сталин хочет достигнуть мира "на началах самоопределения народов". Против подобного филистерского утопизма Ленин направлял главные свои удары с начала войны. Путем "давления" нельзя добиться того, чтоб буржуазия перестала быть буржуазией: ее необходимо свергнуть. Но перед этим выводом Сталин останавливался в испуге, как и соглашатели.

Не менее знаменательна статья Сталина "Об отмене национальных ограничений" ("Правда", 25 марта). Основная идея автора, воспринятая им еще из пропагандистских брошюр времен тифлисской семинарии, сотоит в том, что национальный гнет есть пережиток средневековья. Империализм, как господство сильных наций над слабыми, совершенно не входит в его поле зрения. "Социальной основой национального гнета, — пишет он, — силой, одухотворяющей его, является отживающая земельная аристократия... В Англии, где земельная аристократия делит власть с буржуазией, национальный гнет более мягок, менее бесчеловечен, если, конечно, не принимать во внимание того обстоятельства, что в ходе войны, когда власть перешла в руки лендлордов, национальный гнет значительно усилился (преследование ирландцев, индусов)".

Ряд диковинных утверждений, которыми переполнена статья — будто в демократиях обеспечено национальное и расовое равенство; будто в Англии власть во время войны перешла к лендлордам; будто ликвидация феодальной аристократии означает уничтожение национального гнета, — насквозь проникнуты духом вульгарной демократии и захолустной ограниченности. Ни слова о том, что империализм довел национальный гнет до таких масштабов, на которые феодализм, уже в силу своего ленивого провинциального склада, был совершенно неспособен. Автор не продвинулся теоретически вперед с начала столетия; более того, он как бы совершенно позабыл собственную работу по национальному вопросу, написанную в начале 1913 г. под указку Ленина.

"Поскольку русская революция победила, — заключает статья, — она уже создала этим фактические условия для национальной свободы, ниспровергнув феодально-крепостическую власть". Для нашего автора революция остается уже полностью позади. Впереди, совершенно в духе Милюкова и Церетели, — "оформление прав" и "законодательное их закрепление". Между тем не только капиталистическая эксплуатация, о низвержении которой Сталин и не думал, но помещичье землевладение, которое он сам объявил основой национального гнета, оставались еще незатронутыми. У власти стояли русские лендлорды типа Родзянко и князя Львова. Такова была — трудно поверить и сейчас! — историческая и политическая концепция Сталина за десять дней до того, как Ленин провозгласил курс на социалистическую революцию.

28 марта, одновременно с совещанием представителей важнейших Советов России, открылось в Петрограде Всероссийское совещание большевиков, созванное бюро ЦК. Несмотря на месяц, протекший после переворота, в партии царила совершенная растерянность, которую руководство последних двух недель только усугубило. Никакого размежевания течений еще не произошло. В ссылке для этого понадобился приезд Спандарьяна; теперь партии пришлось дожидаться Ленина. Крайние патриоты, вроде Войтинского, Элиавы и др., продолжали называть себя большевиками и участвовали в партийном совещании наряду с теми, кто считал себя интернационалистами. Патриоты выступали гораздо более решительно и

смело, чем полупатриоты, которые отступали и оправдывались. Большинство делегатов принадлежало к болоту и, естественно, нашло в Сталине своего выразителя. "Отношение к Временному правительству у всех одинаковое", — говорил саратовский делегат Васильев. "Разногласий в практических шагах между Сталиным и Войтинским нет", — с удовлетворением утверждал Крестинский. Через день Войтинский перейдет в ряды меньшевиков, а через семь месяцев поведет казачьи части против большевиков.

Поведение Каменева на суде не было, видимо, забыто. Возможно, что среди делегатов шли разговоры также и о таинственной телеграмме великому князю. Исподтишка Сталин мог напоминать об этих ошибках своего друга. Во всяком случае, главный политический доклад об отношении к Временному правительству, был поручен не Каменеву, а менее известному Сталину. Протокольная запись доклада сохранилась и представляет собой для историка и биографа неоценимый документ: дело идет о центральной проблеме революции, именно, о взаимоотношении между Советами, опиравшимися непосредственно на вооруженных рабочих и солдат, и буржуазным правительством, опиравшимся только на услужливость советских вождей. "Власть поделилась между двумя органами, — говорил на совещании Сталин, — из которых ни один не имеет полноты власти... Совет фактически взял почин революционных преобразований; Совет — революционный вождь восставшего народа, орган, контролирующий Временное правительство. Временное правительство взяло, фактически роль закрепителя завоеваний революционного народа. Совет мобилизует силы, контролирует. Временное же правительство, упираясь, путаясь, берет роль закрепителя тех завоеваний народа, которые уже фактически взяты им". Эта цитата стоит целой программы!

Взаимоотношения между двумя основными классами общества докладчик изображает, как разделение труда между двумя "органами": Советы, т. е. рабочие и солдаты, совершают революцию; правительство, т. е. капиталисты и либеральные помещики, "закрепляют" ее. В 1905—1907 гг. сам Сталин не раз писал, повторяя Ленина: "Русская буржуазия антиреволюционна, она не может быть ни двигателем, ни тем более вождем революции, она является заклятым врагом революции, и с ней надо

вести упорную борьбу". Эта руководящая политическая идея большевизма отнюдь не была опровергнута ходом Февральской революции. Милюков, вождь либеральной буржуазии, говорил за несколько дней до переворота на конференции своей партии: "Мы ходим по вулкану... Какова бы ни была власть, — худа или хороша, — но сейчас твердая власть необходима более, чем когда-либо". После того, как переворот, вопреки сопротивлению буржуазии, разразился, либералам не оставалось ничего другого, как встать на почву, созданную его победой. Именно Милюков, объявлявший накануне, что даже распутинская монархия лучше, чем низвержение вулкана, руководил ныне Временным правительством, которое должно было, по Сталину, "закреплять" завоевания революции, но которое в действительности стремилось задушить ее. Для восставших масс смысл революции состоял в уничтожении старых форм собственности, тех самых, на защиту которых встало Временное правительство. Непримиримую классовую борьбу, которая, несмотря на усилия соглашателей, каждый день стремилась превратиться в гражданскую войну, Сталин изображал как простое разделение труда между двумя аппаратами. Так не поставил бы вопроса даже левый меньшевик Мартов. Это есть теория Церетели, оракула соглашателей, в ее наиболее вульгарном выражении: на арене демократии действуют "умеренные" и более "решительные" силы и разделяют между собою работу: одни завоевывают, другие закрепляют. Мы имеем здесь перед собою в готовом виде схему будущей сталинской политики в Китае (1924–1927), в Испании (1934–1939), как и всех вообще злополучных "народных фронтов".

"Нам невыгодно форсировать сейчас события, — продолжал докладчик, — ускоряя процесс откалывания буржуазных слоев... Нам необходимо выиграть время, затормозив откалывание средне-буржуазных слоев, чтобы подготовиться к борьбе с Временным правительством". Делегаты слушали эти доводы со смутной тревогой. "Не отпугивать буржуазию" — было всегда лозунгом Плеханова, а на Кавказе — Жордания. На ожесточенной борьбе с этим ходом идей вырос большевизм. "Затормозить откалывание" буржуазии нельзя иначе, как затормозив классовую борьбу пролетариата; это, по существу, две стороны одного и того же процесса. "Разговоры о незапугивании буржуазии, — писал сам

Сталин в 1913 г., незадолго до своего ареста, — вызывали лишь улыбку, ибо было ясно, что социал-демократии предстояло не только "запугать", но и сбросить с позиции эту самую буржуазию в лице ее адвокатов — кадетов". Трудно даже понять, как мог старый большевик до такой степени позабыть четырнадцатилетнюю историю своей фракции, чтоб в самый критический момент прибегнуть к наиболее одиозным формулам меньшевизма. Объяснение кроется в том, что мысль Сталина невосприимчива к общим идеям, и память его не удерживает их. Он пользуется ими по мере надобности, от случая к случаю, и отбрасывает без сожаления, почти автоматически. В статье 1913 года дело шло о выборах в Думу. "Сбросить с позиции" буржуазию, значило попросту отнять у либералов мандат. Теперь дело шло о революционном низвержении буржуазии. Эту задачу Сталин относил к далекому будущему. Сейчас он совершенно так же, как и меньшевики, считал необходимым "не отпугивать буржуазию".

Огласив резолюцию ЦК, составлявшуюся при его участии, Сталин неожиданно заявляет, что "не совсем согласен с нею и скорее присоединяется к резолюции Красноярского Совета". Закулисная сторона этого маневра неясна. В выработке резолюции для Красноярского Совета мог участвовать сам Сталин по пути из Сибири. Возможно, что прощупав ныне настроение делегатов, он пытается слегка отодвинуться от Каменева. Однако красноярская резолюция стоит по уровню еще ниже петербургского документа. "...Со всей полнотой выяснить, что единственный источник власти и авторитета Временного правительства есть воля народа, которому Временное правительство обязано всецело повиноваться, и поддерживать Временное правительство... лишь постольку, поскольку оно идет по пути удовлетворения требований рабочего класса и революционного крестьянства". Вывезенный из Сибири секрет оказывается очень прост: буржуазия "обязана всецело повиноваться" народу и "идти по пути" рабочих и крестьян.

Через несколько недель формула о поддержке буржуазии "постольку — поскольку" станет в среде большевиков предметом всеобщего издевательства. Однако уже и сейчас некоторые из делегатов протестуют против поддержки правительства князя Львова: эта идея слишком шла вразрез со всей традицией большевизма.

На следующий день социал-демократ Стеклов, сам сторонник формулы "постольку — поскольку", но близкий к правящим сферам в качестве члена "контактной комисси" неосторожно нарисовал на совещании Советов такую картину деятельности Временного правительства — сопротивление социальным реформам, борьба за монархию, борьба за аннексии, — что совещание большевиков в тревоге отшатнулось от формулы поддержки. "Ясно, что не о поддержке, — так формулировал настроение многих делегат умеренных Ногин, — а о противодействии должна теперь идти речь". Ту же мысль выразил делегат Скрыпник, принадлежавший к левому крылу: "После вчерашнего доклада Сталина многое изменилось... Идет заговор Временного правительства против народа и революции, а резолюция говорит о поддержке". Обескураженный Сталин, перспектива которого не продержалась и 24 часа, предлагает "дать директиву комиссии об изменении пункта о поддержке". Конференция идет дальше: "Большинством против 4-х пункт о поддержке из резолюции исключается".

Можно подумать, что вся схема докладчика насчет разделения труда между пролетариатом и буржуазией предана забвению. На самом деле из резолюции устранялась только фраза, но не мысль. Страх "отпугнуть буржуазию" остался целиком. Суть резолюции сводилась к призыву побуждать Временное правительство "к самой эгергичной борьбе за полную ликвидацию старого режима", тогда как Временное правительство вело "самую энергичную борьбу" за восстановление монархии. Дальше дружелюбного давления на либералов конференция не шла. О самостоятельной борьбе за завоевание власти, хотя бы только во имя демократических задач, не было и речи. Как бы для того, чтобы ярче обнаружить действительный дух принятых решений, Каменев заявил на одновременно происходившем совещании Советов, что по вопросу о власти он "счастлив" присоединить голоса большевиков к официальной резолюции, которую внес и защищал лидер правых меньшевиков Дан. Раскол 1903 г., закрепленный на Пражской конференции 1913 г., должен был казаться в свете этих фактов простым недоразумением!

Не случайно поэтому на следующий день большевистская конференция обсуждала предложение лидера правых меньшевиков Церетели об объединении обеих партий. Сталин отнесся к пред-

ложению наиболее сочувственно: "Мы должны пойти. Необходимо определить наши предложения о линии объединения. Возможно объединение по линии Циммервальда-Кинталя". Дело шло о "линии" двух социалистических конференций в Швейцарии, с преобладанием умеренных пацифистов. Молотов, пострадавший две недели назад за левизну, выступил с робкими возражениями: "Церетели желает объединить разношерстные элементы... объединение по этой линии неправильно". Более решительно протестует Залуцкий, одна из будущих жертв чистки: "Исходить из простого желания объединения может мещанин, а не социал-демократ... По внешнему циммервальдско-кинтальскому признаку объединиться невозможно... Необходимо выставить определенную платформу". Но Сталин, названный мещанином, стоял на своем: "Забегать вперед и предупреждать разногласия не следует. Без разногласий нет партийной жизни. Внутри партии мы будем изживать мелкие разногласия". Трудно верить глазам: разногласия с Церетели, вдохновителем правящего советского блока, Сталин объявляет мелкими разногласиями, которые можно "изживать" внутри партии. Прения происходили 1-го апреля. Через три дня Ленин объявит Церетели смертельную войну. Через два месяца Церетели будет разоружать и арестовывать большевиков.

Мартовское совещание 1917 г. чрезвычайно важно для оценки состояния умов верхнего слоя большевистской партии сейчас же после Февральской революции и, в частности, Сталина, каким он вернулся из Сибири после четырех лет самостоятельных размышлений. Он выступает перед нами из скупых записей протоколов как плебейский демократ и ограниченный провинциал, которого условия эпохи заставили принять марксистскую окраску. Его статьи и речи за эти недели бросают безошибочный свет на его позицию за годы войны: если б он в Сибири хоть сколько-нибудь приблизился к идеям Ленина, как клянутся написанные двадцать лет спустя воспоминания, он не мог бы в марте 1917 г. так безнадежно увязнуть в оппортунизме. Отсутствие Ленина и влияние Каменева позволили Сталину проявить на заре революции свои наиболее органические черты: недоверие к массам, отсутствие воображения, короткий прицел, поиски линии наименьшего сопротивления. Эти качества его мы увидим позже во всех больших событиях, в которых Сталину доведется играть руково-

дящую роль. Немудрено, если мартовское совещание, где политик Сталин раскрыл себя до конца, ныне вычеркнуто из истории партии, и протоколы его держатся под семью замками. В 1923 г. были секретно изготовлены три копии для членов "тройки": Сталина, Зиновьева, Каменева. Только в 1926 г., когда Зиновьев и Каменев перешли в оппозицию к Сталину, я получил от них этот замечательный документ, что дало мне затем возможность опубликовать его за границей на русском и английском языках.

В конце концов протоколы ничем существенным не отличаются от статей в "Правде", а только дополняют их. Не осталось вообще от тех дней ни одного заявления, предложения, протеста, в которых Сталин сколько-нибудь членораздельно противопоставил бы большевистскую точку зрения политике мелкобуржуазной демократии. Один из бытописателей того периода, левый меньшевик Суханов, автор упомянутого выше манифеста "К трудящимся всего мира", говорит в своих незаменимых "Записках о революции": "У большевиков в это время, кроме Каменева, появился в Исполнительном комитете Сталин... За время своей скромной деятельности... он производил — не на одного меня — впечатление серого пятна, иногда маячившего тускло и бесследно. Больше о нем, собственно, нечего сказать". За этот отзыв, который нельзя не признать односторонним, Суханов поплатился впоследствии жизнью.

3 апреля, пересекши неприятельскую Германию, прибыли в Петроград через финляндскую границу Ленин, Крупская, Зиновьев и другие... Группа большевиков во главе с Каменевым выехала встречать Ленина в Финляндию. Сталина в их числе не было, и этот маленький факт лучше всего другого показывает, что между ним и Лениным не было ничего, похожего на личную близость. "Едва войдя и усевшись на диван, — рассказывает Раскольников, офицер флота, впоследствии советский дипломат, — Владимир Ильич тотчас же накидывается на Каменева: — что у вас пишется в "Правде"? Мы видели несколько номеров и здорово вас ругали..." За годы совместной работы за границей Каменев достаточно привык к таким холодным душам, и они не мешали ему не просто любить Ленина, а обожать его всего целиком, его страстность, его глубину, его простоту, его при-

баутки, которым Каменев смеялся заранее, и его почерк, которому он невольно подражал. Много лет спустя кто-то вспомнил, что Ленин в пути справился о Сталине. Этот естественный вопрос (Ленин , несомненно, справлялся о всех членах старого большевистского штаба) послужил впоследствии завязкой советского фильма.

По поводу первого выступления Ленина перед собранием большевиков внимательный и добросовестный летописец революции писал: "Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного". Дело шло не об ораторских громах, на которые Ленин был скуп, а обо всем направлении мысли. "Не надо нам парламентарной республики, не надо нам буржуазной демократии, не надо нам никакого правительства, кроме Советов рабочих, солдатских и батрацких депутатов!" В коалиции социалистов с либеральной буржуазией, т. е. в тогдашнем "народном фронте", Ленин не видел ничего, кроме измены народу. Он свирепо издевался над ходким словечком "революционная демократия", включавшим одновременно рабочих и мелкую буржуазию: народников, меньшевиков и большевиков. В соглашательских партиях, господствовавших в Советах, он видел не союзников, а непримиримых противников. "Одного этого, — замечает Суханов, — в те времена было достаточно, чтобы у слушателя закружилась голова!"

Партия оказалась застигнута Лениным врасплох не менее, чем Февральским переворотом. Критерии, лозунги, обороты речи, успевшие сложиться за пять недель революции, летели прахом. "Он решительным образом напал на тактику, которую проводили руководящие партийные группы и отдельные товарищи до его приезда", — пишет Раскольников; речь идет в первую голову о Сталине и Каменеве. Здесь были представлены наиболее ответственные работники партии. Но и для них речь Ильича явилась настоящим открытием. Она проложила рубикон между тактикой вчерашнего и сегодняшнего дня". Прений не было. Все были слишком ошеломлены. Никому не хотелось подставлять себя под удары этого неистового вождя. Промеж себя, в углах, шушукались, что Ильич засиделся за границей, оторвался от России, не знает обстановки, хуже того, что он

перешел на позиции троцкизма. Сталин, вчерашний докладчик на партийной конференции, молчал. Он понял, что страшно промахнулся, гораздо серьезнее, чем некогда на Стокгольмском съезде, когда защищал раздел земли, или годом позже, когда не вовремя оказался бойкотистом. Нет, лучше всего отойти сейчас в тень. Никто не спрашивал себя, что думает по этому поводу Сталин. Никто в мемуарах не вспоминает об его поведении в ближайшие недели.

Тем временем Ленин не сидел без дела: он зорко всматривался в обстановку, допрашивал с пристрастием друзей, прощупывал пульс рабочих. Уже на другой день он представил партии краткое резюме своих взглядов, которое стало важнейшим документом революции под именем "Тезисов 4 апреля". Ленин не боялся "отпугнуть" не только либералов, но и членов ЦК большевиков. Он не играл в прятки с претенциозными вождями советских партий, а вскрывал логику движения классов. Отшвырнув трусливо-бессильную формулу "постольку — поскольку", он поставил перед партией задачу: завоевать власть.

Прежде всего надо, однако, определить действительного врага. Черносотенные монархисты, попрятавшиеся по щелям, не имеют никакого значения. Штабом буржуазной контрреволюции является ЦК кадетской партии и вдохновляемое им Временное правительство. Но оно существует по доверенности эсеров и меньшевиков, которые, в свою очередь, держатся доверчивостью народных масс. При этих условиях не может быть и речи о применении революционного насилия. Нужно завоевать предварительно массы. Не объединяться и не брататься с народниками и меньшевиками, а разоблачать их перед рабочими, солдатами и крестьянами как агентов буржуазии. "Настоящее правительство — Совет Рабочих Депутатов... В Совете наша партия — в меньшинстве... Ничего не поделаешь! Нам остается лишь разъяснять терпеливо, настойчиво, систематически ошибочность их тактики. Пока мы в меньшинстве — мы ведем работу критики, дабы избавить массы от обмана". Все было просто и надежно в этой программе, и каждый гвоздь вколочен крепко. Под тезисами стояла одна единственная подпись: Ленин. Ни ЦК, ни редакция "Правды" не присоединились к этому взрывчатому документу.

В тот же день, 4-го апреля, Ленин появился на том самом партийном совещании, на котором Сталин излагал теорию

мирного разделения труда между Временным правительством и Советами. Контраст был слишком жесток. Чтоб смягчить его, Ленин, вопреки своему обыкновению, не подверг анализу уже принятые резолюции, а просто повернулся к ним спиною. Он приподнял конференцию на более высокий уровень и заставил ее увидеть новые перспективы, о которых временные вожди вовсе не догадывались. "Почему не взяли власть?" — спрашивал новый докладчик и перечислял ходячие объяснения: революция-де буржуазная, она проходит только через первый этап, война создает особые трудности и пр. "Это вздор. Дело в том, что пролетариат недостаточно сознателен и недостаточно организован. Это надо признать. Материальная сила в руках пролетариата, а буржуазия оказалась сознательной и подготовленной". Из сферы мнимого объективизма, куда пытались укрыться от задач революции Сталин, Каменев и другие, Ленин перенес вопрос в сферу сознания и действия. Пролетариат не взял власти в феврале не потому, что это запрещено социологией, а потому, что он дал соглашателям обмануть себя в интересах буржуазии. Только и всего! "Даже наши большевики, — продолжал он, не называя пока никого по имени, — обнаруживают доверчивость к правительству. Объяснить это можно только угаром революции. Это гибель социализма... Если так, нам не по пути. Пусть лучше останусь в меньшинстве". Сталин и Каменев без труда узнали себя. Все совещание понимало, о ком идет речь. Делегаты не сомневались, что, угрожая разрывом, Ленин не шутит. Как все это было далеко от "постольку — поскольку" и вообще от доморощенной политики предшествующих дней!

Не менее решительно оказалась передвинута ось вопроса о войне. Николай Романов низвергнут. Временное правительство наполовину обещало республику. Но разве это изменило природу войны? Во Франции республика существует давно, притом не в первый раз, тем не менее война с ее стороны остается империалистической. Природа войны определяется природой господствующего класса. "Когда массы заявляют, что не хотят завоеваний, я им верю. Когда Гучков и Львов говорят, что не хотят завоеваний — они обманщики". Этот простой критерий глубоко научен и в то же время доступен каждому солдату в окопах. Тут Ленин наносит открытый удар, называя по имени "Правду". "Требовать от правительства капиталистов, чтоб оно отказалось

от аннексий — чепуха, вопиющая издевка". Эти слова прямиком бьют по Сталину. "Кончить войну не насильническим миром нельзя без свержения капитала". Между тем соглашатели поддерживают капитал, "Правда" поддерживает соглашателей. "Воззвание Совета — там нет ни слова, проникнутого классовым сознанием. Там — сплошная фраза". Речь идет о том самом манифесте, который приветствовался Сталиным как голос интернационализма. Пацифистские фразы при сохранении старых союзов, старых договоров, старых целей — только средство обмана масс. "Что своеобразно в России, это — гигантский быстрый переход от дикого насилия к самому тонкому обману".

Три дня тому назад Сталин заявлял о своей готовности объединиться с партией Церетели. "Я слышу, — говорил Ленин,— что в России идет объединительная тенденция; объединение с оборонцами — это предательство социализма. Я думаю, что лучше остаться одному, как Либкнехт. Один против 110! Недопустимо даже носить дольше общее с меньшевиками имя социал-демократии. Лично от себя предлагаю переменить название партии, назваться Коммунистической партией". Ни один из участников совещания, даже приехавший с Лениным Зиновьев, не поддержал этого предложения, которое казалось святотатственным разрывом с собственным прошлым.

"Правда", которую продолжали редактировать Каменев и Сталин, заявила, что тезисы Ленина — его личное мнение, что бюро ЦК их не разделяет и что сама "Правда" остается на старых позициях. Заявление писал Каменев. Сталин поддержал его молча. Отныне ему придется молчать долго. Идеи Ленина кажутся ему эмигрантской фантастикой. Но он выжидает, как будет реагировать партийный аппарат. "Надо открыто признать, — писал впоследствии большевик Ангарский, проделавший ту же эволюцию, что и другие, — что огромное число старых большевиков... по вопросу о характере революции 1917 года придерживалось старых большевистских взглядов 1905 г. и что отказ от этих взглядов, их изживание совершалось не так легко". Дело шло, на самом деле, не об "огромном числе старых большевиков", а обо всех без исключения.

На мартовском совещании, где собрались кадры партии со всей страны, не раздалось ни одного голоса в пользу борьбы за власть Советов. Всем пришлось перевооружаться. Из шест-

надцати членов Петроградского Комитета лишь двое присоединились к тезисам и то не сразу. "Многие из товарищей указывали, — вспоминает Цихон, — что Ленин оторвался от России, не учитывает данного момента и т. д." Провинциальный большевик Лебедев рассказывает, как осуждалась первоначально большевиками агитация Ленина, "казавшаяся утопической, объяснявшаяся его долгой оторванностью от русской жизни". Одним из вдохновителей таких суждений был, несомненно, Сталин, всегда третировавший "заграницу" свысока. Через несколько лет Раскольников вспоминал: "Приезд Владимира Ильича положил резкий Рубикон в тактике нашей партии. Нужно признать, что до его приезда в партии была довольна большая сумятица... Задача овладения государственной властью рисовалась в форме отдаленного идеала... Считалась достаточной поддержка Временного правительства... с теми или иными оговорками. Партия не имела авторитетного лидера, который мог бы спаять ее воедино и повести за собой". В 1922 году Раскольникову не могло притти в голову видеть "авторитетного лидера" в Сталине.

"Наши руководители, — пишет уральский рабочий Марков, которого революция застала за токарным станком, — до приезда Владимира Ильича шли ощупью... позиция нашей партии стала проясняться с появлением его знаменитых тезисов". "Вспомните, какая встреча была оказана апрельским тезисам Владимира Ильича, — говорил вскоре после смерти Ленина Бухарин, — когда часть нашей собственной партии увидела в этом чуть ли ни измену обычной марксистской идеологии". "Часть нашей собственной партии" — это был весь ее руководящий слой без единого исключения. "С приездом Ленина в Россию 1917 года, — писал в 1924 году Молотов, — наша партия почувствовала под ногами твердую почву. До этого момента партия только слабо и неуверенно нащупывала свой путь. У партии не было достаточно ясности и решительности, которой требовал революционный момент".

Раньше других, точнее и ярче определила происшедшую перемену Людмила Сталь: "Все товарищи до приезда Ленина бродили в темноте, — говорила она 14 апреля 1917 года, в самый острый момент партийного кризиса. — Видя самостоятельное творчество народа, мы не могли его учесть... Наши товарищи смогли только ограничиться подготовкой к Учредительному собранию

парламентским способом и совершенно не учли возможности итти дальше. Приняв лозунги Ленина, мы сделаем то, что нам подсказывает сама жизнь".

Лично для Сталина апрельское перевооружение партии имело крайне унизительный характер. Из Сибири он приехал с авторитетом старого большевика, со званием члена ЦК, с поддержкой Каменева и Муранова. Он тоже начал со своего рода "перевооружения", отвергнув политику местных руководителей как слишком радикальную и связав себя рядом статей в "Правде", докладом на совещании, резолюцией Красноярского Совета. В самый разгар этой работы, которая по характеру своему была работой вождя, появился Ленин. Он вошел на совещание, точно инспектор в классную комнату и, схватив на лету несколько фраз, повернулся спиной к учителю и мокрой губкой стер с доски все его беспомощные каракули. У делегатов чувства изумления и протеста растворялись в чувстве восхищения.

У Сталина восхищения не было. Были острая обида, сознание бессилия и желтая зависть. Он был посрамлен перед лицом всей партии неизмеримо более тяжко, чем на тесном Краковском совещании после его злополучного руководства "Правдой". Бороться было бы бесцельно: ведь он тоже увидел новые горизонты, о которых не догадывался вчера. Оставалось стиснуть зубы и замолчать. Воспоминание о перевороте, произведенном Лениным в апреле 1917 г., навсегда вошло в сознание Сталина острой занозой. Он овладел протоколами мартовского совещания и попытался скрыть их от партии и от истории. Но это еще не решало дела. В библиотеках оставались комплекты "Правды" за 1917 г. Она была вскоре даже переиздана сборником: статьи Сталина говорили сами за себя. Многочисленные воспоминания об апрельском кризисе заполняли в первые годы исторические журналы и юбилейные номера газет. Все это нужно было изымать постепенно из обращения, заменять, подменять. Самое слово "перевооружение" партии, употребленное мною мимоходом в 1922 г., стало впоследствии предметом все более ожесточенных атак со стороны Сталина и его историков.

Правда, в 1924 г. сам Сталин считал еще благоразумным признать, со всей необходимой мягкостью по отношению к самому себе, ошибочность своей позиции в начале революции. "Партия, — писал он, — приняла политику давления Советов на Временное

правительство в вопросе о мире и не решилась сразу сделать шаг вперед... к новому лозунгу о власти Советов... Это была глубоко ошибочная позиция, ибо она плодила пацифистские иллюзии, лила воду на мельницу оборончества и затрудняла революционное воспитание масс. Эту ошибочную позицию я разделял тогда еще с другими товарищами по партии и отказался от нее полностью лишь в середине апреля, присоединившись к тезисам Ленина".

Это публичное признание, необходимое для прикрытия собственного тыла в начинавшейся тогда борьбе против троцкизма, уже через два года стало стеснительным. Сталин категорически отрицал в 1926 г. оппортунистический характер своей политики в марте 1917 г. : "Это неверно, товарищи, это сплетня", – и допускал лишь, что у него были "некоторые колебания... Но у кого из нас не бывали мимолетные колебания?"

Еще через четыре года Ярославский, упомянувший в качестве историка о том, что Сталин в начале революции занимал "ошибочную позицию", подвергся свирепой травле со всех сторон. Теперь нельзя уже было заикаться и о "мимолетных колебаниях". Идол престижа – прожорливое чудовище! Наконец, в изданной им самим "Истории партии" Сталин приписывает себе позицию Ленина, а свои собственные взгляды делает уделом своих врагов. "Каменев и некоторые работники Московской организации, например, Рыков, Бубнов, Ногин, – гласит эта необыкновенная "История", – стояли на полуменьшевистской позиции условной поддержки Временного правительства и политики оборонцев. Сталин, который только что вернулся из ссылки, Молотов и другие вместе с большинством партии отстаивали политику недоверия Временному правительству, выступали против оборончества" и пр. Так, путем последовательных сдвигов от факта к вымыслу черное было превращено в белое. Этот метод, который Каменев называл "дозированьем лжи", проходит через всю биографию Сталина, чтоб найти свое высшее выражение, и вместе с тем свое крушение, в Московских процессах.

Анализируя концепции обеих фракций социал-демократии в 1909 г., автор этой книги писал: "Антиреволюционные стороны меньшевизма сказываются во всей силе уже теперь; антиреволюционные черты большевизма грозят огромной опасностью

только в случае революционной победы". В марте 1917 г., после низверженя царизма, старые кадры партии довели эти антиреволюционные черты большевизма до их крайнего выражения: самый водораздел между большевизмом и меньшевизмом казался утерян. Понадобилось радикальное перевооружение партии, которое Ленин — только ему была по плечу эта задача — произвел в течение апреля.

Сталин, видимо, ни разу не выступил публично против Ленина, но и не разу за него. Он бесшумно отодвинулся от Каменева, как десять лет тому назад он отошел от бойкотистов, как на Краковском совещании молчаливо предоставил примиренцев их собственной участи. Не в его нравах было защищать идею, если она не сулила непосредственно успеха. С 14 по 22 апреля заседала конференция Петроградской организации. Влияние Ленина на ней было уже преобладающим, но прения имели еще моментами острый характер. Среди участников встречаем имена Зиновьева, Каменева, Томского, Молотова и других известных большевиков. Сталин не появлялся вовсе. Он, видимо, хотел, чтоб о нем на время забыли.

24 апреля собралась в Петрограде Всероссийская конференция, которая должна была окончательно ликвидировать наследство мартовского совещания. Около полутораста делегатов представляли 79 тысяч членов партии; из них 15 000 приходилось на столицу. Для антипатриотической партии, вчера лишь вышедшей из подполья, это было совсем неплохо. Победа Ленина стала ясна уже при выборе пятичленного президиума, в состав которого не были включены ни Каменев, ни Сталин, ответственные за оппортунистическую политику в марте. Каменев нашел в себе достаточно мужества, чтобы потребовать для себя на конференции содоклада. "Признавая, что формально и фактически классический остаток феодализма, помещичье землевладение, еще не ликвидирован... рано говорить, что буржуазная демократия исчерпала все свои возможности". Такова была основная мысль Каменева и его единомышленников: Рыкова, Ногина, Дзержинского, Ангарского и других. "Толчок к социальной революции, — говорил Рыков, — должен быть дан с Запада". Демократическая революция не закончилась, настаивали вслед за Каменевым ораторы оппозиции. Это было верно. Но ведь миссия Временного правительства состояла не в том, чтобы

закончить ее, а в том, чтобы отбросить ее назад. Именно отсюда и вытекало, что довершить демократическую революцию возможно лишь при господстве рабочего класса. Прения носили оживленный, но мирный характер, так как вопрос был по существу предрешен, и Ленин делал все возможное, чтоб облегчить противникам отступление.

Сталин выступил в этих прениях с короткой репликой против своего вчерашнего союзника. "Если мы не призываем к немедленному низвержению Временного правительства, — говорил в своем содокладе Каменев,— то мы должны требовать контроля над ним, иначе массы нас не поймут". Ленин возражал, что "контроль" пролетариата над буржуазным правительством, особенно в условиях революции, либо имеет фиктивный характер, либо сводится к сотрудничеству с ним. Сталин счел своевременным показать свое несогласие с Каменевым. Чтоб дать подобие объяснения перемены собственной позиции, он воспользовался изданной 19 апреля министром иностранных дел Милюковым нотой, которая своей излишней империалистской откровенностью толкнула солдат на улицу и породила правительственный кризис. Ленинская концепция революции исходила не из отдельной дипломатической ноты, мало отличавшейся от других правительственных актов, а из соотношения классов. Но Сталина интересовала не общая концепция; ему нужен был внешний повод для поворота с наименьшим ущербом для самолюбия. Он "дозировал" свое отступление. В первый период, по его словам, "Совет намечал программу, а теперь намечает ее Временное правительство". После ноты Милюкова "правительство наступает на Совет, Совет отступает. Говорить после этого о контроле — значит говорить впустую". Все это звучало искусственно и ложно. Но непосредственная цель была достигнута: Сталин успел вовремя отмежеваться от оппозиции, которая при голосованиях собирала не более семи голосов.

В докладе по национальному вопросу Сталин сделал, что мог, чтоб проложить мост от своего мартовского доклада, который источник национального гнета усматривал исключительно в земельной аристократии, к новой позиции, которую усваивала ныне партия. "Национальный гнет, — говорил он, полемизируя по неизбежности с самим собой, — поддерживается не только земельной аристократией. Наряду с ней существует другая

сила — империалистические группы, которые методы порабощения народностей, усвоенные в колониях, переносят и во внутрь своей страны. К тому же крупная буржуазия ведет за собой "мелкую буржуазию, часть интеллигенции, часть рабочей верхушки, которые также пользуются плодами грабежа". Это та тема, которую Ленин настойчиво развивал в годы войны. "Таким образом, — продолжает докладчик, — получается целый хор социальных сил, поддерживающий национальный гнет". Чтоб покончить с гнетом, надо "убрать этот хор с политической сцены". Поставив у власти империалистскую буржуазию, Февральская революция вовсе еще не создала условий национальной свободы. Так, Временное правительство изо всех сил противилось простому расширению автономии Финляндии. "На чью сторону должны мы стать? Очевидно, на сторону финляндского народа".

Украинец Пятаков и поляк Дзержинский выступали против программы национального самоопределения как утопической и реакционной. "Нам не следует выдвигать национального вопроса, — наивно говорил Дзержинский, — ибо это отодвигает момент социальной революции. Я предложил бы поэтому вопрос о независимости Польши из резолюции выкинуть". "Социал-демократия, — возражал им докладчик, — поскольку она держит курс на социалистическую революцию, должна поддерживать революционное движение народов, направленное против империализма". Сталин впервые в своей жизни упомянул здесь о "курсе на социалистическую революцию". На листке юлианского календаря значилось: 29 апреля 1917 года.

Присвоив себе права съезда, конференция выбрала новый Центральный Комитет, в который вошли: Ленин, Зиновьев, Каменев, Милютин, Ногин, Свердлов, Смилга, Сталин, Федоров; в качестве кандидатов: Теодорович, Бубнов, Глебов-Авилов и Правдин. Из 133 делегатов с решающим голосом участвовали в тайном голосовании почему-то лишь 109; возможно, что часть успела разъехаться. За Ленина подано 104 голоса (был ли Сталин в числе пяти делегатов, отказавшихся поддержать Ленина?), за Зиновьева — 101, за Сталина — 97, за Каменева — 95. Сталин впервые был выбран в ЦК в нормальном партийном порядке. Ему шел 38-й год. Рыкову, Зиновьеву и Каменеву было по 23-24 года, когда съезды впервые избирали их в состав большевистского штаба.

На конференции сделана была попытка оставить за порогом Центрального Комитета Свердлова. Об этом после смерти первого Председателя советской республики рассказывал Ленин, как о своей вопиющей ошибке. "К счастью, — прибавлял он, — снизу нас поправили". У самого Ленина вряд ли могли быть основания восстать против кандидатуры Свердлова, которого он знал по переписке как неутомимого профессионального революционера. Вероятнее всего, сопротивление исходило от Сталина, который не забыл, как Свердлов наводил после него порядок в Петербурге, реформируя "Правду"; совместная жизнь в Курейке только усилила в нем чувство неприязни. Сталин ничего не прощал.

На конференции он, видимо, пытался взять реванш и сумел какими-то путями, о которых мы можем лишь строить догадки, завоевать поддержку Ленина. Однако покушение не удалось. Если в 1912 г. Ленин натолкнулся на сопротивление делегатов, когда пытался ввести Сталина в Центральный Комитет, то теперь он встретил не меньший отпор при попытке оставить Свердлова за бортом. Из состава ЦК, избранного на апрельской конференции, успели своевременно умереть Свердлов и Ленин. Все остальные — за вычетом, конечно, самого Сталина, — как и все четыре кандидата, подверглись в последние годы опале и либо официально расстреляны, либо таинственно исчезли с горизонта.

Никто без Ленина не оказался способен разобраться в новой действительности, все оказались пленниками старой формулы. Между тем, ограничиваться лозунгом демократической диктатуры, значило теперь, как писал Ленин, "перейти на деле к мелкой буржуазии". Преимущество Сталина над другими состояло, пожалуй, в том, что он не испугался этого перехода и взял курс на сближение с соглашателями и слияние с меньшевиками. Им руководило отнюдь не преклонение перед старыми формулами. Идейный фетишизм был чужд ему: так, он без труда отказался от привычной мысли о контрреволюционной роли русской буржуазии. Как всегда, Сталин действовал эмпирически, под влиянием своего органического оппортунизма, который всегда толкал его искать линии наименьшего сопротивления. Но он стоял не одиноко; в течение трех недель он давал выражение скрытым тенденциям целого слоя "старых большевиков".

Нельзя забывать, что в аппарате большевистской партии преобладала интеллигенция, мелкобуржуазная по происхождению и условиям жизни, марксистская по идеям и связям с пролетариатом. Рабочие, которые становились профессиональными революционерами, с головой уходили в эту среду и растворялись в ней. Особый социальный состав аппарата и его командное положение по отношению к пролетариату — и то и другое — не случайность, а железная историческая необходимость — были не раз причиной шатаний в партии и стали в конце концов источником ее вырождения. Марксистская доктрина, на которую опиралась партия, выражала исторические интересы пролетариата в целом; но люди аппарата усваивали ее по частям, соответственно со своим, сравнительно ограниченным, опытом. Нередко они, как жаловался Ленин, просто заучивали готовые формулы и закрывали глаза на перемену условий. Им не хватало в большинстве случаев как синтетического понимания исторического процесса, так и непосредственной повседневной связи с рабочими массами. Оттого они оставались открыты влиянию других классов. Во время войны верхний слой партии был в значительной мере захвачен примиренческими настоениями, шедшими из буржуазных кругов, в отличие от рядовых рабочих-большевиков, которые оказались гораздо более устойчивы по отношению к патриотическому поветрию.

Открыв широкую арену демократии, революция дала "профессиональным революционерам" всех партий неизмеримо большее удовлетворение, чем солдатам в окопах, крестьянам в деревнях и рабочим на военных заводах. Вчерашние подпольщики сразу стали играть крупную роль. Советы заменяли им парламенты, где можно было свободно обсуждать и решать. В их сознании основные классовые противоречия, породившие революцию, начали как бы таять в лучах демократического солнца. В результате, большевики и меньшевики объединяются почти во всей стране, а там, где они остаются разъединенными, как в Петербурге, стремление к единству сильно сказывается в обеих организациях. Тем временем в окопах, в деревнях и на заводах застарелые антагонизмы принимают все более открытый и ожесточенный характер, предвещая не единство, а гражданскую войну. Движение классов и интересы партийных аппаратов пришли, как нередко, в острое противоречие. Даже партийные кадры большевизма, успевшие приобрести исключительный револю-

ционный закал, обнаружили на второй день после низвержения монархии явственную тенденцию обособиться от массы и принимать свои собственные интересы за интересы рабочего класса. Что же будет, когда эти кадры превратятся во всемогущую бюрократию государства? Сталин об этом вряд ли задумывался. Он был плотью от плоти аппарата и самой твердой из его костей.

Каким, однако, чудом Ленину удалось в течение немногих недель повернуть партию на новую дорогу? Разгадку надо искать одновременно в двух направлениях: в личных качествах Ленина и в объективной обстановке. Ленин был силен тем, что не только понимал законы классовой борьбы, но и умел подслушать живые массы. Он представлял не аппарат, а авангард пролетариата. Он был заранее убежден, что из того рабочего слоя, который вынес на себе подпольную партию, найдутся многие тысячи, которые поддержат его. Массы сейчас революционнее партии; партия — революционнее аппарата. Уже в течение марта действительные чувства и взгляды рабочих и солдат успели во многих случаях бурно прорваться наружу, в вопиющем несоответствии с указками партий, в том числе и большевистской. Авторитет Ленина не был абсолютен, но он был велик, ибо подтвержден всем опытом прошлого. С другой стороны, авторитет аппарата, как и его консерватизм, только еще складывались. Натиск Ленина не был индивидуальным актом его темперамента; он выражал давление класса на парию, партии — на аппарат. Кто пытался в этих условиях сопротивляться, тот скоро терял почву под ногами. Колеблющиеся равнялись по передовым, осторожные — по большинству. Так Ленину удалось, ценою сравнительно небольших потерь своевременно изменить ориентировку партии и подготовить ее к новой революции.

Но тут возникает новое затруднение. Оставаясь без Ленина, большевистское руководство делает каждый раз ошибки, преимущественно вправо. Ленин появляется, как бог, из машины, чтобы указать правильный путь. Значит, в большевистской партии Ленин — все, остальные — ничто? Этот взгляд, довольно широко распространенный в демократических кругах, крайне односторонен и потому ложен. Ведь то же самое можно сказать о науке: без Ньютона — механика, без Дарвина — биология на многие годы — ничто. Это верно, и это ложно. Нужна была работа тысяч рядовых ученых, чтобы собрать факты, сгруппировать их, поста-

вить вопросы и подготовить почву для синтетического ответа Ньютона или Дарвина. Этот ответ наложил, в свою очередь, неизгладимую печать на новые тысячи рядовых исследователей. Гении не творят науку из себя, а лишь ускоряют движение коллективной мысли. Большевистская партия имела гениального вождя. Это не было случайно. Революционер такого склада и размаха, как Ленин, мог быть вождем только наиболее бесстрашной партии, которая свои мысли и действия доводит до конца. Однако, гениальность сама по себе есть редчайшее исключение. Гениальный вождь ориентируется скорее, оценивает обстановку глубже, видит дальше. Между гениальным вождем и ближайшими соратниками открывалась неизбежно большая дистанция. Можно даже признать, что могущесто мысли Ленина до известной степени тормозило самостоятельность развития его сотрудников. Но это все же не значит, что Ленин был "все" и что партия без Ленина была ничто. Без партии Ленин был бы бессилен, как Ньютон и Дарвин — без коллективной научной работы. Дело идет, следовательно, не об особых пороках большевизма, обусловленных будто бы централизацией, дисциплиной и пр., а о проблеме гениальности в историческом процессе. Писатели, которые пытаются принизить большевизм на том основании, что большевистской партии посчастливилось иметь гениального вождя, только обнаруживают свою умственную вульгарность.

Без Ленина большевистское руководство лишь постепенно, ценою трений и внутренней борьбы, искало бы правильную линию действия. Классовые конфликты продолжали бы свою работу, компенсируя и отметая бесформенные лозунги "старых большевиков". Сталину, Каменеву и другим фигурам второй категории пришлось бы либо дать членораздельное выражение тенденциям пролетарского авнгарда, либо же попросту перейти на другую сторону баррикады... Не забудем, что Шляпников, Залуцкий, Молотов пытались с самого начала взять более левый курс.

Это не значит, однако, что правильный путь был бы во всяком случае найден. Фактор времени играет в политике, особенно в революции, решающую роль. Ход классовой борьбы отнюдь не предоставляет политическому руководству неограниченный срок для правильной ориентировки. Значение гениального вождя в том и состоит, что, сокращая этапы наглядного обуче-

ния, он дает партии возможность вмешаться в события в нужный момент. Если бы Ленину не удалось приехать в начале апреля, партия несомненно толкалась бы на тот путь, который Ленин возвестил в своих "тезисах". Сумели бы, однако, другие вожди заменить Ленина настолько, чтобы своевременно подготовить партию к Октябрьской развязке? На этот вопрос невозможно дать категорический ответ. Одно можно сказать с уверенностью: в этой работе, которая требовала решимости противопоставить живые массы и идеи косному аппарату, Сталин не мог бы проявить творческой инициативы и являлся бы скорее тормозом, чем двигателем. Его сила начинается с того момента, когда можно обуздать массы при помощи аппарата.

В течение следующих двух месяцев трудно проследить деятельность Сталина. Он оказался сразу отодвинут куда-то на третий план. Редакцией "Правды" руководил Ленин, притом не издалека, как до войны, а непосредственно изо дня в день. По камертону "Правды" настраивается партия. В области агитации господствует Зиновьев. Сталин по-прежнему не выступает на митингах. Каменев, наполовину примирившийся с новой политикой, представляет партию в Центральном Исполнительном Комитете и в Совете. Сталин почти исчезает с советской арены и мало появляется в Смольном. Руководящая организационная работа сосредоточена в руках Свердлова: он распределяет работников, принимает провинциалов, улаживает конфликты. Помимо дежурства в "Правде" и участия в заседаниях ЦК, на Сталина ложатся эпизодические поручения то административного, то технического, то дипломатического порядка. Они немногочисленны. По натуре Сталин ленив. Работать напряженно он способен лишь в тех случаях, когда непосредственно затронуты его личные интересы. Иначе он предпочитает сосать трубку и ждать поворота обстановки. Он переживает период острого недомогания. Более крупные или более талантливые люди оттеснили его отовсюду. Память о марте и апреле жжет его самолюбие. Насилуя себя, он медленно перестраивает свою мысль, но добивается в конце концов лишь половинчатых результатов.

Во время бурных "апрельских дней", когда солдаты вышли на улицу с протестом против империалистской ноты Милюкова, соглашатели заняты были, как всегда, заклинаниями по адресу

правительства, увещаниями по адресу масс. 21-го ЦИК отправил, за подписью Чхеидзе, одну из своих пастырских телеграмм в Кронштадт и другие гарнизоны: да, воинственная нота Милюкова не заслуживает одобрения, но "между Исполнительным Комитетом и Временным правительством начались переговоры, пока еще не законченные" (эти переговоры, по самой своей натуре, никогда не заканчивались); "признавая вред всяких разрозненных и неорганизованных выступлений, Исполнительный Комитет просит вас воздержаться" и пр.

Из официальных протоколов мы не без удивления усматриваем, что текст телеграммы составлен комиссией из двух соглашателей и одного большевика и что этот большевик – Сталин. Эпизод мелкий (крупных эпизодов за этот период вообще не найдем), но характерный. Увещательная телеграмма представляла классический образчик того "контроля", который входил необходимым элементом в механику двоевластия. Малейшую причастность большевиков к этой политике бессилия Ленин клеймил особенно беспощадно. Если выступление кронштадтцев было нецелесообразно, нужно им было это сказать от имени партии, своими словами, а не брать на себя ответственность за "переговоры" между Чхеидзе и князем Львовым. Соглашатели включили Сталина в комиссию потому, что авторитетом в Кронштадте пользовались только большевики. Тем больше оснований было отказаться. Но Сталин не отказался. Через три дня после увещательной телеграммы он выступил на партийной конференции против Каменева, причем как раз конфликт вокруг ноты Милюкова избрал как особо яркое доказательство бессмысленности "контроля". Логические противоречия никогда не тревожили этого эмпирика.

На конференции большевистской военной организации в июне, после основных политических речей Ленина и Зиновьева, Сталин докладывал о "национальном движении и национальных полках". Под влиянием пробуждения угнетенных национальностей в действующей армии началось самочинное переформирование частей по национальному признаку: возникали украинские, мусульманские, польские полки и пр. Временное правительство открыло борьбу против "дезорганизации армии"; большевики в этой области встали на защиту угнетенных национальностей. Записи доклада Сталина не сохранилось. Вряд ли, впрочем, он вносил что-либо новое.

Первый Всероссийский съезд Советов, открывшийся 3-го июня, тянулся почти три недели. Несколько десятков провинциальных делегатов-большевиков, тонувших в массе соглашателей, представляли довольно разношерстную группу, далеко еще не освободившуюся от мартовских настроений. Руководить ими было нелегко. Именно к этому моменту относится интересное замечание уже знакомого нам народника, наблюдавшего некогда Кобу в бакинской тюрьме. "Я всячески хотел понять роль Сталина и Свердлова в большевистской партии, — писал Верещак в 1928 г. — В то время, как за столом президиума съезда сидели Каменев, Зиновьев, Ногин и Крыленко и, в качестве ораторов, выступали Ленин, Зиновьев и Каменев, Свердлов и Сталин молча дирижировали большевистской фракцией. Это была тактическая сила. Вот здесь я впервые почувствовал все значение этих людей". Верещак не ошибся. В закулисной работе по подготовке фракции к голосованиям Сталин был очень ценен. Он не всегда прибегал к принципиальным доводам, но он умел быть убедительным для среднего командного состава, особенно для провинциалов. Однако и в этой работе первое место принадлежало Свердлову, неизменному председателю большевистской фракции съезда.

В армии велась тем временем "моральная" подготовка наступления, которая нервировала массы не только на фронте, но и в тылу. Большевистская фракция решительно протестовала против военной авантюры, заранее предрекая катастрофу. Большинство съезда поддержало Керенского. Большевики сделали попытку ответить уличной демонстрацией. При обсуждении вопроса обнаружились разногласия. Володарский, главная сила Петроградского комитета, не был уверен, выйдут ли на улицу рабочие. Представители военной организации утверждали, что солдаты не выступят без оружия. Сталин считал, что "брожение среди солдат — факт; среди рабочих такого определенного настроения нет", но полагал все же, что необходимо дать правительству отпор. В конце концов демонстрация была назначена на воскресенье, 10 июня. Соглашатели всполошились. Но испугавшись впечатления, произведенного запретом на массы, съезд сам назначил общую демонстрацию на 18 июня. Результат получился неожиданный: все заводы и все полки вышли с большевистскими плакатами. Авторитету съезда был нанесен непоправимый удар.

Рабочие и солдаты столицы почувствовали свою силу. Через две недели они попытались реализовать ее. Так выросли "июльские дни", важнейший рубеж между двумя революциями.

4-го мая Сталин писал в "Правде": "Революция растет вширь и вглубь... Во главе движения идет провинция. Если в первые дни революции Петроград шел впереди, то теперь он начинает отставать". Ровно через два месяца "июльские дни" обнаружили, что провинция чрезвычайно отстала от Петрограда. В своей оценке Сталин имел в виду не массы, а организации. "Столичные Советы, — отмечал Ленин еще на Апрельской конференции, — политически находятся в большей зависимости от буржуазной центральной власти, чем провинциальные". В то время как ЦИК изо всех сил стремился сосредоточить власть в руках правительства, в провинции Советы, меньшевистские и эсеровские по составу, против собственной воли завладевали нередко властью и даже пытались регулировать экономическую жизнь. Но " отсталость" советских учреждений в столице вытекала как раз из того, что петроградский пролетариат далеко ушел вперед и пугал мелкобуржуазную демократию радикализмом своих требований. При обсуждении вопроса об июльской демонстрации Сталин считал, что рабочие не стремились к борьбе. Июльские дни опровергли и это утверждение: против запрета соглашателей и даже против предостережения большевистской партии, пролетариат вырвался на улицу, рука об руку с гарнизоном. Обе ошибки Сталина крайне знаменательны для него: он не дышал атмосферой рабочих собраний, не был связан с массой и не доверял ей. Сведения, которыми он располагал, шли через аппарат. Между тем массы были несравненно революционнее партии, которая, в свою очередь, была революционнее своих комитетчиков. Как и в других случаях, Сталин выражал консервативную тенденцию аппарата, а не динамическую силу масс.

В начале июля Петроград был полностью на стороне большевиков. Знакомя нового французского посла с положением в столице, журналист Клод Анэ показывал ему по ту сторону Невы Выборгский район, где сосредоточены самые большие заводы: "Ленин и Троцкий царят там, как господа". Полки гарнизона — либо большевистские, либо колеблющиеся в сторону большевиков. "Если Ленин и Троцкий захотят взять Петроград, кто им

помешает в этом?" Характеристика положения была верна. Но власти брать нельзя было, ибо вопреки тому, что Сталин писал в мае, провинция значительно отставала от столицы.

2 июля на общегородской конференции большевиков, где Сталин представлял ЦК, появляются два возбужденных пулеметчика с заявлением, что их полк решил немедленно выйти на улицу с оружием в руках. Конференция рекомендует отказаться от выступления. От имени Центрального Комитета Сталин подтверждает решение конференции. Пестковский, один из сотрудников Сталина и раскаявшийся оппозиционер, вспоминал через тринадцать лет об этой конференции: "Там я впервые увидел Сталина. Комната, в которой происходила конференция, не могла вместить всех присутствующих: часть публики следила за ходом прений из коридора через открытую дверь. В этой части публики был и я, и поэтому плохо слышал доклады... От имени ЦК выступал Сталин. Так как он говорил тихо, то я из коридора разобрал немногое. Обратил внимание лишь на одно: каждая фраза Сталина была отточена и закончена, положения отличались ясностью формулировки..." Члены конференции расходятся по полкам и заводам, чтоб удержать массы от выступления. "Часов в 5, — докладывал Сталин после событий, — на заседании ЦИКа официально от имени ЦК и конференции заявили, что мы решили не выступать". Часам к 6 выступление все же развернулось. "Имела ли партия право умыть руки... и уйти в сторону?.. Как партия пролетариата мы должны были вмешаться в выступление и придать ему мирный и организованный характер, не задаваясь целью вооруженного захвата власти".

Несколько позже Сталин рассказывал о июльских днях на партийном съезде: "Партия не хотела выступления, партия хотела переждать, когда политика наступления на фронте будет дискредитирована. Тем не менее, выступление стихийное, вызванное разрухой в стране, приказами Керенского, отправлением частей на фронт, состоялось". ЦК решил придать манифестации мирный характер. "На вопрос, поставленный солдатами, нельзя ли выйти вооруженными, ЦК постановил: с оружием не выходить. Солдаты, однако, говорили, что выступать невооруженными невозможно, что они возьмут оружие только для самообороны".

Здесь, однако, мы наталкиваемся на загадочное свидетельство Демьяна Бедного. В очень восторженном тоне придворный поэт рассказал в 1929 г., как в помещении "Правды" Сталин был вызван из Кронштадта по телефону и как в ответ на заданный вопрос о том, выходить ли с оружием или без оружия, Сталин ответил: "Винтовки?.. Вам, товарищи, виднее!.. Вот мы, писаки, так свое оружие, карандаш, всегда таскаем за собой... А как там вы со своим оружием, вам виднее!" Рассказ, вероятно, стилизован. Но в нем чувствуется зерно истины. Сталин был, вообще говоря, склонен преуменьшать готовность рабочих и солдат к борьбе: по отношению к массам он всегда был недоверчив. Но где борьба завязывалась, на площади ли Тифлиса, в бакинской ли тюрьме или на улицах Петрограда, он всегда стремился придать ей как можно более острый характер. Решение ЦК? Его можно было осторожно опрокинуть параболой о карандашах. Не нужно, однако, преувеличивать значение этого эпизода: запрос исходил, вероятно, от Кронштадтского комитета партии: что касается матросов, то они все равно вышли бы с оружием.

Не поднявшись до восстания, июльское движение переросло рамки демонстрации. Были провокационные выстрелы из окон и с крыш, были вооруженные столкновения, без плана и ясной цели, но со многими убитыми и ранеными, был эпизодический полузахват Петропавловской крепости кронштадтскими моряками, была осада Таврического дворца. Большевики оказались полными господами в столице, но сознательно отклонили переворот как авантюру. "Взять власть 3 и 4 июля мы могли, — говорил Сталин на Петроградской конференции. — Но на нас поднялись бы фронт, провинция, Советы. Власть, не опирающаяся на провинцию, оказалась бы без рук и без ног". Лишенное непосредственной цели, движение стало откатываться. Рабочие возвращались на свои заводы, солдаты — в казармы.

Оставался вопрос о Петропавловке, где все еще сидели кронштадтцы. "ЦК делегировал меня в Петропавловскую крепость, — рассказывал Сталин, — где удалось уговорить присутствующих матросов не принимать боя... В качестве представителя ЦИК, я еду с (меньшевиком) Богдановым к (командующему войсками) Козьмину. У него все готово к бою... Мы уговариваем его не применять вооруженной силы.. Для меня очевидно,

что правое крыло хотело крови, чтобы дать "урок" рабочим, солдатам и матросам. Мы помешали им выполнить свое желание". Успешное выполнение Сталиным столь деликатной миссии оказалось возможным только благодаря тому, что он не был одиозной фигурой в глазах соглашателей: их ненависть направлялась против других лиц. К тому же он умел, несомненно как никто, взять в этих переговорах тон трезвого и умеренного большевика, избегающего эксцессов и склонного к соглашениям. О своих советах матросам насчет "карандашей" он, во всяком случае, не упоминал.

Вопреки очевидности, соглашатели объявили июльскую манифестацию вооруженным восстанием и обвинили большевиков в заговоре. Когда движение уже закончилось, с фронта прибыли реакционные войска. В печати появилось сообщение, ссылавшееся на "документы" министра юстиции Переверзева, что Ленин и его соратники являются попросту агентами германского штаба. Настали дни клеветы, травли и смуты. "Правда" подверглась разгрому. Власти издали распоряжение об аресте Ленина, Зиновьева и других виновников "восстания". Буржуазная и соглашательская пресса грозно требовала, чтобы виновные отдали себя в руки правосудия.

В ЦК большевиков шли совещания: явиться ли Ленину к властям, чтоб дать гласный бой клевете, или скрыться. Не было недостатка в колебаниях, неизбежных при столь резком переломе обстановки. Спорный вопрос состоял в том, дойдет ли дело до открытого судебного разбирательства? В советской литературе немалое место занимает вопрос о том, кто "спас" тогда Ленина и кто хотел "погубить" его. Демьян Бедный рассказывал некогда, как он примчался к Ленину в автомобиле и уговаривал его не подражать Христу, который "сам себе в руки врагов предаде". Бонч-Бруевич, бывший управляющий делами Совнаркома, начисто опроверг своего друга, рассказав в печати, что Д. Бедный провел критические часы у него на даче в Финляндии. Многозначительный намек на то, что честь переубеждения Ленина "выпала на долю других товарищей", ясно показывал, что Бончу пришлось огорчить близкого друга, чтобы доставить удовольствие кому-то более влиятельному. В своих "Воспоминаниях" Крупская рассказывает: "7-го мы были у Ильича

на квартире Аллилуевых вместе с Марией Ильиничной (сестрой Ленина). Это был как раз у Ильича момент колебаний. Он приводил доводы за необходимость явиться на суд. Мария Ильинична горячо возражала ему. "Мы с Григорием (Зиновьевым) решили явиться, пойди, скажи об этом Каменеву", — сказал мне Ильич. Я заторопилась. "Давай попрощаемся, — остановил меня Владимир Ильич, — может, не увидимся уже". Мы обнялись. Я пошла к Каменеву и передала ему поручение Владимира Ильича. Вечером Сталин и другие убедили Ильича на суд не являться и тем спасли его жизнь".

Подробнее о тех горячечных часах рассказал до Крупской Орджоникидзе. "Началась бешеная травля наших вождей... Некоторые наши товарищи ставят вопрос о том, что Ленину нельзя скрываться, он должен явиться... Так рассуждали многие видные большевики. Встречаемся со Сталиным в Таврическом дворце. Идем вместе к Ленину..." Прежде всего бросается в глаза, что в те часы, когда шла "бешеная травля нашей партии и наших вождей", Орджоникидзе и Сталин спокойно встречаются в Таврическом дворце, штабе врага, и безнаказно покидают его. На квартире Аллилуева возобновляется все тот же спор: сдаться или скрыться? Ленин полагал, что никакого гласного суда не будет. Категоричнее всех против сдачи высказался Сталин: "Юнкера до тюрьмы не довезут, убьют по дороге".

В это время появляется Стасова и сообщает о вновь пущенном слухе, будто Ленин по документам департамента полиции провокатор. "Эти слова произвели на Ильича невероятно сильное впечатление. Нервная дрожь перекосила его лицо, и он со всей решительностью заявил, что надо ему сесть в тюрьму".

Орджоникидзе и Ногина посылают в Таврический дворец добиться от правящих партий гарантий, "что Ильич не будет растерзан юнкерами". Но перепуганные меньшевики искали гарантий для самих себя. В свою очередь, Сталин докладывал на Петроградской конференции: "Я лично ставил вопрос о явке перед Либером и Анисимовым (меньшевики, члены ЦИК), и они мне ответили, что никаких гарантий они дать не могут". После этой разведки в неприятельском лагере решено было, что Ленин уедет из Петрограда и скроется в глубоком подполье. "Сталин взялся организовать отъезд Ленина".

Насколько правы были противники сдачи Ленина властям, обнаружилось впоследствии из рассказа командующего войсками, генерала Половцева. "Офицер, отправляющийся в Терриоки (Финляндия) с надеждой поймать Ленина, меня спрашивает, желаю я получить этого господина в целом виде или в разобранном... Отвечаю с улыбкой, что арестованные делают очень часто попытку к побегу". Для организаторов судебного подлога дело шло не о "правосудии", а о захвате и убийстве Ленина, как это было сделано два года спустя в Германии с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург.

Мысль о неизбежности кровавой расправы сидела в голове Сталина прочнее, чем у других: такая развязка вполне отвечала складу его собственной натуры. К тому же он мало склонен был беспокоиться о том, что скажет "общественное мнение". Другие, в том числе Ленин и Зиновьев, колебались. Ногин и Луначарский в течение дня из сторонников сдачи стали ее противниками. Сталин держался наиболее твердо, и оказался прав.

Посмотрим теперь, что сделала из этого драматического эпизода новейшая советская историография. "Меньшевики, эсеры и Троцкий, ставший впоследствии фашистским бандитом, — пишет официальное издание 1938 г., — требовали добровольной явки Ленина на суд. За явку Ленина в суд стояли ныне разоблаченные как враги народа фашистские наймиты Каменев и Рыков. Им дал резкий отпор Сталин" и т.д.

На самом деле , я лично в совещаниях вообще не участвовал, так как вынужден был сам в те часы скрываться. 10 июля я обратился к правительству меньшевиков и эсеров с письменным заявлением о полной солидарности с Лениным, Зиновьевым и Каменевым и был 22 июля арестован. В письме к Петроградской конференции Ленин счел нужным особо отметить, что Троцкий в "тяжелые июльские дни оказался на высоте задачи". Сталина не арестовали и даже формально не привлекли к делу по той причине, что политически он ни для властей, ни для общественного мнения не существовал. В бешеной травле против Ленина, Зиновьева, Каменева, Троцкого и других Сталин едва ли вообще назывался в печати, хотя он был редактором "Правды" и подписывал статьи своим именем. Никто не замечал этих статей и не интересовался их автором.

Ленин скрывался сперва на квартире Аллилуева, затем переехал в Сестрорецк к рабочему Емельянову, которому безуслов-

но доверял и о котором, не называя его, упоминает с уважением в одной из своих статей. "Во время отъезда Владимира Ильича в Сестрорецк — это было вечером 11 июля — мы с товарищем Сталиным, — рассказывает Аллилуев, — провожали Ильича на Сестрорецкий вокзал. За время пребывания в шалаше на Разливе, а затем в Финляндии, Владимир Ильич время от времени через меня посылал записки Сталину; записки приносились мне на квартиру, и так как на записки нужно было своевременно отвечать, то Сталин в августе месяце перебрался ко мне... и поселился в той же комнате, где скрывался Владимир Ильич в июльские дни". Здесь он, видимо, познакомился со своей будущей женой, дочерью Аллилуева Надеждой, тогда еще подростком.

Другой из кадровых рабочих, Рахиа, обрусевший финн, рассказывал в печати, как Ленин поручил ему однажды "привести Сталина на следующий день вечером. Сталина я должен был найти в редакции "Правды". Они разговаривали очень долго, В. И. подробно обо всем расспрашивал". Сталин был в этот период, наряду с Крупской, важным связующим звеном между ЦК и Лениным, который питал к нему, несомненно, полное доверие, как к осторожному конспиратору. К тому же все обстоятельства естественно выдвигали Сталина на эту роль: Зиновьев скрывался, Каменев и Троцкий сидели в тюрьме, Свердлов стоял в центре организационной работы, Сталин был более свободен и менее на виду у полиции.

В период реакции после июльского движения роль Сталина вообще значительно возрастает. Уже знакомый нам Пестковский пишет в своих апологетических воспоминаниях о работе Сталина летом 1917 г.: "Широкие рабочие массы Петрограда мало знали тогда Сталина. Да он и не гонялся за популярностью. Не обладая ораторским талантом, он избегал выступлений на массовых митингах. Но никакая партийная конференция, никакое серьезное организационное совещание не обходилось без политического выступления Сталина. Благодаря этому партийный актив знал его хорошо. Когда ставился вопрос о большевистских кандидатах от Петрограда в Учредительное Собрание, кандидатура Сталина была выдвинута на одно из первых мест по инициативе парийного актива". Имя Сталина стояло в петроградском списке на шестом месте... В 1930 г. считалось еще необходимым в объяснение того, почему Сталин не пользовался популярностью, указывать на отсутствие у него "ораторского

таланта''. Сейчас такая фраза была бы совершенно невозможна: Сталин объявлен идолом петроградских рабочих и классиком ораторского искусства. Но верно, что не выступая перед массами, Сталин рядом со Свердловым выполнял в июле и августе крайне ответственную работу в аппарате: на совещаниях, конференциях, в сношениях с Петербургским комитетом и пр.

О руководстве партии в тот период Луначарский писал в 1923 г.: ''...До июльских дней Свердлов состоял, так сказать, в главном штабе большевиков, руководя всеми событиями вместе с Лениным, Зиновьевым и Сталиным. В июльские дни он выдвинулся на передний план''. Это было верно. Среди жестокого разгрома, обрушившегося на партию, этот маленький смуглый человек в пенсне держал себя так, как если б ничего особенного не случилось: распределял по-прежнему людей, ободрял тех, кто нуждался в ободрении, давал советы, а если нужно — приказания. Он был подлинный ''генеральный секретарь'' революционного года, хотя и не нес этого звания. Но это был секретарь партии, бесспорным политическим руководителем которой Ленин оставался и в своем подполье. Из Финляндии он посылал статьи, письма, проекты резолюций по всем основным вопросам политики. Ошибаясь нередко на расстоянии тактически, Ленин тем более уверенно определял стратегию партии. Повседневное руководство лежало на Свердлове и Сталине, как на наиболее влиятельных членах ЦК из числа оставшихся на свободе. Массовое движение тем временем чрезвычайно ослабело. Партия наполовину ушла в подполье. Удельный вес аппарата соответственно возрос. Внутри аппарата автоматически выросла роль Сталина. Этот закон проходит неизменно через всю его политическую биографию, как бы составляя ее основную пружину.

Непосредственно поражение в июле потерпели рабочие и солдаты Петрограда, порыв которых разбился, в последнем счете, об относительную отсталость провинции. В столице упадок в массах оказался поэтому глубже, чем где-либо, но держался лишь несколько недель. Открытая агитация возобновляется уже в двадцатых числах июля, когда на небольших митингах выступают в разных частях города три мужественных революционера: Слуцкий, убитый позже белыми в Крыму, Володарский, убитый эсерами в Петрограде, и Евдокимов, убитый Сталиным в 1936 г. Потеряв кое-каких случайных попутчиков, партия в конце месяца снова начинает расти.

21—22 июля в Петрограде происходит исключительной важности совещание, оставшееся незамеченным властями и прессой. После трагически закончившейся авантюры наступления в столицу стали все чаще прибывать делегаты с фронта с протестами против удушения свобод в армии и против затягивания войны. В Исполнительный Комитет их не допускали, так как соглашателям нечего было им сказать. Фронтовики знакомились друг с другом в коридорах и приемных и крепкими солдатскими словами отзывались о вельможах из ЦИКа. Большевики, умевшие проникать всюду посоветовали растерянным и озлобленным делегатам обменяться мыслями со столичными рабочими, солдатами и матросами. На возникшем таким образом совещании участовали представители от 29 полков с фронта, 90 петроградских заводов, от кронштадтских моряков и окрестных гарнизонов. Фронтовики рассказывали о бессмысленном наступлении, о разгроме и о сотрудничестве соглашателей-комиссаров с реакционным офицерством, которое снова подняло голову. Несмотря на то, что большинство фронтовиков продолжало, по-видимому, считать себя эсерами, резкая большевистская резолюция была принята единодушно. Из Петрограда делегаты вернулись в окопы незаменимыми агитаторами рабочей и крестьянской революции. В организации этого замечательного совещания Свердлов и Сталин принимали, видимо, руководящее участие.

Петроградская конференция, безуспешно пытавшаяся удержать массы от демонстрации, тянулась после продолжительного перерыва до ночи 20 июля. Ход ее работ очень поучителен для выяснения роли Сталина и его места в партии. Организационное руководство нес от имени ЦК Свердлов; но в области теории и больших вопросов политики он, без излишних претензий, как и без напускной скромности, уступил место другим. Главной темой конференции была оценка политического положения, как оно сложилось после июльского разгрома. Володарский, руководящий член петроградского Комитета, заявил в самом начале: "По текущему моменту докладчиком может быть только Зиновьев... Желательно выслушать Ленина". Имени Сталина никто не называл. Но, прерванная массовым движением на полуслове, конференция возобновилась лишь 16 июля. Зиновьев и Ленин скрывались, и основной политический доклад лег на Сталина, который выступал как заместитель докладчика. "Для меня ясно, — говорил он, — что в данный момент контрреволюция победила нас,

изолированных, преданных меньшевиками и эсерами, оболганных..." Победа буржуазной контрреволюции составляла исходную позицию докладчика... Однако эта победа неустойчива; пока война идет, пока непреодолена хозяйственная разруха, пока крестьяне не получили земли, "неизбежно будут происходить кризисы, массы не раз будут выходить на улицу, будут происходить более решительные бои. Мирный период революции кончился..." Тем самым лозунг "власть Советам" утерял сейчас реальное содержание. Соглашательские Советы помогли военно-буржуазной контрреволюции раздавить большевиков, разоружить рабочих и солдат и тем сами лишились реальной власти. Вчера еще они могли устранить Временное правительство простым постановлением; внутри Советов большевики могли прийти к господству путем простых перевыборов. Сегодня это уже невозможно. При помощи соглашателей контрреволюция вооружилась. Да и сами Советы стали сейчас простым прикрытием контрреволюции. Смешно требовать власти для этих Советов! "Дело не в учреждениях, а в том, политику какого класса проводит это учреждение". О мирном завоевании власти не может быть более и речи. Не остается ничего другого, как готовиться к вооруженному восстанию, которое станет возможным, когда низы деревни, а с ними фронт, повернут в сторону рабочих. Этой смелой стратегической перспективе соответствовала очень осторожная тактическая директива на ближайший период. "Наша задача — собрать силы, укрепить существующие организации и держать массы от преждевременного выступления... Это общая тактическая линия ЦК".

При всей примитивности своей формы доклад давал глубокую оценку обстановки, изменившейся в несколько дней. Прения сравнительно мало прибавили к сказанному докладчиком. Редакция протоколов отмечала в 1927 г.: "Основные положеня этого доклада были согласованы с Лениным и построены согласно статье Ленина "Три кризиса", которая еще не успела появиться в печати". Делегаты знали сверх того, вероятнее всего через Крупскую, что Ленин написал для докладчика особые тезисы. "Группа конферентов, — гласит протокол, — просит огласить тезисы Ленина. Сталин сообщает, что у него нет с собой этих тезисов..."

Требование делегатов слишком понятно: перемена ориентации так радикальна, что они хотят услышать подлинный голос вождя. Но зато непонятен ответ Сталина: если он просто забыл тезисы

дома, то их можно доставить к следующему заседанию. Однако тезисы не были доставлены. Получается впечатление, что они были скрыты от конференции. Еще поразительнее тот факт, что "июльские тезисы", в отличие от всех других документов, написанных Лениным в подполье, вообще не дошли до нас. Так как единственный экземпляр был у Сталина, то остается предположить, что он утерял его. Однако сам он об утере ничего не говорил. Редакция протоколов высказывает предположение, что тезисы были составлены Лениным в духе его статей "Три кризиса" и "К лозунгам", написанных до конференции, но опубликованных после нее в Кронштадте, где сохранилась свобода печати. Действительно, сравнение текстов статей показывает, что доклад Сталина был лишь простым изложением этих двух статей, без единого оригинального слова от себя. Самих статей Сталин не читал и существования их, очевидно, не подозревал, но он опирался на тезисы, тождественные по ходу мыслей со статьями. И это обстоятельство достаточно объясняет, почему докладчик "забыл" принести на конференцию тезисы Ленина и почему этот документ вообще не сохранился. Характер Сталина делает эту гипотезу не только допустимой, но прямо-таки навязывает ее.

В комиссии конференции, где шла, видимо, ожесточенная борьба, Володарский, отказавшийся признать, что в июле контрреволюция одержала полную победу, собрал большинство. Вышедшую из комиссии резолюцию защищал перед конференцией уже не Сталин, а Володарский. Сталин не потребовал содоклада и не участвовал в прениях. Среди делегатов царило замешательство. Резолюцию Володарского поддержали в конце концов 28 делегатов против 3 при 28 воздержавшихся. Группа выборгских делегатов мотивировала свое воздержание тем, что "не были оглашены тезисы Ленина, и резолюцию защищал не докладчик". Намек на неблаговидное сокрытие тезисов был слишком явен. Сталин отмалчивался. Он потерпел двойное поражение, так как вызвал недовольство сокрытием тезисов и не сумел собрать в их пользу большинства.

Что касается Володарского, то он продолжал, в сущности, отстаивать большевистскую схему революции 1905 г.: сперва демократическая диктатура; затем неизбежный разрыв с крестьянством и, в случае победы пролетариата на Западе, борьба за социалистическую диктатуру. Сталин при поддержке Молотова

и некоторых других, защищал новую концепцию Ленина: только дикатура пролетариата, опирающегося на беднейших крестьян, обеспечит разрешение задач демократической революции и откроет вместе с тем эру социалистических преобразований. Сталин был прав против Володарского, но не сумел обнаружить своей правоты. С другой стороны, отказываясь признать, что буржуазная контрреволюция одержала полную победу, Володарский оказался прав против Сталина и против Ленина. Мы снова встретимся с этим спором на партийном съезде через несколько дней. Конференция закончилась принятием написанного Сталиным воззвания "Ко всем трудящимся", где, между прочим, говорилось: "...продажные наемники и трусливые клеветники осмеливаются открыто обвинять вождей нашей партии в "измене"... Никогда еще не были так дороги и близки рабочему классу имена наших вождей, как теперь, когда обнаглевшая буржуазная сволочь обливает их грязью!" Травле и преследованиям, кроме Ленина, подвергались главным образом Зиновьев, Каменев и Троцкий. Имена их были особенно дороги Сталину, когда "буржуазная сволочь" обливала их грязью.

Петроградская конференция явилась как бы репетицией партийного съезда, который собрался 26 июля. К этому моменту почти все районные Советы Петрограда были уже в руках большевиков. В фабрично-заводских комитетах, как и в правлениях профессиональных союзов, влияние большевиков успело стать преобладающим. Организационная подготовка съезда сосредоточивалась в руках Свердлова. Политическую подготовку вел Ленин из подполья. В письмах в ЦК и в возобновившейся большевистской печати он с разных сторон освещал политическую обстановку. Им же были написаны проекты всех основных резолюций для съезда, причем доводы были тщательно взвешены на тайных свиданиях с будущими докладчиками.

Съезд созывался под именем "Объединительного", так как на нем предстояло включение в партию петроградской межрайонной организации, к которой принадлежали: Троцкий, Иоффе, Урицкий, Рязанов, Луначарский, Покровский, Мануильский, Юренев, Карахан и другие революционеры, так или иначе вошед-

шие в историю советской революции. "В годы войны, — говорит примечание к "Сочинениям" Ленина, — межрайонцы были близки большевистскому Петербургскому Комитету". Организация насчитывала к моменту съезда около 4 000 рабочих.

Сведения о съезде, заседавшем полулегально в двух рабочих районах, проникли в печать; в правительственных сферах поговаривали о роспуске съезда, но в конце концов Керенский счел более благоразумным не соваться в Выборгский район. Для широкого общественного мнения съезд руководился анонимами. Из большевиков, получивших известность впоследствии, на съезде участвовали: Свердлов, Бухарин, Сталин, Молотов, Ворошилов, Орджоникидзе, Юренев, Мануильский... В президиум вошли Свердлов, Ольминский, Ломов, Юренев и Сталин. Даже здесь, где отсутствуют наиболее видные фигуры большевизма, имя Сталина оказывается на последнем месте. Съезд постановляет послать приветствие "Ленину, Троцкому, Зиновьеву, Луначарскому, Каменеву, Коллонтай и всем остальным арестованным и преследуемым товарищам". Их выбирают в почетный президиум. Издание 1938 г. только упоминает об избрании Ленина.

Об организационной работе ЦК отчет делал Свердлов. Со времени Апрельской конференции партия выросла с 80 до 240 тысяч членов, т. е. втрое. Рост под июльскими ударами был здоровым ростом. Тираж всей большевистской печати поражает своей незначительностью: 320 тысяч экземпляров на гигантскую страну! Но революционная среда электропроводна: идеи большевизма прокладывали себе дорогу в сознание миллионов.

Сталин повторил два своих доклада: о политической деятельности ЦК и о положении в стране. В связи с муниципальными выборами, на которых большевики завоевали в столице около 20 % голосов, Сталин докладывал: "ЦК... приложил все силы, чтобы дать бой как кадетам, основной силе контрреволюции, так и меньшевикам и эсерам, вольно или невольно пошедшим за кадетами". Много воды утекло со времени мартовского совещания, когда Сталин зачислял меньшевиков и эсеров в "революционную демократию" и возлагал на кадетов миссию "закреплять" завоевания революции.

Вопрос о войне, социал-патриотизме, крушении Второго Интернационала и группировках в мировом социализме был, вопреки традиции, выделен из политического доклада и поручен

Бухарину, так как на международной арене Сталин совершенно не разбирался. Бухарин доказывал, что кампания за мир путем "давления" на Временное правительство и другие правительства Антанты потерпела полное крушение и что только низвержение Временного правительства способно приблизить демократическую ликвидацию войны. Вслед за Бухариным Сталин сделал доклад о задачах партии. Прения велись совместно по обоим докладам, хотя, как оказалось, между докладчиками не было полного согласия.

"Некоторые товарищи говорили, — докладывал Сталин, — что так как у нас капитализм слабо развит, то утопично ставить вопрос о социалистической революции. Они были бы правы, если бы не было войны, если бы не было разрухи, не были расшатаны основы народного хозяйства. Но эти вопросы о вмешательстве в хозяйственную сферу ставятся во всех государствах как необходимые вопросы..." К тому же "нигде у пролетариата не было таких широких организаций, как Советы... Все это исключало возможность невмешательства рабочих масс в хозяйственную жизнь. В этом реальная основа постановки вопроса о социалистической революции у нас в России". Основной довод поражает явной несообразностью: если слабое развитие капитализма делает программу социалистической революции утопичной, то военное разрушение производительных сил дожно не приблизить, а наоборот, еще более отдалить эру социализма. На самом деле тенденция к превращению демократической революции в социалистическую заложена была не в военном разрушении производительных сил, а в социальной структуре русского капитализма. Эта тенденция могла быть вскрыта — и она была вскрыта — до войны и независимо от нее. Война придала, правда, революционному процессу в массах неизмеримо более быстрые темпы, но вовсе не изменила социального содержания революции. Надо, впрочем, сказать, что Сталин заимствовал свой довод из отдельных неразвитых замечаний Ленина, которые как бы имели своей целью примирить старые кадры с необходимостью перевооружения.

В прениях Бухарин пытался отстоять частично старую схему большевизма: в первой революции русский пролетариат идет рука об руку с крестьянством во имя демократии; во второй революции — рука об руку с европейским пролетариатом во имя

социализма. "В чем перспектива Бухарина? — возражал Сталин. — По его мнению, в первом этапе мы идем к крестьянской революции. Но ведь она не может... не совпасть с рабочей революцией. Не может быть, чтобы рабочий класс, составляющий авнгард революции, не боролся вместе с тем за свои собственные требования. Поэтому я считаю схему Бухарина непродуманной". Это было совершенно правильно. Крестьянская революция не могла победить иначе, как поставив у власти пролетариат. Пролетариат не мог встать у власти, не начав социалистической революции. Сталин повторял против Бухарина те соображения, которые впервые были изложены в начале 1905 г. и до апреля 1917 г. объявлялись "утопизмом". Через несколько лет Сталин забудет, однако, повторенные им на 6-ом съезде аргументы и возродит вместе с Бухариным формулу "демократической диктатуры", которая займет большое место в программе Коминтерна и сыграет роковую роль в революционном движении Китая и других стран.

Основная задача съезда состояла в том, чтобы заменить лозунг мирного перехода власти к Советам лозунгом подготовки вооруженного восстания. Для этого необходимо было прежде всего понять происшедший сдвиг в соотношении сил. Общее направление сдвига было очевидно: от народа — к буржуазии. Но определить размеры перемены было гораздо труднее: только новое открытое столкновение между классами могло измерить новое соотношение сил. Такой проверкой явилось в конце августа восстание генерала Корнилова, сразу обнаружившее, что за буржуазией по-прежнему нет опоры в народе или партии. Июльский сдвиг имел, следовательно, поверхностный и эпизодический характер, но он оставался тем не менее вполне реален: отныне уже немыслимо было говорить о мирном переходе власти к Советам. Формулируя новый курс, Ленин прежде всего был озабочен тем, чтоб как можно решительнее повернуть партию лицом к изменившемуся соотношению сил. В известном смысле, он прибегал к преднамеренному преувеличению: недооценить силу врага опаснее, чем переоценить ее. Но преувеличенная оценка вызвала отпор на съезде, как раньше на Петроградской конференции, — тем более, что Сталин придавал мыслям Ленина упрощенное выражение.

"Положение ясно, — говорил Сталин, — теперь о двоевластии никто не говорит. Если ранее Советы представляли реальную силу, то теперь это лишь органы сплочения масс, не имеющие никакой власти". Некоторые делегаты совершенно правильно возражали, что в июле временно восторжествовала реакция, но не победила контрреволюция и что двоевластие еще не ликвидировано в пользу буржуазии. На эти доводы Сталин отвечал, как и на конференции, аксиоматической фразой: "Во время революции реакции не бывает". На самом деле орбита каждой революции состоит из частых кривых подъема и спуска. Реакцию вызывают такие толчки со стороны врага или со стороны отсталости самой массы, которые приближают режим к потребностям контрреволюционного класса, но не меняют еще носителя власти. Другое дело победа контрреволюции: она немыслима без перехода власти в руки другого класса. В июле такого решающего перехода не произошло. Советские историки и комментаторы продолжают и сегодня переписывать из книги в книгу формулы Сталина, совершенно не задаваясь вопросом: если в июле власть перешла в руки буржуазии, то почему ей в августе пришлось прибегать к восстанию? До июльских событий именовали двоевластием тот режим, при котором Временное правительство оставалось лишь призраком, тогда как реальная сила сосредоточивалась у Совета. После июльских событий часть реальной власти перешла от Совета к буржуазии, но только часть: двоевластие не исчезло. Этим и определился в дальнейшем характер Октябрьского восстания.

"Если контрреволюционерам удастся продержаться месяц-другой, — говорил Сталин далее, — то только потому, что принцип коалиции не изжит. Но поскольку развиваются силы революции, взрывы будут, и настанет момент, когда рабочие поднимут и сплотят вокруг себя бедные слои крестьянства, поднимут знамя рабочей революции и откроют эру социалистической революции на Западе". Заметим: миссия русского пролетариата — открыть "эру социалистической революции на Западе". Это — формула партии в течение ближайших лет. Во всем основном доклад Сталина дает правильную оценку обстановки и правильный прогноз: оценку и прогноз Ленина. Нельзя, однако, не отметить, что в его докладе, как всегда, отстутствует развитие мысли. Оратор утверждает, провозглашает, но не доказывает. Его

оценки сделаны на глаз или заимствованы в готовом виде; они не прошли через лабораторию аналитической мысли и между ними не установилось той органической связи, которая сама из себя порождает нужные доводы, аналогии и иллюстрации. Полемика Сталина состоит в повторении уже высказанной мысли, иногда в виде афоризма, предполагающего доказанным то, что как раз требует доказательства. Нередко доводы сдабриваются грубостью, особенно в заключительном слове, когда нет основания опасаться возражений противника.

В издании 1928 г., посвященном 6-му съезду, читаем: "В члены ЦК избраны Ленин, Сталин, Свердлов, Дзержинский и др." Рядом со Сталиным названы только трое умерших. Между тем, протоколы съезда сообщают, что Центральный Комитет был избран в составе 21 члена и 10 кандидатов. В виду полулегального положения партии имена выбранных путем закрытого голосования лиц не оглашены на съезде, за исключением четырех, получивших наибольшее число голосов: Ленин — 133 из 134, Зиновьев — 132, Каменев — 131, Троцкий — 131. Кроме них были выбраны: Ногин, Коллонтай, Сталин, Свердлов, Рыков, Бухарин, Артем, Урицкий, Милютин, Берзин, Бубнов, Дзержинский, Крестинский, Муранов, Смилга, Сокольников, Шаумян. Имена расположены в порядке полученного числа голосов. Из кандидатов удалось установить имена восьми: Ломов, Иоффе, Стасова, Яковлева, Джапаридзе, Киселев, Преображенский, Скрыпник. Из 29 членов и кандидатов только 4: Ленин, Свердлов, Дзержинский и Ногин умерли естественной смертью, причем Ногин был после смерти приравнен к врагам народа; 13 были приговорены официально к расстрелу и бесследно исчезли; двое, Иоффе и Скрыпник, были доведены преследованиями до самоубийства; трое: Урицкий, Шаумян и Джапаридзе не были расстреляны Сталиным только потому, что были ранее убиты врагами; один, Артем, пал жертвой несчастного случая; судьба четырех нам неизвестна. В итоге, Центральный Комитет, которому суждено было руководить Октябрьским переворотом, почти на две трети состоял из "предателей", если даже оставить открытым вопрос о том, как закончили бы Ленин, Свердлов и Дзержинский.

3 августа закончился съезд. На другой день был освобожден из тюрьмы Каменев. Он не только выступает отныне систематически в советских учреждениях, но и оказывает несомненное влияние на общую политику партии и лично на Сталина. Они оба, хотя и в разной степени, приспособились к новому курсу. Но им обоим не так просто освободиться от навыков собственной мысли. Где может, Каменев притупляет острые углы ленинской политики. Сталин против этого ничего не имеет; он не хочет лишь подставляться сам. Открытый конфликт вспыхивает по вопросу о социалистической конференции в Стокгольме, инициатива которой исходила от германских социал-демократов. Русские патриоты-соглашатели, склонные хвататься за соломинку, усмотрели в этой конференции важное средство "борьбы за мир". Наоборот, обвиненный в связи с германским штабом Ленин решительно восстал против участия в предприятии, за которым заведомо стояло германское правительство. В заседании ЦИК 6-го августа Каменев открыто выступил за участие в конференции. Сталин даже и не подумал встать на защиту позиции партии в "Пролетарии" (так именовалась ныне "Правда"). Наоборот, резкая статья Ленина против Каменева натолкнулась на сопротивление со стороны Сталина и появилась в печати лишь через десять дней, в результате настойчивых требований автора и его обращения к другим членам ЦК. Открыто на защиту Каменева Сталин все же не выступил.

Немедленно же после освобождения Каменева из демократического министерства юстиции был пущен в печать слух об его причастности к царской охранке. Каменев потребовал расследования. ЦК поручает Сталину "переговорить с Гоцем (один из лидеров эсеров) о комиссии по делу Каменева". Мы уже встречали поручения такого типа: "поговорить" с меньшевиком Анисимовым о гарантиях для Ленина. Оставаясь за кулисами, Сталин лучше других подходил для всякого рода щекотливых поручений. К тому же у ЦК всегда была уверенность, что в переговорах с противником Сталин не даст себя обмануть.

"Змеиное шипение контрреволюции, — пишет Сталин 13 августа по поводу клеветы на Каменева, — вновь становится громче. Из-за угла высовывает гнусная гидра реакции свое ядовитое жало. Укусит и опять спрячется в свою темную нору" — и т. д. в том же стиле тифлисских "хамелеонов". Но статья интересна

не только стилистически. "Гнусная травля, вакханалия лжи и клеветы, дерзкий обман, низкий подлог и фальсификация, — продолжает автор, — приобретают размеры, доселе невиданные в истории... Сперва намеревались испытанных борцов революции объявить германскими шпионами, когда это сорвалось — их хотят сделать шпионами царскими. Так людей, которые всю сознательную жизнь посвятили делу революционной борьбы против царского режима, теперь пытаются объявить... царскими слугами... Политический смысл всего этого очевиден: контрреволюционных дел мастерам во что бы то ни стало необходимо изъять и обезвредить Каменева, как одного из признанных вождей революционного пролетариата". К сожалению, эта статья не фигурировала в материалах прокурора Вышинского во время процесса Каменева в 1936 г.

30 августа Сталин печатает без оговорок неподписанную статью Зиновьева "Чего не делать", явно направленную против подготовки восстания. "Надо смотреть правде в лицо: в Петрограде сейчас налицо много условий, благоприятствующих возникновению восстания типа Парижской Коммуны 1871 года". Не называя Зиновьева, Ленин пишет 3 сентября: "Ссылка на Коммуну очень поверхностна и даже глупа... Коммуна не могла предложить народу сразу того, что смогут предложить большевики, если станут властью, именно: землю крестьянам, немедленное предложение мира". Удар по Зиновьеву бил рикошетом по редактору газеты. Но Сталин промолчал. Он готов анонимно поддержать выступление против Ленина справа. Но он остерегается ввязываться сам. При первой опасности он отходит в сторону.

О газетной работе самого Сталина за этот период сказать почти нечего. Он был редактором центрального органа не потому, что был писателем по природе, а потому, что не был оратором и вообще не был приспособлен для открытой арены. Он не написал ни одной статьи, которая привлекла бы к себе внимание; не поставил на обсуждение ни одного нового вопроса; не ввел в оборот ни одного лозунга. Он комментировал события безличным языком в рамках взглядов, установившихся в партии. Это был скорее ответственный чиновник партии при газете, чем революционный публицист.

Прилив массового движения и возвращение к работе временно оторванных от нее членов ЦК, естественно, отбрасывают его

от той выдающейся позиции, которую он занял в период июльского съезда. Его работа развертывается в закрытом сосуде, неведомая для масс, незаментая для врагов. В 1924 г. Комиссия по истории партии выпустила в нескольких томах обильную хронику революции. На 422-х страницах IV тома, посвященных августу и сентябрю, зарегистрированы все сколько-нибудь заслуживающие внимания события, эпизоды, столкновения, резолюции, речи, статьи. Свердлов, тогда еще малоизвестный, называется в этом томе три раза, Каменев — 46 раз, Троцкий, просидевший август и начало сентября в тюрьме — 31 раз, Ленин, находившийся в подполье — 16 раз, Зиновьев, разделявший судьбу Ленина — 6 раз. Сталин не упомянут вовсе. В указателе, заключающем около 500 собственных имен, имени Сталина нет. Это значит, что печать не отметила за эти два месяца ни одного из его действий, ни одной из его речей и что никто из более видных участников событий ни разу не назвал его по имени.

К счастью, по сохранившимся, правда, неполным, протоколам ЦК за семь месяцев (август 1917 г. — февраль 1918 г.) можно довольно близко проследить роль Сталина в жизни партии, вернее сказать, ее штаба. На всякого рода конференции и съезды делегируются, за отсутствием политических вождей, Милютин, Смилга, Глебов, маловлиятельные фигуры, но более приспособленные к открытым выступлениям. Имя Сталина встречается в решениях не часто. Урицкому, Сокольникову и Сталину поручается организовать комиссию по выборам в Учредительное собрание. Той же тройке поручается составить резолюцию о Стокгольмской конференции. Сталину поручаются переговоры с типографией по восстановлению центрального органа. Еще комиссия для составления резолюции и т.д. После июльского съезда принято предложение Сталина организовать работу ЦК на началах "строгого распределения функций". Однако это легче написать, чем выполнить: ход событий еще долго будет смешивать функции и опрокидывать решения. 2 сентября ЦК назначает редакционные коллегии еженедельного и ежемесячного журналов, обе с участием Сталина. 6 сентября — после освобождения из тюрьмы Троцкого — Сталин и Рязанов заменяются в редакции теоретического журнала Троцким и Каменевым. Но это решение остается лишь в протоколах. На самом деле оба журнала вышли только по одному разу, причем фактические редакции совершенно не совпадали с назначенными.

5 октября ЦК создает комиссию для подготовки к будущему съезду проекта партийной программы. Состав комиссии: Ленин, Бухарин, Троцкий, Каменев, Сокольников, Коллонтай. Сталин в комиссию не включен. Не потому, что против его кандидатуры имелась оппозиция, — просто его имя никому не пришло в голову, когда дело шло о выработке важнейшего теоретического документа партии. Программная комиссия не собралась, однако, ни разу: в порядке дня стояли совсем другие задачи. Партия совершила переворот и завоевала власть, не имея законченной программы. Так, даже в чисто партийных делах события распределяли людей не всегда в соответствии с видами и планами партийной иерархии. ЦК создает редакции, комиссии, тройки, пятерки, семерки, которые не успевают еще собраться, как вторгаются новые события, и все забывают о вчерашнем решении. К тому же протоколы, по соображениям конспирации, тщательно прячутся, и никто не справляется с ними.

Обращает на себя внимание сравнительно частый абсентеизм Сталина. Из 24 заседаний ЦК за август, сентябрь и первую неделю октября он отсутсвовал шесть раз; в отношении других шести заседаний не хватает списка участников. Эта неаккуратность тем менее объяснима, что Сталин не принимал участия в работе Совета и ЦИКа и не выступал на митингах. Очевидно, сам он вовсе не придавал своему участию в заседаниях ЦК того значения, какое ему приписывается ныне. В ряде случаев его отсутствие объяснялось несомненно обидой и раздражением: когда ему не удается настоять на своем, он предпочитатет не показывать глаз, скрываться и угрюмо мечтать о реванше.

Не лишен интереса порядок, в каком присутствующие члены ЦК записаны в протоколах. 13 сентября: Троцкий, Каменев, Сталин, Свердлов и др. 15 сентября: Троцкий, Каменев, Рыков,Ногин, Сталин, Свердлов и др. 20 сентября: Троцкий, Урицкий, Бубнов, Бухарин и др. (Сталин и Каменев отсутствуют) . 21 сентября: Троцкий, Каменев, Сталин, Сокольников и др. 23 сентября: Троцкий, Каменев, Зиновьев и т. д. (Сталин отсутствует) . Порядок имен не был, конечно, регламентирован и иногда нарушался. Но он все же не случаен, особенно если принять во внимание, что в предшествующий период, когда отсутствовали Троцкий, Каменев и Зиновьев, имя Сталина встречается в некоторых протоколах на первом месте. Все это, конечно, мелочи; но ничего более крупного мы не находим, а в то же время в этих

мелочах нелицеприятно отражается повседневная жизнь ЦК и место в ней Сталина.

Чем больший размах движения, тем меньше это место, тем труднее выделить Сталина из числа рядовых членов ЦК. В октябре, решающем месяце решающего года, Сталин менее заметен, чем когда-либо. Усеченный ЦК, единственная опорная база Сталина, сам лишен за эти месяцы внутренней уверенности. Его решения слишком часто опрокидываются инициативой, возникающей за его пределами. Аппарат партии вообще не чувствует себя твердо в революционном водовороте. Чем шире и глубже влияние лозунгов большевизма, тем труднее комитетчикам охватить движение. Чем больше Советы подпадают под влияние партии, тем меньше места находит себе ее аппарат. Таков один из парадоксов революции.

Перенося на 1917-ый год те отношения, которые сложились значительно позже, когда воды потопа вошли в берега, многие историки, даже вполне добросовестные, представляют дело так, будто Центральный Комитет непосредственно руководил политикой Петроградского Совета, ставшего к началу сентября большевистским. На самом деле этого не было. Протоколы с несомненностью показывают, что за вычетом нескольких пленарных заседаний с участием Ленина, Троцкого и Зиновьева, Центральный Комитет не играл политической роли. Инициатива ни в одном большом вопросе не принадлежала ему. Многие решения ЦК за этот период повисают в воздухе, столкнувшись с решениями Совета. Важнейшие постановления Совета превращаются в действия прежде, чем ЦК успеет обсудить их. Только после завоевания власти, окончания гражданской войны и установления правильного режима, ЦК сосредоточит постепенно в своих руках руководство советской работой. Тогда придет очередь Сталина.

8 августа ЦК открывает кампанию против созываемого Керенским в Москве Государственно Совещания, грубо подтасованного в интересах буржуазии. Совещание открывается 12-го августа под гнетом всеобщей стачки протеста московских рабочих. Сила большевиков, не допущенных на Совещание, нашла более действительное выражение. Буржуазия напугана и ожесточена. Сдав 21-го Ригу немцам, главнокомандующий Корнилов открывает 25-го поход на Петроград в поисках личной диктату-

ры. Керенский, обманувшийся в своих расчетах на Корнилова, объявляет главнокомандующего "изменником родине". Даже в этот решительный момент, 27-го августа, Сталин не появляется в ЦИКе. От имени большевиков выступает Сокольников. Он докладывает о готовности большевиков согласовать военные меры с органами советского большинства. Меньшевики и эсеры принимают предложение с благодарностью и со скрежетом зубов, ибо солдаты и рабочие шли с большевиками. Быстрая и бескровная ликвидация корниловского мятежа полностью возвращает Советам власть, частично утерянную ими в июле. Большевики восстанавливают лозунг "Вся власть Советам". Ленин в печати предлагает соглашателям компромисс: пусть Советы возьмут власть и обеспечат полную свободу пропаганды, тогда большевики полностью станут на почву советской легальности. Соглашатели враждебно отклоняют компромисс, предложенный слева; они по-прежнему ищут союзников справа.

Высокомерный отказ соглашателей только укрепляет большевиков. Как и в 1905 г., преобладание, которое принесла меньшевикам первая волна революции, быстро тает в атмосфере обостряющейся классовой борьбы. Но в отличие от первой революции, рост большевизма совпадает теперь не с упадком массового движения, а с его подъемом. В деревне тот же, по существу, процесс принимает иную форму: от господствующей в крестьянстве партии социалистов-революционеров отделяется левое крыло и пытается идти в ногу с большевиками. Гарнизоны больших городов почти сплошь с рабочими. "Да, большевики работали усердно и неустанно, — свидетельствует Суханов, меньшевик левого крыла. — Они были в массах, у станков, повседневно, постоянно... Масса жила и дышала вместе с большевиками. Она была в руках партии Ленина и Троцкого". В руках партии, но не в руках ее аппарата.

31 августа Петроградский Совет впервые принял политическую резолюцию большевиков. Пытаясь не сдаваться, соглашатели решили произвести новую проверку сил. 9 сентября вопрос был поставлен в Совете ребром. За старый президиум и политику коалиции — 414 голосов, против — 519; воздержалось 67. Меньшевики и эсеры подвели итоги политике соглашения с буржуазией. Созданное ими новое коалиционное правительство Совет встретил резолюцией, внесенной его новым председателем

Троцким: "Новое правительство... войдет в историю революции как правительство гражданской войны... Всероссийский съезд Советов создаст истинно революционную власть". Это было прямым объявлением войны соглашателям, отвергнувшим "компромисс".

14 сентября открывается в Петрограде так называемое Демократическое Совещание, созванное ЦИК-ом якобы в противовес Государственному Совещанию, а на самом деле для санкционирования все той же насквозь прогнившей коалиции. Политика соглашательства превращалась в бред. Несколько дней перед тем Крупская совершает тайную поездку к Ленину в Финляндию. В битком набитом солдатами вагоне все говорят не о коалиции, а о восстании. "Когда я рассказала Ильичу об этих разговорах солдат, лицо его стало задумчивым и потом уже, о чем бы он ни говорил, эта задумчивость не сходила у него с лица. Видно было, что говорит он об одном, а думает о другом — о восстании, о том, как лучше его подготовить".

В день открытия Демократического Совещания — самого пустого из всех лжепарламентов демократии — Ленин пишет в ЦК свои знаменитые письма: "Большевики должны взять власть" и "Марксизм и восстание". На этот раз он требует немедленных действий: поднять полки и заводы, арестовать правительство и Демократическое Совещание, захватить власть. План сегодня еще явно невыполним, но он дает новое направление мысли и деятельности ЦК. Каменев предлагает категорически отвергнуть предложение Ленина как пагубное. Опасаясь, что письма пойдут по партии помимо ЦК, Каменев собирает 6 голосов за уничтожение всех экземпляров, кроме одного, предназначенного для архива. Сталин предлагает "разослать письма в наиболее важные организации и предложить обсудить их". Позднейший комментарий гласит, что предложение Сталина "имело целью организовать воздействие местных партийных комитетов на ЦК и подтолкнуть его к выполнению ленинских директив". Если б дело обстояло так, Сталин выступил бы в защиту предложений Ленина и противопоставил бы резолюции Каменева свою. Но он был далек от этой мысли. На местах комитетчики были, в большинстве, правее ЦК. Разослать им письма Ленина без поддержки ЦК значило высказаться против этих писем. Своим предложением Сталин хотел попросту выиграть

время и получить возможность в случае конфликта сослаться на сопротивление комитетов. Колебания парализовали ЦК. Вопрос о письмах Ленина решено перенести на ближайшее заседание. В неистовом нетерпении Ленин ждал ответа. Однако на ближайшее заседание, собравшееся только через пять дней, Сталин совсем не явился, и вопрос о письмах не был даже включен в порядок дня. Чем горячее атмосфера, тем холоднее маневрирует Сталин.

Демократическое совещание постановило конструировать, по соглашению с буржуазией, некоторое подобие представительного учреждения, которому Керенский обещал дать совещательные права. Отношение к этому Совету Республики, или Предпарламенту, сразу превратилось для большевиков в острую тактическую задачу: принять ли в нем участие или перешагнуть через него к восстанию? В качестве намечавшегося докладчика ЦК на партийной конференции Демократического Совещания Троцкий выдвинул идею бойкота. Центральный Комитет, разделившийся по спорному вопросу почти пополам (9 — за бойкот, 8 — против), передал вопрос на разрешение фракции. Для изложения противоположных точек зрения "выделено два доклада: Троцкого и Рыкова". "На самом деле, — настаивал Сталин в 1925 году, — докладчиков было четверо: двое за бойкот Предпарламента (Троцкий и Сталин) и двое за участие (Каменев и Ногин)". Это почти верно: когда фракция решила прекратить прения, она постановила дать высказаться еще по одному представителю с каждой стороны: Сталину — от бойкотистов и Каменеву (а не Ногину) от сторонников участия. Рыков и Каменев собрали 77 голосов; Троцкий и Сталин — 50. Поражение тактике бойкота нанесли провинциалы, которые во многих пунктах страны только недавно отделились от меньшевиков.

На поверхностный взгляд могло казаться, что разногласие имеет второстепенный характер. На самом деле вопрос шел о том, собирается ли партия оставаться оппозицией на почве буржуазной республики или же ставит себе задачей штурм власти. В виду важности, которую приобрел этот эпизод в официальной историографии, Сталин напомнил о себе как о докладчике. Услужливый редактор прибавил от себя, что Троцкий выступал за "промежуточную позицию". В дальнейших изданиях Троцкий выпущен вовсе. Новая "История" гласит: "Против участия в

Предпарламенте решительно выступал Сталин". Однако помимо свидетельства протоколов, сохранилось свидетельство Ленина. "Надо бойкотировать Предпарламент, — писал он 23 сентября.— Надо уйти... к массам. Надо им дать правильный и ясный лозунг: разогнать бонапартистскую банду Керенского с его поддельным Предпарламентом". Затем приписка: "Троцкий был за бойкот. Браво, товарищ Троцкий!". Впрочем, Кремлем официально предписано устранить из нового издания "Сочинений" Ленина все подобные погрешности.

7 октября большевистская фракция демонстративно покинула Предпарламент: "Мы обращаемся к народу. Вся власть Советам!". Это было равносильно призыву к восстанию. В тот же день на заседании ЦК было постановлено создать "Бюро для информации по борьбе с контрреволюцией". Преднамеренно туманное название прикрывало конкретную задачу: разведку и подготовку восстания. Троцкому, Свердлову и Бубнову поручено организовать это Бюро. В виду скупости протокола и отсутствия других документов автор вынужден здесь апеллировать к собственной памяти. Сталин от участия в Бюро уклонился, предложив вместо себя малоавторитетного Бубнова. К самой идее он отнесся сдержанно, если не скептически. Он был за восстание, но не верил, что рабочие и солдаты готовы к действию. Он жил изолированно не только от масс, но и от их советского представительства, питаясь преломленными впечатлениями партийного аппарата. Июльский опыт не прошел для масс бесследно. Слепого напора больше, действительно, не было; появилась осмотрительность. С другой стороны, доверие к большевикам успело окраситься тревогой: сумеют ли они сделать то, что обещают? Большевистские агитаторы жаловались иногда, что со стороны масс чувствуется "холодок". На самом деле это была усталость от ожидания, от неопределенности, от слов. Но в аппарате эту усталость нередко характеризовали словами: "боевого настроения нет". Отсюда налет скептицизма у многих комитетчиков. К тому же холодок под ложечкой чувствуют перед восстанием, как и перед боем, и самые мужественные люди. В этом не всегда признаются, но это так. Настроение самого Сталина отличалось двойственностью. Он не забывал апреля, когда его мудрость "практика" была жестоко посрам-

лена. С другой стороны, аппарату Сталин доверял несравненно больше, чем массам. Во всех важнейших случаях он страховал себя, голосуя с Лениным. Но не проявлял никакой инициативы в направлении вынесенных решений, уклонялся от прямого приступа к решительным действиям, охранял мосты отступления, влиял на других расхолаживающе и в конце концов прошел мимо Октябрьского восстания по касательной.

Из Бюро по борьбе с контрреволюцией, правда, ничего не вышло, но вовсе не по вине масс. 9-го начался в Смольном новый острый конфликт с правительством, постановившим вывести революционные войска из столицы на фронт. Гарнизон теснее примкнул к своему защитнику, Совету. Подготовка восстания сразу получила конкретную основу. Вчерашний инициатор Бюро перенес все свое внимание на создание военного штаба при Совете. Первый шаг был сделан в тот же день, 9-го октября. "Для противодействия попыткам штаба вывести революционные войска из Петрограда" Исполнительным Комитетом решено создать Военно-Революционный Комитет. Так, логикой вещей, без всякого обсуждения в ЦК, почти неожиданно, восстание завязалось на советской арене и стало строить свой советский штаб, гораздо более действительный, чем "Бюро" 7-го октября.

Ближайшее заседание ЦК с участием Ленина в парике состоялось 10 октября и получило историческое значение. В центре обсуждения стояла резолюция Ленина, выдвигавшая вооруженное восстание как неотложую практическую задачу. Затруднение, даже для самых убежденных сторонников восстания, состояло, однако, в вопросе о сроке. Под давлением большевиков соглашательский ЦИК еще в дни Демократического Совещания назначил съезд Советов на 20 октября. Теперь имелась полная уверенность, что съезд даст большевистское большинство. Переворот, по крайней мере в Петрограде, должен был во что бы то ни стало завершиться до 20-го, иначе съезд не только не смог бы взять в свои руки власть, но рисковал бы быть разогнанным. В заседании ЦК решено было без занесения на бумагу начать в Петрограде восстание около 15-го. На подготовку оставалось, таким образом, каких-нибудь пять дней. Все чувствовали, что этого мало. Но партия оказалась пленницей срока, который сама она, в другом порядке, навязала соглашателям. Сообщение Троцкого о том, что в Исполнительном Комите-

те постановлено создать свой военный штаб, не произвело большого впечатления, ибо дело шло больше о плане, чем о факте. Все внимание было сосредоточено на полемике с Зиновьевым и Каменевым, которые решительно возражали против восстания. Сталин в этом заседании, видимо, не выступал вовсе или ограничился короткой репликой; во всяком случае, в протоколах не осталось следов его речи. Резолюция была принята 10-ю голосами против 2-х. Но тревога насчет срока осталась у всех участников.

Под самый конец заседания, затянушегося далеко заполночь, по довольно случайной инициативе Дзержинского, было постановлено: "Образовать для политического руководства восстанием бюро в составе Ленина, Зиновьева, Каменева, Троцкого, Сталина, Сокольникова и Бубнова". Это важное решение осталось, однако, без последствий: Ленин и Зиновьев продолжали скрываться, Зиновьев и Каменев стали в непримиримую оппозицию к решению 10-го октября. "Бюро для политического руководства восстанием" ни разу не собралось. Лишь имя его сохранилось в приписке чернилами к отрывочному протоколу, написанному карандашом. Под сокращенным именем "семерки" это призрачное Бюро вошло в официальную историческую науку.

Работа по созданию Военно-Революционного Комитета при Совете шла своим чередом. Однако тяжеловесный механизм советской демократии не допускал слишком резкого скачка. А времени до съезда оставалось мало. Ленин не без основания боялся промедления. По его требованию созывается 16 октября новое заседание ЦК с участием наиболее ответственных петроградских работников. Зиновьев и Каменев по-прежнему в оппозиции. С формальной стороны их положение даже укрепилось: прошло шесть дней, а восстание не началось. Зиновьев требует отложить решение вопроса до съезда Советов, чтоб "посоветоваться" с провинциальными делегатами: в душе он надеется на их поддержку. Прения носят страстный характер. Сталин впервые принимает в них участие. "День восстания, — говорит он, — должен быть целесообразен. Только так надо понимать резолюцию... То, что предлагают Каменев и Зиновьев, это объективно приводит к возможности контрреволюции сорганизоваться; мы без конца будем отступать и проиграем всю революцию.

Почему бы нам не предоставить себе возможности выбора дня и условий, чтобы не дать возможности сорганизоваться контрреволюции". Оратор защищает абстрактное право партии выбрать момент для удара, тогда как дело идет о назначении конкретного срока. Большевистский съезд Советов, если б он оказался неспособен тут же взять власть, только скомпрометировал лозунг "власть Советам", превратив его в пустую фразу. Зиновьев настаивает: "Мы должны сказать себе прямо, что в ближайшие пять дней мы не устраиваем восстания". Каменев бьет в ту же точку. Сталин не дает на это прямого ответа, но заканчивает неожиданными словами: "Петроградский Совет уже встал на путь восстания, отказавшись санкционировать вывод войск". Он просто повторяет здесь, вне связи с собственной абстрактной речью, ту формулу, которую пропагандировали в последние дни руководители Военно-Революционного Комитета. Но что значит "встать на путь восстания"? Идет ли дело о днях или о неделях? Сталин осторожно воздерживается от уточнения. Обстановка неясна ему самому.

В процессе прений представитель Петроградского Комитета Далецкий, будущий глава советского телеграфного агентства, погибший затем в одной из чисток, привел против немедленного перехода в наступление такой довод: "Мы не имеем даже центра. Мы идем полусознательно к поражению". Далецкий не знает еще, видимо, об образовании советского "центра" или не придает ему достаточного значения. Во всяком случае его замечание послужило толчком к новой импровизации. Удалившись в угол с другими членами ЦК, Ленин пишет на колене резолюцию: "ЦК организует военно-революционный центр в следующем составе: Свердлов, Сталин, Бубнов, Урицкий и Дзержинский. Этот центр входит в состав революционного Советского комитета". О Военно-Революционном Комитете напомнил, несомненно, Свердлов. Но никто не знал еще точно имени советского штаба. Троцкий находился в эти часы на заседании Совета, где Военно-Революционный Комитет окончательно ставился на рельсы.

Резолюция 10 октября была подтверждена большинством 20 голосов против 2-х, при 3-х воздержавшихся. Никто не ответил, однако, на вопрос: остается ли в силе решение о том, что восстание в Петрограде должно совершиться до 20-го октября? Найти ответ было трудно. Политически решение о перевороте до съезда было единственно правильным. Но на выполнение его оста-

валось слишком мало времени. Заседание 16 октября так и не вышло из этого противоречия. Но тут помогли соглашатели: на следующий день они, по своим собственным соображениям, постановили отсрочить открытие ненавистного им заранее съезда до 25 октября. Большевики приняли эту неожиданную отсрочку с открытым протестом и со скрытой благодарностью. Пять дополнительных дней полностью вывели Военно-Революционный Комитет из затруднения.

Протоколы ЦК и номера "Правды" за последние недели перед восстанием достаточно полно очерчивают политическую фигуру Сталина на фоне переворота. Как перед войной он был формально с Лениным и в то же время искал поддержки примиренцев против эмигранта, который "лезет на стену", так и теперь он остается с официальным большинством ЦК, но одновременно поддерживает правую оппозицию. Он действует, как всегда, осторожно; однако, размах событий и острота конфликтов заставляют его нередко заходить дальше, чем того хотел бы.

11 октября Зиновьев и Каменев напечатали в газете письмо Максима Горького, направленное против восстания. Положение на верхах партии сразу приняло чрезвычайную остроту. Ленин рвал и метал в своем подполье. Чтоб развязать себе руки для агитации против восстания, Каменев подал в отставку из ЦК. Вопрос разбирался на заседании 20 октября. Свердлов огласил письмо Ленина, клеймившее Зиновьева и Каменева штрейкбрехерами и требовавшее их исключения из партии. Кризис неожиданно осложнился тем, что в утро этого самого дня в "Правде" появилось заявление редакции в защиту Зиновьева и Каменева: "Резкость тона статьи т. Ленина не меняет того, что в основном мы остаемся единомышленниками". Центральный орган счел нужным осудить не публичное выступление двух членов ЦК против решения партии о восстании, а "резкость" ленинского протеста и сверх того солидаризировался с Зиновьевым и Каменевым "в основном". Как будто в тот момент был более основной вопрос, чем вопрос о восстании! Члены ЦК с изумлением протирали глаза.

В редакцию, кроме Сталина, входил Сокольников, будущий советский дипломат и будущая жертва "чистки". Сокольников заявил, однако, что не принимал никакого участия в выработке редакционного порицания Ленину и считает его ошибочным.

Оказалось, что Сталин единолично — против ЦК и против своего коллеги по редакции — поддержал Каменева и Зиновьева за четыре дня до восстания. Возмущение ЦК сдерживалось только опасением расширить размеры кризиса.

Продолжая лавировать между сторонниками и противниками восстания, Сталин высказался против принятия отставки Каменева, доказывая, что "все наше положение противоречиво". Пятью голосами против Сталина и двух других принимается отставка Каменева. Шестью голосами снова против Сталина выносится решение, воспрещающее Каменеву и Зиновьеву вести борьбу против ЦК. Протокол гласит: "Сталин заявляет, что выходит из редакции". Это означало для него покинуть единственный пост, доступный ему в обстановке революции. Но ЦК отставку Сталина отклоняет, и новая трещина не получает развития.

Поведение Сталина может казаться необъяснимым в свете созданной вокруг него легенды; на самом деле оно вполне отвечает его духовному складу. Недоверие к массам и подозрительная осторожность вынуждают его в моменты исторических решений отступать в тень, выжидать и, если возможно, страховаться на два случая. Защита Зиновьева и Каменева диктовалась отнюдь не сентиментальными соображениями. Сталин переменил в апреле официальную позицию, но не склад своей мысли. Если по голосованиям он был на стороне Ленина, то по настроению стоял ближе к Каменеву. К тому же недовольство своей ролью естественно толкало его на сторону других недовольных, хотя бы политически он с ними не вполне сходился.

Всю последнюю неделю перед восстанием Сталин маневрировал между Лениным, Троцким и Свердловым, с одной стороны, Каменевым и Зиновьевым — с другой. На заседании ЦК 21-го октября он восстанавливает слишком нарушенное накануне равновесие, внеся предложение поручить Ленину подготовку тезисов к предстоящему съезду Советов и возложить на Троцкого политический доклад. Оба предложения приняты единогласно. Если б между Троцким и ЦК, отметим, мимоходом, были в это время те разногласия, которые были изобретены несколько лет спустя, каким образом ЦК по инициативе Сталина мог бы пооручить Троцкому наиболее ответственный доклад в наиболее ответственный момент? Застраховав себя таким путем слева, Сталин снова отходит в тень и выжидает.

Об участии Сталина в Октябрьском восстании биографу, при всем желании, нечего сказать. Имя его нигде и никем не называется: ни документами, ни многочисленными авторами воспоминаний. Чтоб заполнить как-нибудь этот зияющий пробел, официальная историография связывает роль Сталина в событиях переворота с таинственным партийным "центром" по подготовке восстания. Никто, однако, ничего не сообщает нам о деятельности этого "центра", о месте и времени его заседаний, о тех способах, какими он осуществлял свое руководство. И немудрено: этот "центр" никогда не существовал. История легенды заслуживает внимания.

На совещании ЦК с рядом выдающихся петроградских деятелей партии 16 октября постановлено было, как мы уже знаем, организовать "Военно-Революционный Центр" из пяти членов ЦК. "Этот центр, — гласит спешно написанная Лениным в углу зала резолюция, — входит в состав революционного советского комитета". Таким образом, по прямому смыслу решения, "центр" предназначался не для самостоятельного руководства восстанием, а для пополнения советского штаба. Но, как и многим другим импровизациям тех лихорадочных дней, этому замыслу вообще не суждено было осуществиться.

В те самые часы, когда ЦК, в отсутствие Троцкого, создавал на клочке бумаги новый "центр", Петроградский Совет под председательством Троцкого окончательно оформил Военно-Революционный Комитет, который с момента своего возникновения сосредоточил в своих руках всю работу по подготовке восстания. Свердлов, имя которого в списке членов "центра" стоит на первом месте (а не имя Сталина, как ложно значится в новых советских изданиях), работал и до и после постановления 16 октября в тесной связи с председателем Военно-Революционного Комитета. Три других члена "центра" — Урицкий, Дзержинский и Бубнов — были привлечены к работе Военно-Революционного Комитета каждый индивидуально, лишь 24 октября, как если бы решение 16 октября никогда не выносилось. Что касается Сталина, то он, согласно всей своей линии поведения в тот период, упрямо уклонялся от вхождения как в Исполнительный комитет Петроградского Совета, так и в Военно-Революционный Комитет, и ни разу не появлялся на их заседаниях. Все эти обстоятельства без труда устанавливаются на основании официально опубликованных протоколов.

На заседании ЦК 20 октября "центр", созданный четыре дня тому назад, должен был бы, казалось, сделать доклад о своей работе или хотя бы упомянуть о приступе к ней: до съезда Советов оставалось всего пять дней, а восстание должно было предшествовать открытию съезда. Правда, Сталину было не до того: защищая Зиновьева и Каменева, он подал на этом заседании в отставку из редакции "Правды". Но и из остальных членов "центра", присутствовавших на заседании, ни Свердлов, ни Дзержинский, ни Урицкий ни словом не упомянули о "центре". Протокольная запись 16 октября была, видимо, тщательно запрятана, чтоб скрыть следы участия в заседании "нелегального" Ленина, и за четыре драматических дня о "центре" успели тем легче позабыть, что напряженная работа Военно-Революционного Комитета исключала самую надобность в дополнительном учреждении.

На следующем заседании 21 октября с участием Сталина, Свердлова, Дзержинского опять-таки никто не делает доклада о "центре" и даже не упоминает о нем. ЦК ведет работу так, как если бы никакого решения о "центре" никогда не выносилось. В этом заседании постановлено, между прочим, ввести в Исполнительный комитет Петроградского Совета для улучшения его работы десять видных большевиков, в том числе Сталина. Но и это постановление остается на бумаге.

Подготовка восстания шла полным ходом, но по другому каналу. Фактический хозяин столичного гарнизона, Военно-Революционный Комитет искал повода для открытого разрыва с правительством. Такой повод создал 22 октября командующий войсками округа, отказавшись подчинить свой штаб контролю комиссаров Комитета. Нужно было ковать железо, пока горячо. Бюро Военно-Революционного Комитета с участием Троцкого и Свердлова выносит решение: признать разрыв со штабом совершившимся фактом и перейти в наступление. Сталина на этом совещании нет. Никому не приходит в голову вызвать его. Когда дело идет о том, чтобы сжечь все мосты отступления, никто не вспоминает о существовании так называемого "центра".

24 октября утром в Смольном, превращенном в крепость, происходит заседание ЦК, непосредственно открывающее восстание. В самом начале принято предложение Каменева, успев-

шего вновь вернуться в состав ЦК: "Сегодня без особого постановления ни один член ЦК не может уйти из Смольного". В повестке стоит доклад Военно-Революционного Комитета. О так называемом "центре" в момент начала восстания — ни слова. Протокол гласит: "Троцкий предлагает отпустить в распоряжение Военно—Революционного Комитета двух членов ЦК для налаживания связи с почтово-телеграфистами и железнодорожниками; третьего члена — для наблюдения за Временным правительством". Постановляется: на почту и телеграф делегировать Дзержинского, на железные дороги — Бубнова. Наблюдение за Временным правительством возлагается на Свердлова. "Троцкий предлагает, — читаем далее, — устроить запасной штаб в Петропавловской крепости и назначить туда с этой целью одного члена ЦК". Постановлено: "Поддерживать постоянную связь с крепостью поручить Свердлову". Таким образом, три члена "центра" впервые предоставляются здесь в прямое распоряжение Военно-Революционного Комитета. В этом не было бы, разумеется, нужды, если бы центр существовал и занимался подготовкой восстания. Протоколы отмечают, что четвертый член "центра", Урицкий, вносил практические предложения. А где же пятый член, Сталин?

Самое поразительное в том и состоит, что Сталина на этом решающем заседании нет. Члены ЦК обязались не отлучаться из Смольного. Но Сталин вовсе и не появлялся в его стенах. Об этом непререкаемо свидетельствуют протоколы, опубликованные в 1929 г. Сталин никак не объяснил своего отсутствия, ни устно, ни письменно. Никто не поднимал о нем вопроса, очевидно, чтоб не вызывать лишнего кризиса. Все важнейшие решения по проведению восстания принимаются в отсутствие Сталина, без какого-либо участия с его стороны. При распределении ролей никто не назвал Сталина и не предложил для него никакого назначения. Он попросту выпал из игры. Может быть, однако, он где-нибудь в укромном месте руководил "центром"? Но все члены "центра", кроме Сталина, находились безотлучно в Смольном.

В часы, когда открытое восстание уже началось, сгорающий от нетерпения в своей изоляции Ленин взывает к руководителям районов: "Товарищи! Я пишу эти строки вечером 24-го... Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на во-

лоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов), а исключительно борьбой вооруженных масс". Из письма вытекает с очевидностью, что Ленин до самого вечера 24 октября не знал о переходе Военно-Революционного Комитета в наступление. Связь с Лениным поддерживалась, главным образом, через Сталина, как лицо, наименее интересовавшее полицию. Сам собою напрашивается вывод, что не явившись на утреннее заседание ЦК и избегая появляться в Смольном, Сталин так и не узнал до вечера о том, что восстание уже в полном ходу. Дело идет не о личной трусости — обвинять в ней Сталина нет основания, — а о политической двойственности. Осторожный комбинатор предпочел в решительный момент оставаться в стороне. Он лавировал и выжидал, чтоб определить свою позицию в зависимости от исхода восстания. В случае неудачи он готовился сказать Ленину, Троцкому и их единомышленникам: "Вы виноваты!". Надо ясно представить себе пламенную атмосферу тех дней, чтоб оценить по достоинству эту холодную выдержку или, если угодно, это коварство.

Нет, Сталин не руководил восстанием ни лично, ни через посредство "центра". В протоколах, воспоминаниях, бесчисленных документах, справочниках, исторических учебниках, опубликованных при жизни Ленина и даже позже, пресловутый "центр" ни разу не называется, и имя Сталина как руководителя "центра", или хотя бы как видного участника восстания, никогда и никем не упоминается. Память партии прошла мимо него. Только в 1924 г. Комиссия по истории партии, занятая собиранием материалов, набрела на тщательно спрятанную запись заседания 16 октября с текстом решения о создании практического "центра". Развернушаяся в это время борьба против "левой оппозиции" и против меня лично требовала новой версии истории партии и революции.

Помню, Серебряков, у которого были друзья и связи везде и всюду, сообщил мне, что в секретариате Сталина в связи с открытием "центра" большое ликование. "Какое же это может иметь значение?" — спрашивал я с недоумением. "Они собираются на этом стержне что-то наматывать", — ответил проницательный Серебряков. И все же дальше повторной перепечатки протокола и туманных упоминаний о "центре" дело в тот период

не шло. Слишком еще свежи в памяти были события 1917 года, участники переворота еще не подверглись истреблению, живы были еще Дзержинский и Бубнов, значившиеся в списке "центра". В своем фракционном фанатизме Дзержинский мог, правда, согласиться приписать Сталину заслуги, которых тот не имел; но он не мог приписать таких заслуг себе: это было выше его сил. Дзержинский умер своевременно. Одной из причин опалы и гибели Бубнова был, несомненно, его отказ от лжесвидетельства. Так никто ничего о существовании "центра" вспомнить не мог. Вышедший из протокола призрак продолжал вести протокольное существование: без костей и мяса, без ушей и глаз.

Это не помешало ему, однако, послужить стержнем новой версии Октябрьского восстания. "В состав практического центра, призванного руководить восстанием, — говорил Сталин в 1925 г., — странным образом не попал "вдохновитель", "главная фигура", "единственный руководитель" восстания, тов. Троцкий. Как примирить это с ходячим мнением об особой роли тов. Троцкого?". Аргумент явно несообразный: "центр", по точному смыслу постановления, должен был включаться в тот самый Военно-Революционный Комитет, председателем которого был Троцкий. Но все равно, свое намерение "намотать" вокруг протокола новую историю революции Сталин раскрыл полностью. Он не объяснил лишь, откуда взялось "ходячее мнение об особой роли Троцкого"? Между тем вопрос не лишен значения.

В примечаниях к первому изданию "Сочинений" Ленина под именем Троцкого значится: "После того, как Петербургский Совет перешел в руки большевиков, был избран его председателем, в качестве которого организовал и руководил восстанием 25-го Октября". "Легенда" нашла себе место в "Сочинениях" Ленина при жизни их автора. Никому не приходило в голову оспаривать ее до 1925 г. Мало того, сам Сталин принес в свое время немаловажную дань "ходячему мнению". В юбилейной статье 1918 г. он писал: "Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского Совета тов. Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону Совета и умелой постановкой работы Военно-Революционного Комитета партия обязана прежде всего и глав-

ным образом тов. Троцкому. Товарищи Антонов и Подвойский были главными помощниками тов. Троцкого".

Эти слова звучат сейчас как панегирик. На самом деле, задней мыслью автора являлось напомнить партии, что в дни восстания, кроме Троцкого, существовал еще ЦК, в который входил Сталин. Вынужденный, однако, придать своей статье видимость объективности, Сталин не мог в 1918 г. не сказать того, что сказал. Во всяком случае, в первую годовщину советской власти он "практическую организацию восстания" приписывал Троцкому. В чем же состояла, в таком случае, роль таинственного "центра"? О нем Сталин не упоминал вовсе: до открытия протокола 16 октября оставалось еще 6 лет.

В 1920 г. Сталин, уже не называя Троцкого, противопоставляет ЦК Ленину как автору ошибочного плана восстания. В 1922 году он повторяет это противопоставление, заменяя, однако, Ленина "одной частью товарищей" и осторожно давая понять, что восстание было спасено от ложного плана не без его, Сталина, участия. Через новых два года оказывается уже, что ложный план Ленина есть злостный вымысел Троцкого, зато сам Троцкий действительно выдвинул ложный план, к счастью, отвергнутый ЦК. Наконец, "История" партии, вышедшая в 1938 г., изображает Троцкого как отъявленного противника Октябрьского восстания, которым руководил Сталин. Параллельно совершалась мобилизиция всех видов искусства: поэзия, живопись, театр, фильм оказались призваны вдохнуть жизнь в мифический "центр", следов которого самые усердные историки не могли открыть с лупой в руках. Сталин как вождь Октябрьского восстания показан ныне на всех экранах мира, не говоря уже об изданиях Коминтерна.

Того же типа пересмотр истории, хотя может быть и не столь яркий, производился в отношении всех старых большевиков, притом неоднократно, в зависимости от изменяющихся политических комбинаций. В 1917 г. Сталин брал Зиновьева и Каменева под защиту, стремясь использовать их против Ленина и меня и подготовляя будущую "тройку". В 1924 г., когда "тройка" уже держала в своих руках аппарат, Сталин доказывал в печати, что разногласия с Зиновьевым и Каменевым перед Октябрем имели мимолетный и второстепенный характер. "Разногласия длились всего несколько дней потому и только потому,

что мы имели в лице Каменева и Зиновьева — ленинцев, большевиков". После распада "тройки" поведение Зиновьева и Каменева в 1917 г. становится в течение ряда лет главным обвинением против них, как "агентов буржуазии", пока не включается, наконец, в обвинительный акт, подведший обоих под дуло маузера.

Нельзя не остановиться с изумлением перед этой холодной, терпеливой и в то же время свирепой настойчивостью, направленной к одной и той же, неизменно личной цели Как некогда в Батуме юноша Коба вел подкоп под стоящих над ним членов тифлисского Комитета; так в тюрьме и ссылке он натравливал простаков на своих соперников, так теперь в Петрограде он неутомимо комбинировал людей и обстоятельства, чтоб оттеснить, умалить, очернить всякого, кто так или иначе затмевал его и мешал ему продвинуться вперед.

Октябрьский переворот как источник нового режима естественно занял центральное место в идеологии нового правящего слоя. Как все это произошло? Кто руководил в центре и на местах? Сталину понадобилось около 20 лет, чтобы навязать стране историческую панораму, в которой он себя поставил на место действительных организаторов восстания, а этим последним приписал роль предателей революции. Было бы ошибочно думать, что он с самого начала имел законченный замысел борьбы за личное господство. Понадобились исключительные исторические обстоятельства, чтобы придать его амбиции неожиданные для него самого масштабы. Но в одном он оставался неизменно верен себе: попирая все другие соображения, он насиловал каждую конкретную ситуацию для упрочения своей позиции за счет других. Шаг за шагом, камень за камнем, терпеливо, без увлечений, но и без пощады! В непрерывном плетении интриг, в осторожном дозировании лжи и правды, в органическом ритме фальсификаций лучше всего отражается Сталин и как человеческая личность, и как *вождь нового привилегированного слоя, который в целом вынужден создавать себе новую биографию.*

Плохо начав в марте, скомпрометированный в апреле, Сталин весь год революции провел за кулисами аппарата. Он не знал непосредственного общения с массами и ни разу не почувствовал себя ответственным за судьбу революции. В известные моменты

он был начальником штаба, никогда — командующим. Предпочитая отмалчиваться, он выжидал инициативы других, отмечал себе их промахи и слабые стороны и отставал от событий. Для успеха ему нужна известная устойчивость отношений и свобода располагать временем. Революция отказывала в том и другом.

Не вынужденный продумывать задачи революции с тем напряжением мысли, какое создается только чувством непосредственной ответственности, Сталин так и не понял до конца внутренней логики Октябрьского переворота. Оттого так эмпиричны, разрознены и несогласованы его воспоминания, так противоречивы его позднейшие суждения о стратегии восстания, так чудовищны его ошибки в отношении ряда позднейших революций (Германия, Китай, Испания). Поистине, революция не есть стихия этого бывшего "профессионального революционера".

И тем не менее 1917 г. вошел важнейшим этапом в формирование будущего диктатора. Он сам говорил позже, что в Тифлисе он был учеником, в Баку вышел в подмастерья, в Петрограде стал "мастером". После четырех лет политического и умственного прозябания в Сибири, где он опустился до уровня "левых" меньшевиков, год революции под непосредственным руководством Ленина, в кругу товарищей высокой квалификации имел неизмеримое значение в его политическом развитии. Он впервые получил возможность познакомиться со многим, что до тех пор совершенно выходило из круга его наблюдений. Он прислушивался и присматривался с недоброжелательством, но внимательно и зорко. В центре политической жизни стояла проблема власти. Временное правительство с участием меньшевиков и народников, вчерашних товарищей по подполью, тюрьме и ссылке, позволило ему ближе заглянуть в ту таинственную лабораторию, где, как известно, не боги обжигают горшки. Та неизмеримая дистанция, которая отделяла в эпоху царизма подпольного революционера от правительства, сразу исчезла. Власть стала близким, фамильярным понятием. Коба освободился в значительной мере от своего провинциализма, если не в привычках и нравах, то в масштабах политического мышления. Он остро и с обидой почувствовал то, чего ему не хватает лично, но в то же время проверил силу тесно спаянного коллектива одаренных и опытных революционеров, готовых идти до конца. Он стал признанным членом штаба партии, которую массы несли к власти. Он перестал быть Кобой, став окончательно Сталиным.

Лев Троцкий

СТАЛИН

Том I

Ответственный за выпуск *С. А. Кондратьев*
Редакторы *А. И. Горшкова, В. Н. Пекшев*
Художник *А. А. Пчелкин*
Художественный редактор *А. А. Пчелкин*
Технический редактор *Т. А. Новикова*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 10.09.90. Формат 60x84 $^{1}/_{16}$. Бумага офсетная. Гарнитура "Гельветика". Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,65. Усл. кр.-отт. 20,81. Уч.-изд. л. 18,73. Тираж 150000 экз. Заказ 3930. Цена 8 руб.

Ассоциация совместных предприятий международных объединений и организаций.
Издательский центр "ТЕРРА". Москва, 2-й Новоподмосковный переулок, 4.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Отпечатано в типографии издательства "Горьковская правда".
603006, г. Горький, ГСП-123, ул. Фигнер, 32.